

Предисловие автора

Нарушение привязанности

Отношения матери и ребенка, самые древние и надежные, существовали в неизменном виде миллионы лет. Полное единение до момента появления младенца на свет - один организм, одна пища, одни переживания на двоих. Болезненное разделение в родах и после - новое слияние: младенец на груди матери. Он слышит стук родного сердца, узнает любимый голос, ощущает кожей ее кожу и видит самое драгоценное в мире лицо. Первый год малыш проводит у мамы на руках - до тех пор, пока не начинает ходить. Еще три-четыре года неотступно следует за ней, набираясь опыта и самостоятельности. На уровне инстинктов ребенок знает, что от матери зависит его жизнь. Безопасность, пища, тепло, ласка, любовь - все это она. Новорожденному нет дела до того, что происходит в мире, какие племена и народы воюют между собой, какие государства возникают и распадаются. Мама - центр его вселенной. Она защищает от хищного зверя и злого человека, согревает собственным телом и питает им, утешает в боли и усталости. Она навсегда остается его первой связью с внешним миром.

Мать способна быть источником жизни для младенца благодаря отцу, который оберегает их с малышом как единое целое в первые годы. Он и после, когда ребенок подрастет, продолжает добывать пищу, изгонять врагов - заботиться о семье.

Однако мир неузнаваемо изменился в середине прошлого века. Рабочие руки - женские - вдруг понадобились не только детям и дому. «Начиная со времен Второй мировой войны и далее, с ускорением в 1960 гг., - пишет всемирно известный психолог и терапевт Нильс Питер Рюгаард в своей книге «Дети с нарушением привязанности», - мы предприняли самый масштабный социальный эксперимент, который когда-либо проводился в западном мире: матери детей младшего и дошкольного возраста пошли работать вне дома, отлучившись от своих малышей... Условия обучения тому, как становиться человеком, посредством отношений в период раннего детства были перевернуты с ног на голову. На сегодняшний день мы, вероятно, являемся единственным видом млекопитающих, у которого мать и младенец не остаются неразлучными в течение, по крайней мере, первых двух-трех лет с момента рождения».

Естественный ход событий оказался непоправимо нарушен. В роддомах новорожденных начали отделять от матерей сразу после появления на свет, якобы давая роженице время для восстановления, а на самом деле травмируя обоих и порождая у женщин тревожность, неуверенность и чувство вины. В Советском Союзе малышей стали отдавать в ясли с четырех месяцев, а иногда и раньше, отрывая от матерей вопреки жизненно важным потребностям в грудном вскармливании, ласке, тактильном контакте и любви. Появились детские сады-пятидневки, которые позволяли родителям работать, устраивать личную жизнь и зарабатывать деньги, а детей обрекали на тяжелые переживания утраты и боли разлуки. Депривация, неизбежный спутник сирот в государственных учреждениях, внезапно коснулась семейных детей. Родителям запрещали брать младенцев на руки, чтобы «не привыкали», предписывали кормить их по часам, а не по требованию, не позволяли матерям находиться с маленькими детьми в больницах и прочих «оздоровительных» учреждениях. Многие из нас, сегодняшних взрослых, стали жертвами этих необдуманных действий.

Разлучение матери и ребенка, с одной стороны, повышало благосостояние государства и семьи, а с другой - планомерно разрушало благополучие последней. С выходом женщин на работу резко увеличилось число разводов. Отцы, отделенные новой системой жизни от собственных детей - отстранение от родов, отсутствие отношений с ребенком, потеря роли защитника и кормильца, - перестали видеть свои задачи. Женщины научились обходиться без них. Параллельно произошел распад «большой семьи». Молодые матери лишились поддержки не только отцов своих детей, но и многочисленных родственников - бабушек и дедушек, мам и пап, младших братьев и сестер. Семья перестала жить одним домом, распределившись по квартирам-ячейкам. Неадекватные нагрузки на работающую в двух-трех местах одинокую (иногда даже при наличии мужа) мать стали приводить к необратимым последствиям. На сцену явилась так называемая «отсутствующая мать» - морально и физически истощенная женщина, которая не в состоянии обеспечить теплого эмоционального контакта со своими детьми. И тогда малыши стали «луковым горем», «наказаньем», «тяжким крестом»...

Примерно у половины нынешних взрослых людей (ученые называют цифру 45 %) в детстве была «ненадежная привязанность» с родителями. Как следствие, они столкнулись с проблемами со здоровьем, отношениями, жизнестойкостью, целеполаганием или уверенностью в своем будущем. Но это еще полбеды. Вторая, самая увесистая ее половина состоит в том, что люди, лишенные «надежной привязанности» в младенчестве, как правило, неосознанно воспроизводят нарушенную модель и в собственной семье, со своими детьми. И таким образом передают сбитый код отношений из поколения в поколение.

Можно ли скорректировать последствия нарушений привязанности ради собственного будущего, ради своих детей и внуков? Если понять, что именно происходит, и задаться такой целью, то чаще всего можно. Описанные в научной и публицистической литературе результаты усилий психологов и психотерапевтов доказывают возможность перемен к лучшему в большинстве случаев (см. Брюс Перри «Мальчик, которого растили как собаку»). Реальные истории детей, подопечных нашего фонда «Арифметика добра» и многих других благотворительных организаций, также нередко подтверждают это.

Жизнь Сании - яркий пример одной из таких историй.

Мы познакомились в 2015 году. Сания к тому времени уже окончила колледж, поступила в вуз и мечтала о карьере художницы. Я тогда, помимо прочего, занималась в «Арифметике добра» семейным устройством подростков-сирот и часто приезжала в детские дома, была знакома со многими воспитанниками. Мы с мужем после тщательной подготовки и сами приняли в семью двоих ребят - Дашу 12 лет и Гошу 16 лет. Так что иллюзий о детях без родителей у меня уже не было: большинство подростков в учреждениях чувствовали себя потерянными. Лишенные семьи, они не могли учиться, не были приучены к труду, не видели своего будущего, боялись самостоятельности и не знали реалий жизни. Зато нередко изобретали такие способы времяпровождения, что попадали в самые опасные ситуации, а порой и оказывались на скамье подсудимых...

Сания оказалась совсем другой. С первых минут общения она меня потрясла. Разумная, целеустремленная, ответственная, трудолюбивая, талантливая. Каким чудом она сумела развить в себе эти качества? Как умудрилась воспитать цельную личность внутри системы, которая разрушала одного за другим ее товарищей по несчастью? Это стало для меня настоящей загадкой. Потрясающе красивая девушка, которую я видела перед собой, не производила впечатления человека, выросшего под надзором чужих людей, без любви матери и отца. Выдавали ее только крайнее смущение и страх перед незнакомыми людьми: она словно пыталась спрятаться, стать невидимкой. «Почему такую чудесную девочку никто не удочерил? - гадала я. - Как вышло, что мы не встретились раньше?»

Эти вопросы не давали мне покоя несколько лет подряд. Ответы появились, только когда я в деталях узнала историю Сании. Она приехала погостить к нам на дачу - работала там над картиной, и тогда состоялся, наконец, откровенный разговор, которого я долго ждала. Все, что я узнала от Сании, стало важным ключом к пониманию детства. Ее история помогла разобраться во многих сложных вещах - скрытых чувствах и тайных мыслях детей, их невысказанных ожиданиях и боли, которую им приходится пережить.

Речь в книге пойдет не о легкой форме нарушений, которые могли бы возникнуть даже в семье, а о тяжелом расстройстве у ребенка, оставленного матерью сразу после рождения. Именно поэтому проявления депривации предстанут в гротескной форме, а каждая реальная ситуация покажется чрезмерной - такое могло происходить только с младенцем, брошенным своими взрослыми. Но ценность истории Сании в том, что она поможет каждому читателю заглянуть вглубь себя; погрузиться в суть отношений с собственными родителями и детьми.

Несмотря на всю тяжесть обстоятельств своего появления на свет, Сания во многом сумела их преодолеть. Ее откровенный рассказ доказывает: человек способен изменить свое будущее. Главное, не опускать руки и искать в жизни опору.

Отношения со взрослыми - как раз тот фундамент, на котором строится вся жизнь ребенка: происходит его развитие, раскрываются таланты, формируется физическое и психическое здоровье. Первые годы материнства - священны. Ни предрассудки, ни финансовые проблемы, ни отсутствие понимания со стороны близких не должны разлучить или отдалить друг от друга самых родных людей. Каждый младенец имеет право на любящих родителей. Каждый новорожденный приходит в этот мир не один, а с помощью матери и отца. Важно сделать все возможное и невозможное для того, чтобы он от них не отделился, чтобы не потерял.

Благодарности

Глубокая благодарность фонду Елены и Геннадия Тимченко за финансовую поддержку в издании благотворительного тиража книги «Я - Сания. История сироты», который будет доступен кандидатам в усыновители, приемным родителям и специалистам сферы семейного устройства детей-сирот. Также выражаем признательность за разработку и реализацию в России проекта «Голос ребенка», направленного в том числе на распространение реальных историй сирот, рассказанных от первого лица.

От всего сердца благодарю глубокоуважаемого основателя и директора литературного агентства и школы «Флобериум», своего любимого редактора и лучшего друга Ольгу Аминову за двенадцатилетнее сотрудничество, веру, человеколюбие и непревзойденный профессионализм. Вклад Ольги в создание книги Сании бесценен; ее уверенность в том, что реальные истории сирот увеличат число людей, готовых изменить судьбы брошенных детей к лучшему, служит для меня путеводной звездой.

Огромное спасибо основателю фонда «Арифметика добра», усыновителю, отцу 23 детей Роману Авдееву за создание мощного ресурса поддержки сирот и принимающих их семей. Сегодня в фонде работает Школа приемных родителей и Школа наставников; действует крупнейший в России Клуб приемных семей и Консультационный центр, которые оказывают разностороннюю помощь усыновителям и опекунам. Многое делается для повышения уровня образования и социализации ребят, которые пока еще живут в детских домах. Большое внимание уделяется просвещению общества. Благодарим председателя правления фонда Наилю Новожилову за глубокую вовлеченность в дело и мудрость в решении самых сложных задач. Низкий поклон дорогим коллегам, штатным и внештатным сотрудникам благотворительного фонда «Арифметика добра», за самоотверженный и круглосуточный труд. Наши усилия уже привели к тому, что более 400 детей-сирот за пять лет работы фонда обрели семьи.

Спасибо моей чудесной семье за понимание и поддержку. Если бы не мои родители, я бы не стала той, кем являюсь. Если бы не мои четверо детей, у меня бы не было настолько интересной жизни и вечного стимула к развитию. Без своего любимого мужа Дениса Салтеева, с которым мы в браке уже 23 года, я не могу представить своей жизни.

Я благодарю Санию Испергенову за откровенность и прекрасный пример того, как человек меняет свою жизнь к лучшему вопреки обстоятельствам. Мое восхищение Санией не знает границ. Я до сих пор жалею о том, что у нас с мужем не было шанса ее удочерить, хотя уже понимаю, что это было бы невозможно.

Низкий поклон всем, кто по долгу службы или по зову сердца помогает сиротам находить в жизни опору. Всем, кто готов принять простые истины - каждому ребенку нужна семья; всем людям необходимы надежная привязанность и любовь.

Диана Машкова, писатель, к.ф.н., руководитель программы

«Просвещение» благотворительного фонда «Арифметика добра»

Глава 1 Ночь

В железных клетках-кроватках, расставленных вдоль и поперек стен, лежали малыши. Они укачивали себя сами - ритмично перекатывались из стороны в сторону в заунывном зловещем танце. Маленькие лысые головы метались в диком равнении то влево, то вправо. В молчании. И только сетки кроватей скрипели в такт движениям - «крик-крик, крик- крик». Вдруг один из потолочных светильников застрекотал. «Тссссс, - взмолилась я про себя, плотно сжимая губы, - только молчите!» Но было поздно.

* Аааааа! - закричали младенцы от страха. - Аааааа!

Дверь тут же распахнулась, и в комнату, грохнув железным ведром о дверной косяк, ввалилась ночная воспитательница. Толстые ноги, мясистый зад. Самая злая. Сквозняк, смешавшись со страхом, словно пикой пронзил от макушки до пят.

* Таааак, - она встала у моей кроватки и обвела взглядом детей, - чего орем?!

Я услышала тишину, почувствовала, как малыши сжались в комочки и закрыли глаза. Сама тоже на секунду зажмурилась, но потом вспомнила, что я - под кроваткой, значит, меня не видно. Продавленная железная сетка впечатывала ромбы в мою синюшную, покрытую мурашками от жуткого холода кожу. На мне не было одежды. Воспитательница швырнула чистое белье на мой пустой матрас. Седые носки разношенных войлочных тапок оказались напротив моего лица. От них пахло потом, половой тряпкой и затушенной сигаретой. Я лежала и вдыхала эту смесь, с каждой секундой все глубже погружаясь в животный ужас. Воспитательница с грохотом поставила на пол ведро - я притворилась мертвой, - присела на корточки и наклонилась ко мне.

* Будешь еще ссаться?

Я нервно мотнула головой: страх сотрясал сильнее, чем холод.

* Смотри у меня!

Я мелко закивала, все еще жмурясь.

* А ну, открыла глаза!

Я послушно подняла веки и посмотрела на ее красный, криво очерченный рот.

* Глядя в лицо скажи - будешь?

Я снова замотала головой.

* Ладно! Поживем - увидим.

Она распрямилась и стала застилать простыней кровать - поднимала по очереди то один угол матраса, то другой, засовывая под него серую, пропахшую хлоркой и покрытую застиранными пятнами простыню. Из потревоженного тюфяка летели пыль и крошечные стебельки сухой травы, но я все еще боялась шевелиться. Только закрыла глаза.

* И чтобы в последний раз! - пригрозила воспитательница.

Широкие вонючие тапки продолжали выплясывать передо мной, как два диких зверя. Я боялась подавать хоть какие-то признаки жизни. И только один вопрос пульсировал в голове: «Можно мне встать?» Он дрожал на губах и почти превратился в немое «мммм», но растаял, не успев появиться. Нельзя ни о чем спрашивать. За вопрос накажут, побьют. Надо молчать. Терпеть. Замереть. Иначе будет хуже. Намного хуже...

* Все! - Воспитательница распрямилась и в раздражении пнула ведро, которое принесла с собой. - Чтобы тихо тут! Бесссстолочи. В ведре змея. Если кто заревет, она вылезет и укусит.

Женщина подошла к двери, на пороге обернулась, одарив группу суровым взглядом, и выключила свет. Комната погрузилась во мрак. Стихли в глубине коридора пугающие шаги, и тишина стала оглушительной. Дети вытянулись в струну. Перестали скрипеть железные сетки, замерло даже дыхание. Тридцать испуганных пар глаз смотрели в ведро.

Младенцы ничего не понимают. Воспитатели, сколько я себя помнила, всегда пугали змеями, чтобы дети боялись плакать. Ничего в этом ведре нет! Я повернула голову и, чтобы убедиться, заглянула внутрь. С края, как обычно, свисала скрученная жгутом половая тряпка. До меня доносился ее тошнотворный запах. В кромешной тьме она казалась расплывчатой, словно потеряла свои контуры. Я чуть прикрыла веки - почувствовала тяжесть в голове, предвестник болезни, и вдруг тряпка ожила. Из ведра стало выползать длинное узкое тело. Змея приподняла уставшую голову и задумчиво посмотрела на меня из-под гладких полуприкрытых век. В ее глубоких с прожилками глазах скрывалось нечто невиданное. Узкая черная щель блестела посередине, словно вход в другой мир, а вокруг переплетались желтые ветви странных растений, устремленных в зеленую бездну. Я пристально смотрела в ее удивительные глаза. «ТТТтттттттттттт, - сказала она, - не тттттттттттттттали». И я мысленно кивнула. Она меня поняла, в знак этого с достоинством прикрыла веки. «Сссссюда, - снова зашелестела змея, - сссссюда ссссвою рукуууу». Желание прикоснуться к ее чешуйчатой голове, сияющей малахитовым светом, было таким острым, что меня обдало жаром. «Бысссстреее, бысссстреее», - торопила змея. «Я исчезну?» - догадалась я. «Дааааа». - Она как будто улыбнулась и тут же стала невидимой. Я не хотела, чтобы и она пропала, я хотела ее удержать - резко выбросила вперед руку, схватила тряпку, и пустое ведро с адским грохотом покатилось по спальне.

* Аааааа! - раздался животный, раздирающий душу крик.
* Ууууу! - подхватил его волчий вой.
* Уээээээ, - отозвалось слабое эхо.

Страх клокотал в младенческих глотках. Дети вскочили на ноги и, держась за прутья кроватей, в ужасе таращили глазами по полу, искали змею, которая в их воображении ползала по рядам, выбирая, кого ужалить первым.

Я аккуратно, чтобы не поцарапаться, вылезла из-под кровати, схватила укатившееся ведро, сунула в него тряпку и приложила палец к губам. Но они не увидели - они кричали. Я стала ходить по рядам, просовывая руку в кроватку то к одному, то к другому. Гладила по ногам, пыталась успокоить. Крик нарастал - пронзительный и отчаянный. Я знала, чем все это кончится, они тоже знали. И от этого становилось еще страшнее, было невозможно остановиться... И тут распахнулась дверь. Сноп света вбросил в спальню чудовище - огромную черную тень с уродливым, покрытым бородавками лицом.

Я завизжала. Упала на пол и закатилась под свою кровать, разодрав до крови плечо.

* Съем, паршивцы, - прошамкал знакомый старушечий голос, - самого жирного съем!

Сложенная вдвое скакалка издала угрожающий свист и загуляла над кроватками, срубая высунувшихся «паршивцев». Дети падали на матрасы и накрывали головы руками. Рыдания переросли в истерику, крошечные плечики тряслись. О змее все забыли. Баба-яга была настоящей, живой - она кричала и била. Она утаскивала к себе, чтобы съесть. Сколько раз уже было такое: мы просыпались утром и видели рядом пустую кроватку.

* Спааааать, бесссстолочи! - Ярость клокотала в старушечьем горле.

Мгновение, и голова бабы-яги отделилась от тела. Дети в ужасе завизжали. А голова легла на подоконник, точно между двумя подвернутыми шторами, и высовывалась теперь из них словно из зловещего театрального занавеса. Голые ветки деревьев хлестали по стеклу за ее затылком - голова дышала, двигалась и не сводила с детей глаз.

* Буду следить, - прохрипела старуха, - кто не уснет, тому смерть!

Тело под черным покрывалом метнулось к выходу и растворилось за дверью.

Дети плакали. Я плакала. Задыхалась и захлебывалась в истерике. Я всегда знала, что когда-нибудь баба-яга меня съест: этой ночью или следующей. Но когда-нибудь точно. Она же съела мою Аню. И многих других. Слезы выжигали на щеках дорожки, я закрыла ладонями лицо и лежала так, пока не обессилела и не провалилась в глубокую бездну.

Очнулась, когда дети, устав от слез, уже спали, а огромную комнату, уставленную железными клетками-кроватками, освещала луна. Ведро с тряпкой стояло на прежнем месте. Голова бабы-яги скалилась с подоконника. Страшные глаза мертво смотрели мимо меня, куда-то в потолок. Значит, не видит. Можно. Осторожно, чтобы не расцарапать грудь и живот, я выбралась из-под кроватки, ловко, как обезьянка, ухватилась за ее железные прутья и перебралась через ограду. Из-за дрожи, которая колотила тело от макушки до пят, не сразу смогла попасть головой в ворот пижамной фуфайки. Тощие ноги в брючины штанишек тоже воткнулись с трудом. Наконец справилась. Забралась под одеяло с головой и съежилась в позе зародыша. Я привыкла так спать - уже несколько лет не помещалась в маленькой кроватке.

Я и сегодня, спустя многие годы, могу уснуть только так: подтянув колени к подбородку и сжавшись в комок. Непроизвольно всякий раз принимаю эту позу, словно защищаюсь от внешнего мира.

Дыша открытым ртом, я стала медленно оттаивать в уютном пространстве. Через пару минут дрожь отступила. Тело расслабилось во сне, и горячие струи, расчерчивая дорожками ноги, растеклись по простыням. Наконец-то стало по-настоящему тепло. Еще мгновение - и влажный кокон обхватил и отогрел, словно вернув в утробу матери. Я погрузилась в сон.

**Глава 2 Туалет**

- Все встаааали!

Я вздрогнула и открыла глаза. Орут - значит, утро. С потолка в кроватку прыгнул солнечный зайчик. Заметался по одеялу и замер там, где... Холодный пот прошиб меня насквозь. Нееет. Я должна была проснуться до рассвета! Мне нужно было прокрасться в туалет, пока все воспитатели спят, прополоскать простыню, пижамные штаны, просушить их на батарее, а потом снова голой лечь на пол. Я наказана, мне не разрешали спать в теплой постели!

* Тааааак, - она возникла словно из воздуха: толстые ноги, тяжелый зад, обесцвеченные короткие волосы, - что ты тут делаешь?!

Я зажмурила глаза, стиснула губы.

* Ах ты, дрянь!

Ночная воспитательница грозовой тучей нависла надо мной и стремительно откинула край одеяла. Стыд и страх затопили меня - не вынырнуть. Я зарыдала. Горько, безнадежно. Мне стало так стыдно, что хотелось исчезнуть и никогда больше не быть. Я с младенчества знала, что писать в кровать нельзя. Я плохая, плохая!

* Еще и снова обоссалась?! - Губы скривились в злой гримасе.

Тяжелая рука взметнулась вверх и опустилась распластанной пятерней на мое бедро, затянутое в пижаму. Больно не было. Только страшно. Как я могла проспать?! Я плохая, плохая! Я заслужила побои. Слезы накатили с новой силой, залили щеки и подбородок, вызывая новый прилив ярости у женщины. Ее рука взлетала и опускалась, взлетала и опускалась...

* Смену невозможно с этими гадами сдать, - лицо ее раскраснелось, щеки покрылись нервными пятнами, - сволочи! То ссут, то срут, то орут ночи напролет!

Почувствовав две железные пятерни у себя под мышками, я внезапно взлетела вверх. Голые ступни больно ударились о холодный пол, я едва успела ухватиться рукой за прутья кроватки, чтобы не упасть. Через мгновение на меня обрушилась скомканная мокрая простыня, следом - пододеяльник. Белье не удержалось на голове, сползло под ноги.

* Руки у тебя есть?! - Воспитательница с силой тряхнула меня за плечи. - Раз-два, взяли! Пошла!

Торопливо собрав с пола охапку, которая не умещалась в руках, я пошлепала по холодному коридору. Хвост простыни волочился следом.

* Бесссстолочь! - Воспитательница подобрала с пола край белья и заткнула его мне за шиворот.

Я толкнула тяжелую дверь в туалет, она со скрипом открылась. Кафельный пол за ночь превратился в каток, я чувствовала, как скользят голые ступни по тонкой корочке льда. Горло и без того уже болело, а теперь в него словно вонзались острые иглы.

Санузел был огромным. По полу тянулся ряд железных горшков, покрашенных бледно-желтой краской. Вдоль стены стояло несколько ванн. В них нас мыли - сажали сразу штук по пять. Окно, закрашенное белой краской, было открыто.

Не с первого раза, но мне удалось перекинуть белье через край ванны и дотянуться до крана - только до холодного, горячий был дальше. Руки онемели под ледяной водой, на белом запястье отчетливее проступили красные родимые пятна. Но я продолжала полоскать - надо было торопиться: скоро приведут всю группу и рассадят по горшкам. Если не успею, снова достанется! Я неумело гладила ладошками жесткую холодную ткань, пытаясь отмыть постыдные следы.

Мелкая дробь шагов послышалась в конце коридора. Я словно увидела их - маленькие ножки в одинаковых сандаликах, в ряд по четыре, и конвой из двух толстенных, как тумбы, ног в войлочных тапках. Шррррр. Клок-клок-клок-клок. Шррррр. Клок-клок-клок-клок. Первая пара, вторая, третья, ближе и ближе... Я не успела! Жалобно скрипнула и грохнула о стену дверь.

* Тааак, - воспитательница с трудом дождалась, пока печальная вереница войдет, - сняли штаныыыы!

Дети принялись послушно спускать колготы - вечно растянутые и собирающиеся морщинами, они тут же падали на пол. Тощие коленки на глазах становились синими от холода. Малыши морщились, медленно опускаясь на ледяные круги горшков, но молчали. Наказание пугало больше, чем холод. Воспитательница, наконец, закрыла окно.

* Все селииии! - Она посмотрела на меня. - Тебя не касается?!

Я засуетилась, пытаясь закрыть кран. Не получилось. Воспитательница раздраженно пихнула в мою сторону ближайший горшок. Он со скрежетом пролетел по кафелю и больно ударился в ноги.

* Ааа! - Слезы хлынули из глаз.
* Заткнись!

Не выдержав, воспитательница сдернула с меня пижамные штаны, швырнула их в ванну к постельному белью. Стянула и бросила следом кофту. Я снова, одна из всех, оказалась голой.

* Селаааа, бессстолочь! - рявкнула она.

Железный круг обжег ягодицы. Слезы текли по щекам, легко находя привычную борозду.

* Таааак!

Она убедилась, что все, наконец, сидят, и поморщилась, брезгливо скривив рот.

* Кому жопу вытирать?

Робко поднялась первая тонкая рука. Белая, почти прозрачная. Потом вторая. Темная, с желтым отливом. Воспитательница, тяжело вздыхая и кляня полушепотом судьбу - «всю жизнь говно разгребать», - начала работать туалетной бумагой. Первый пошел. Третий, четвертый, пятый, пятнадцатый, двадцать пятый. Двадцать восьмой.

* Тебе особое приглашение нужно?!

Я снова чувствовала себя виноватой. Малыши послушно сделали то, чего от них хотели. Почему же я не могу быть нормальным ребенком?! Рот уже начал кривиться, глаза снова были на мокром месте.

* Всееее! - Я почувствовала железную хватку на плече и тут же взлетела с горшка. - Ты меня достала, зассыха!

Крутой поворот, на мгновение снова в воздух, и я оказалась в ванне. Холодная вода из душа стегнула по коленям и животу. Коричневый кусок хозяйственного мыла стал елозить по телу, царапая рассохшимися краями и оставляя за собой светло-коричневые полосы. Он с силой впечатывался в кожу, тер до красноты. Руки, плечи, живот. Между ног защипало, но мыло двигалось дальше, его было не остановить. Постепенно все тело стало располосованным и покрылось плотной пеной.

* Будешь еще ссаться в кровати?! Будешь?!

Я отчаянно мотала головой. Я не хотела так поступать, но снова и снова не слушалась. Потому что плохая... Воспитательница закончила, наконец, мылить меня и с удивлением - как будто успела забыть об остальных - обернулась к молчаливому отряду, робко топтавшемуся возле полных горшков.

* Эти тут еще, паршивцы! - В ее глазах промелькнуло отчаяние. - А ну, руки мыть!

Дети стали толпиться возле умывальников, торопливо ополаскивая ладошки. Воспитательница бросила мыло на дно ванны и стряхнула ладони, с которых на меня и на стену полетели клочья пены. Вымыла руки, выключила воду и направилась к выходу из туалета.

* Посссстроились!

Дважды повторять не пришлось. Маленькие солдатики, взявшись за руки, уже вытянулись перед дверью. Следующим пунктом в расписании была столовая. А я осталась в ванной одна. Холод сковал все тело, но скоро я перестала это ощущать, уставившись на мыльные пузыри. Они тихонько лопались на коже, превращаясь в бледно-коричневые струйки и стекая вниз. Это было красиво. В каждом крошечном полукруге отражалось утреннее солнце, и мне казалось, что под его куполом поселился целый город. Микроскопические люди жили там своей жизнью, вставали по утрам, умывались. А потом вдруг - бах! - и ничего, только маленькая капля воды, которая начинала искать другую, подобную себе. И, подхватив ее, став больше, искала третью. Вместе они отправлялись на поиски четвертой. Дальше встречали пятую, соединялись с новыми и новыми каплями, бежали вместе. Куда они так спешили? К чему стремились? Никуда. Ни к чему. Они собирались вместе, обходили препятствия - крошечные волоски, чертили замысловатые полосы на животе, сползали по ногам и, добравшись до дна ванной, пропадали в сливе канализации.

Когда я выросла, то, вспоминая те наказания в ванной, стала думать, что капли напоминали нас, сирот. Они ничего не значили. У них не было собственных имен и своей судьбы. И у нас, детей, тоже этого не было. Нас звали «Всеееее-встаааа-ли» и «Всееее-выыыышли». А еще «Идите-сюда». И мы - много-много детей - существовали в доме ребенка как единое целое. Как стадо овец. Даже не так - как одна большая овца под общим названием «бесссстолочи». «Все-оделись», «Все-доели», «Все-встали», «Все-сели». Нас звали так...

* Эй, ты чего тут делаешь?!

Я повернулась к двери и открыла рот, но тут же снова захлопнула его: не решилась ответить.

* Ночная тебя тут оставила? - Дневная воспитательница, которая заступила на смену перед завтраком, обвела взглядом полные горшки, и лицо ее вытянулось. Щеки покраснели от злости.

Я понимала, что злится она не из-за меня, забытой в мыле. Злится из-за горшков, которые «передали по смене».

* Я ей устрою, - она нагнулась за первым, морща нос, и сразу подхватила второй, - сколько лет одно и то же. Вот сволочь!

Я продолжала стоять в ванной, уже продрогшая и никому не нужная. Тонкие струйки все так же ползли по коже вниз, но это были уже не отряды погибших пузырьков - просто коричневая вода. Горло пронзали миллионы иголок, зубы начали перестукиваться, тело бил озноб. Я обрадовалась - заболела! Плохие непослушные дети болеют всегда. Уж мне-то это было известно.

**Глава 3 Зима**

Не знаю, сколько времени провела в изоляторе, но в группу вернулась вместе со снегом. Снежинки повисли на тонких нитках на потолке спальни - воспитательницы вырезали их ножницами из бумаги. На улице тоже шел снег. Валил огромными хлопьями, покрывая площадку и крыши беседок.

Пока никому до меня не было дела - воспитатели увели куда-то детей, - я залезла на подоконник в спальне и припала лбом к холодному стеклу. В пустом дворе хозяйничал снегопад. Прибирался на свой вкус, заваливая белой ватой все, что было не по душе. Сугробы росли над пустыми клумбами, над сломанными каруселями. Даже над мусорными баками возвышались огромные шапки. В воздухе плясали хороводы крошечных балерин, от которых я не могла оторвать глаз.

* Всее одееелись!

Окрик заставил вздрогнуть. Испуганным зверьком я скатилась с подоконника (увидят, куда залезла, накажут) и влетела в раздевалку. Там уже копошились дети. Красные комбинезоны. Белые валенки. Только у двух девочек в группе одежда отличалась от остальных - у меня и у Ани. Мы обе оказались на голову выше малышей. Остальных на зимней прогулке было друг от друга не отличить.

* Явилась, - безразлично отметила темноволосая дневная воспитательница с печальными глазами оленя.

Не зная, нужно ли что-то говорить - накажут, если промолчу или если отвечу? - я замерла с полуоткрытым ртом, глядя в крепкую спину и узкий зад, обтянутый белым халатом. Длинные каштановые волосы воспитательницы выбились из прически и разметались по плечам. Значит, утро не задалось и жди беды.

* Когда уже переведут? Надоела, - процедила она сквозь зубы, разговаривая то ли сама с собой, то ли с уборщицей, которая копошилась в углу.
* А чо, - откликнулась та, - из изолятора к нам опять?
* Как видишь.

Жалобно охнув, воспитательница опустилась на низкую скамеечку и, притянув к себе правой рукой первого попавшегося ребенка - тот едва успел вскинуть вверх подбородок, - резким движением застегнула «молнию» на его комбинезоне. Вжжжжик. Готово. Отодвинула его одной левой, а правой за рукав подтащила второго. Встал. Подбородок в потолок. Вжжжжжик. Следующий. Встал. Подбородок в потолок. Вжжжжжик. Следующий. Работа двигалась привычным конвейером. Вжик. Вжик. Вжик.

* Чой-то я никак не пойму, - уборщица застыла в задумчивости над полным мусорным ведром, - сколько ей лет?
* Пять исполнилось в изоляторе, - я замерла и превратилась в слух, - дылда.

Женщина присвистнула.

* Где же такое видано?!
* А я тебе о чем говорю, - воспитательница со скрипом поднялась со скамейки: детский конвейер наконец закончился, - в три уже духу быть не должно. Еще вторую дылду сегодня вернут!

Она в отчаянии махнула рукой. А у меня сердце забилось от радости - значит, мою Аню не съела баба-яга? Ее вернут? Внутри все закружилось, запрыгало.

* А чего ее держат-то?
* Говорят, документов нет отказных. Мать надо найти.
* Ха, - уборщица вытряхнула мусор из корзины в гигантский черный пакет, - ищи-свищи ветра в поле.

Радость оттого, что я скоро увижу Аню, сменилась привычной грустью. «Пять исполнилось в изоляторе», «мать надо найти», - я повторяла про себя фразы как магическое заклинание, не понимая их смысла.

Только через много лет я узнала, что мать бросила меня в роддоме и ушла, не написав официального отказа. Вместо него она оставила врачам записку, в которой обещала забрать меня домой через три месяца. Сегодня я понимаю, что из-за этого документа и застряла в доме малютки - меня не могли оформить как сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, не могли перевести в детский дом. Хотя всех, кому исполнялось три годика, отправляли туда. Социальные службы должны были сначала отыскать мою мать и получить от нее письменный отказ от ребенка, а потом инициировать лишение родительских прав. Тогда у меня появился бы статус сироты. Но мне уже исполнилось пять лет, а мою мать так и не нашли. Я жила в подвешенном состоянии - «родительский» ребенок, оставленный на попечении государства.

Пока мы стадом спускались по лестнице, пока выходили во двор, услышанное сжалось в два слова - «пять» и «мать». Что это значит? Не знаю. Всем три, мне пять. Непонятно. Я дылда. Хоть это слово много раз слышала - дылды мы с Аней. А мать? Что значит «мать»? Странные незнакомые звуки, которые притягивают, словно магнит.

Дверь, ведущая на улицу, открылась. Толчок, рывок, сосед споткнулся, сжал руку, сзади клюнули головой в спину, сбоку - в плечо. Мы оказались на дорожке перед детской площадкой. Свежий морозный воздух залетел в ноздри, и голова закружилась от его чистоты. После запахов изолятора - хлорки и остро пахнущих лекарств - тонкий аромат снега казался сказкой. Я незаметно вытянула перед собой ладонь, и на варежку доверчиво опустились снежинки. Хотелось рассмотреть их - переливающихся разноцветными блестками, с лучами невероятной красоты, - но в спину грубо толкнули, и снежинки рассыпались. Мы пошли в глубь двора. Воспитательница оставила нас на веранде, строго приказав не сходить с места, и направилась к заведующей, которая зачем-то вышла во двор. Свобода!

Дети толпились посередине веранды на детской площадке и жались друг к другу. А я присела на корточки у края и стала разглядывать снежинки. Их красота притягивала, казалась волшебством. У каждой снежинки был свой узор. Как это получается? Кто сидит там наверху и вырезает крошечными ножницами это великолепие из тонкого-претонкого льда? В ответ на свой вопрос я словно увидела маленьких-премаленьких человечков на облаке. И как они попадают туда?

* Всеее построоиились!

Крик воспитательницы взрезал морозный воздух. А я даже не успела представить себе, как живут эти маленькие небесные существа, которые делают снежинки. Как они сбрасывают их вниз, чтобы прикрыть голую землю, и кусты, и мусор. Просто сидела и смотрела, не в силах оторваться от красоты.

* Комууу я сказааала?!

Я вскочила, встала в строй вместе с детьми, и мы потопали назад, в раздевалку. В нежный морозный аромат из открытой двери врывался привычный запах щей из кислой капусты. Мы возвращались в свое беличье колесо.

- Все раздееелись! Все помыли рууууки! Все за стооол! Все на горшооок! Все спаааать!

**Глава 4 Спонсоры**

В спальне на кроватях лежит одежда «для спонсоров». Два разноцветных вороха - одинаковые нарядные платья для девочек и одинаковые шортики-рубашечки для мальчиков. Я огляделась в поисках ненавистных бантов. Может, хотя бы про них забыли? Из-за этих оранжевых и красных орудий пыток я ненавидела спонсоров больше всего. А еще за то, что они приходили по праздникам и глазели на нас. Трогали, щупали, пускали слезу, а потом возвращались в свой непонятный мир, куда нам не было доступа.

Нет. Зря я радовалась. Банты принесли следом. Меня выловили первой - поставили перед стулом, на котором сидела воспитательница, и стали драть волосы пластмассовой расческой. Хррррр! Хррррр! За что?!

Прически у мальчиков и девочек были одинаковыми. Чем мы отличаемся друг от друга, кроме названия, непонятно. Просто есть дети в шортиках, а есть дети в платьицах. Только в платьицах страдали больше. Воспитательница твердой рукой сгребла мои короткие волосенки в пучок на макушке и прицепила к ним ненавистный бант, натянув кожу на голове так, что глаза подползли к ушам. Привычно отодвинула меня в сторону, не обращая внимания на скривившийся рот, и притянула к себе следующую жертву. Хрррррр! Хрррррр! Металась расческа. Цеплялся бант. Следующая. Хрррррр! Хрррррр! Готово! Скоро все дети в платьицах выросли на вторую голову, красную или оранжевую, которая мерно покачивалась на макушке. Больно - глаза к ушам - было всем. Но сдирать банты никто не пытался: мы уже знали о последствиях.

Нас ведут в групповую.

Столы, за которыми мы обычно едим, сейчас куда-то вынесли. Ёлка! Увидев ее, мы начинаем толкаться - бесссссстолочи - и никак не поймем, чего же от нас хотят... Наконец, накинувшись всем коллективом, воспитатели вручную собирают всех в кучку - как бы чего не вышло. Я, как обычно, наблюдаю за их лицами. Вот они выравнивают нас - мальчик- девочка, затылок в затылок, висок в висок. Губы сжаты в тонкую нить, придирчивый взгляд. Вот одна из них распахивает двери в групповую, и на лица остальных, словно по команде, слетают улыбки. Глаза остаются неподвижными, как точка отсчета, а рты старательно тянутся в спортивной зарядке - раз, два, три, четыре, сели-встали, губы шире. К нам вваливаются чужие взрослые. Спонсоры. Самая неугомонная воспитательница из соседней группы, вечная тамада, выходит в центр зала.

* Здраааавствуйте, гости дорогие!

Она зачем-то кланяется, спонсоры глупо улыбаются и кивают в ответ.

* Скоро праздник, Новый год! Добрых дел водоворот.

И тут вижу, как открывается дверь и из-за спин взрослых в зал вталкивают ЕЕ! Такую же «дылду», как я, точно в таком же платье и с таким же огромным рыжим бантом! Сердце радостно бьется в груди, стучит так, что, кажется, все это слышат. Тук-тук-тук-тук! Тук-тук-тук- тук! Руки, ноги и даже голова у Ани на месте! Только лицо, как обычно, заклеено пластырем и почти не видно глаз - одни узкие щелки. Опухшие веки, щеки, подбородок. Я знаю, что в детстве Аня не слушалась воспитателей и за это ее украла баба-яга, искусала ей все лицо. Она сама виновата - плохо себя вела. И теперь Аню лечат врачи. Уже много лет.

При мыслях о бабе-яге мне становится страшно, я начинаю постукивать зубами, глядя на единственную подругу. Ничего не могу с собой поделать.

* Ооо, - ведущая нервно дергается, делая непонятные знаки в сторону двери, - вот и Анечку из больницы привезли. После операции.

Она как будто оправдывается, но это не помогает. По толпе спонсоров, они жмутся друг к другу - плечи к ушам, пролетает испуганный вздох. В нем ужас и жалость. И я чувствую эти вздохи, как будто они живые, вижу своими глазами серых мохнатых тварей, которые вываливаются из ртов взрослых вместе с этим отвратительным «ооооо» и разбегаются по углам. Они хуже крыс. Намного хуже! Я злюсь на глупых взрослых. Аня красавица, она, как и я, - такое же платье, такой же бант! Что им не нравится? Аню подхватывают под локоть и запихивают куда подальше, ко мне под бок. Тут ее не будет видно. Она врезается в меня всем телом и прерывисто дышит мне в ухо. Я довольна - мы снова рядом. Осторожно завожу руку за спину, чтобы не видно, и Аня благодарно вцепляется в мои пальцы. Воспитательницы, наконец, прекращают суетиться и встают у нас за спинами.

Первый толчок в затылок без банта, и малыш выходит на середину зала. Светленький, ладный. Шаркает черными чешками - шрррр, шрррр - и прячет глаза.

* Мыыыы начинааааем! - продолжает ведущая. - Перед вами выступят воспитанники старшей группы!

Она театрально выбрасывает руку в сторону ребенка, словно представляет всемирно известного акробата - как в цирковом выступлении по телевизору - и словно опытный конферансье отходит в сторону. Малыш мнется с ноги на ногу, теребит влажными ладошками серые шортики. Он вот-вот заплачет, ему страшно стоять перед этими взрослыми, которые смотрят на него, как на диковинную зверушку. «Какой красивый, - доносится из кучки спонсоров, - как же так?!»

* Ну, что ты стоишь? - улыбается ртом и сверкает злыми глазами воспитательница. - Давай!

Ребенок взрагивает всем телом и начинает тревожный лепет:

* Ёака сикааааает...
* Дааа, - кивает воспитательница и шепчет ему, - шарики.
* Шаикиии бетяяят, ааадуютя деееети и.
* И «ура»! - подсказывает она.
* И «уааа» китяяят.
* Молодец! - Все хлопают в ладоши, конферансье сияет. - Ууу-ти, наша гордость!

Трехлетние дети выходят в центр зала один за другим, воспитатели за спинами обеспечивают правильный порядок тычками. Малыши лопочут что-то невнятное - учили ведь, бессссстолочи, учили! - только потому, что боятся наказаний. Я тоже хочу быть хорошей, хочу сделать все правильно, но не знаю стихов. Ни одного. Я болела. Стою, обливаюсь холодным потом - вдруг вытолкают и меня тоже вперед, и что тогда?! Меня накажут. Я плохая. Плохая! Мы с Аней две нелепые белые вороны - изоляторная и больничная - каждая о двух головах, стоим и молча потеем от страха. Уффффф. Конец. Нас не тронули.

* А тепеееерь, - из толпы спонсоров выходит вперед великан: глаза навыкате, рыжая борода, - с нас детишкам подарки! Сегодня я ваш Дед Мороз!

Он хохочет так, что в окнах позвякивают стекла. Страшно. А воспитательницы проворно тыкают в наши спины - работают в восемь рук, - и мы, спотыкаясь, делаем по шагу вперед. Взрослые оживляются, дети напуганы. Я хочу, чтобы все взрослые скорее отсюда ушли, - хватит, хватит! Мне нужно забиться в угол и избавиться, наконец, от резких запахов, гула и чужих радаров-глаз. Но нас выстраивают в одну линию и каждому вручают подарок - в одну руку новогоднюю картонку с конфетами, в другую - киндер-сюрприз. Я знаю, что сейчас нужно улыбаться, поэтому так и делаю. Киваю женщине, руки которой вкладывают в мои ладони дары. Шепчу беззвучно, одними губами: «Спасибо». И вдруг ее мягкие тонкие пальцы нежно касаются моей правой руки, покрытой красными пятнами. Мне становится стыдно. Ее прикосновение обжигает - оно не для меня, я его украла и не заслужила ни подарков, ни доброты. Я плохая! Вижу в глазах женщины слезы - она смотрит мне прямо в глаза - и смущаюсь еще больше. Почему она плачет? Но гостья ничего не объясняет, она уже отходит, чтобы взять из мешка новый подарок и передать его другому ребенку. Точно так же прикоснуться к нему.

- Нууууу, - гремит довольный великан, - теперь общая фотография на память!

Мы строимся под елкой. Дети впереди, взрослые за нами. Толкотня, давка. Шшшшш! Только бы не помять коробку с подарком и не сломать случайно киндер-сюрприз. Я знаю, как надо: встать ровно, посмотреть в камеру, улыбнуться, приподнять подарок, чтобы его было видно. Замереть на несколько секунд, пока взрослые фотографируют историю нашей счастливой жизни, и потом тихонечко ждать. Пока не разрешат разойтись. Краем глаза замечаю, что Аня делает так же, как я. Мое отражение. А вот два незадачливых малыша - попали к нам, когда деревья еще были зелеными, - торопливо разворачивают киндер-сюрпризы и заталкивают сразу по половинке в рот. Офффф! Все дети смотрят на них с ужасом. Я каменею.

Спонсоры, наконец, уходят, довольные собой, а нас выстраивают вдоль стены.

* Все показали подааарки! - чеканит тамада, убедившись, что за гостями закрылась дверь.

Я покорно протягиваю руки с сокровищами - с самого начала понимала, что их заберут. Забирали всегда. Любые подарки исчезали, попав в руки воспитателям. Нам оставалось только гадать, какими они были на вкус. На вид мне больше всего нравились киндеры и тик-таки, нам их часто дарили. Киндер издавал глухой, загадочный звук, а тик-так - звонкий, веселый. Наученная горьким опытом, я обращалась с ними как с драгоценностью. Если что-то сломать, разбить, потерять или - того хуже - съесть при гостях, потом будет очень и очень больно.

Киндеры перестукиваются, пока воспитательницы ходят по рядам и собирают дары. Это все для хороших детей. А мы - плохие.

* Таааак, - одна из них заметила две перемазанные шоколадом мордашки, - выыыышли впереееед!

Малыши - брат и сестра - испуганно жмутся друг к другу. Их выводят на середину.

* Это не для отбросов, - глаза воспитательницы наливаются кровью, - а для нормальных детей! У которых матери пашут с утра до ночи и сраной конфеты на свою нищенскую зарплату не могут купить!

Наша воспитательница - темные длинные волосы уже собраны в хвост - услужливо подает скакалку. Резиновый шнур со свистом разрезает воздух и опускается на голые икры малышей. Они ревут от боли, мы жмуримся и дрожим. Скакалка взлетает «буууууу» и врезается в кожу - «дыш!». Так и учит уму-разуму: «Буууу-дешь?», «Бууууу-дешь?», «Буууу-дешь?» Я чувствую, как Аня до боли сжимает мою ладонь.

* Останетесь без полдника и без ужина, - тамада, наконец, останавливает полет шнура и вталкивает ревущих крох на место, в наш ряд, - бессстолочи!

Праздник окончен.

В тот день нас, как обычно, привели из групповой обратно в спальню - снимать нарядные платья и парадные банты. Мы переоделись в обычную одежду. Только нарушителей заставили надеть пижамы и лечь в кроватки: их день закончился. Воспитательница построила нас парами - Аня снова протиснулась поближе ко мне и встала рядом так, чтобы я ее чувствовала.

* Полдник накрыт! - В проем двери втиснулись толстые довольные щеки.
* Ты зачем вторую дылду притащила в зал? - Воспитательница посмотрела на женщину с оленьими глазами. - Людей пугать?!

Я почувствовала, как Аня вздрогнула и вытянулась в струну.

* Я не знала, - смущенно проговорили щеки. - Думала, надо всех...
* Думать надо головой, а не жопой!

И мы пошли.

**Глава 5 Новый год**

С самого утра взрослые вели себя странно. Что-то загадочное порхало с пола на потолок, словно к нам влетела нарядная птица в разноцветных перьях. Будто сами воспитательницы превратились в пернатых из телевизора. Яркие ткани. Острые каблуки. Кольца на пальцах и цепочки на шеях. Красные губы.

В обычные дни никто из нас, детей, не отличал в бесконечной веренице женщин одну от другой. Застиранные халаты, серые лица, злые глаза. Воспитательницы, няньки, уборщицы, поварихи, прачки, медсестры, врачи. Их было слишком много. Они постоянно менялись, исчезали и появлялись снова. Я никого не могла запомнить - отличала только одну нашу воспитательницу с тяжеловесным задом и коротким белым ежиком на голове от другой - темноволосой с оленьими глазами. Женщины ходили в одинаково бесцветной одежде и были все на одно лицо. И только их руки в моменты опасности становились разными: одни превращались в ремень, другие в скакалку, третьи - в широкий тапок.

Но в тот день что-то произошло. Каждая выглядела как диковинное существо в нарядном платье, непохожем на одежду других. Я не могла оторвать глаз от переливов тканей - они мерцали синими блестками, красными всполохами, переливались змеиной чешуей, блестели леопардовой шкурой. Казалось, даже бледно-зеленые безжизненные стены нашего дома ребенка откликнулись на буйство красок и стали вдруг отражать цвета.

Наша воспитательница, толстозадая с короткой белой стрижкой - тамада, скакалка и баба-яга - привела всех в спальню, где вдоль стены стояли стульчики.

* Бысссстро ссссели!

Мы послушно опустились на места в привычном порядке - так, как садились всегда.

* У нас педсовет, - почему-то снизошла она до объяснений, которые ни о чем нам не говорили, - вы поняли?!

Мы торопливо закивали. Воспитательница сощурилась и пошла вдоль ряда. Это было красиво! Я завороженно наблюдала за блестящей красной тканью, которая плотно обхватывала полные бедра и ноги. При каждом шаге она натягивалась в напряжении, отчего начинала сверкать еще больше, а потом расслаблялась. Словно делала выдох. И вдох. Выдох. И вдох. Воспитательница шла. Платье ее дышало. И вдруг я почувствовала железную клешню на своем плече, а потом слетела со стула. Воспитательница отволокла меня, схватив за запястье, в центр комнаты и развернула к группе лицом.

* Пока я буду на педсовете, подчиняетесь ей, - она тряхнула меня двумя руками за плечи, - поняли?

Дети снова закивали, а я с трудом удерживалась на ногах. От пальцев воспитательницы через плечи в мое тело втекал ужас.

* Ты остаешься за главную, - наклонилась она ко мне, - всех, кто будет плохо себя вести, бей головой об стену. Понятно?

Я молчала, не смея даже рот открыть. Не кивала. Не шевелилась. Она поняла это по-своему и решила меня подбодрить:

* Сил у тебя хватит, не бойся, дылда.

Воспитательница стиснула на прощанье плечо, словно оставляя на нем печать, и, непривычно перестукивая каблуками, вышла за дверь. Я обвела малышей испуганным взглядом и остановила глаза на Ане, ища поддержки. Но она, единственный близкий человек, тоже смотрела на меня с ужасом. Как на палача. К горлу поднялся гигантский ком.

* Сидите тихо, - прошептала я, понимая, что еще немного - уже ничего не смогу сказать: голос задрожит и сорвется.

Все это происходило со мной. Когда я сама была меньше, меня тоже била головой об стену старшая девочка в группе.

Картина из прошлого вспыхнула будто бы на экране. Мы сидели в тот день точно так же, на этих самых стульчиках, только дети рядом другие - их здесь больше нет. Сидеть неподвижно было тяжело, у меня затекли ноги. Я знала, что нельзя шевелиться, но больше не могла терпеть и едва заметно переставила ногу. Наша надзирательница с каменным лицом, которой так же, как мне сейчас, поручили следить за порядком, подошла к моему стульчику и со всей силы ударила меня ладошкой в лоб. Я врезалась затылком в стену так, что искры полетели из глаз. На затылке проступила кровь - я почувствовала ее на пальцах.

* Молодец, - сквозь туман я услышала скрип двери и голос воспитательницы, - только так они понимают!

Красные капли на пальцах стояли перед глазами. Затылок чувствовал удар, словно он случился только сейчас. Я молила детей о тишине, говорила с каждым глазами: «Сиди тихо. Просто сиди. Я тебя не обижу». И они сидели, не двигаясь, словно слышали меня. Но, даже если бы кто- то из них начал шуметь, вскочил с места, я никогда не смогла бы ударить. Больше, чем наказания, я боялась причинить боль другому человеку.

Дети удивленно смотрели на меня. Я видела, что, натянутые струной в самом начале, они расслабляются. Один заерзал на стульчике, второй подул на вспотевшие ладошки, третий тихонечко пошевелил ногами, четвертый начал беззвучно играть со своими пальчиками. Но все сидели тихо. Я смогла сделать так, чтобы они слушались безо всякой боли!

Дверь за моей спиной неожиданно скрипнула, я резко обернулась. Огромным красным коршуном воспитательница метнулась к детям.

* Как ты сидишь?! - Она пнула Аню по колену, сбивая одну ногу с другой. - Развалилась!

Мимолетная радость оттого, что я справилась с заданием, испарилась. Воспитательница шла вдоль ряда детей, шлепая их, пиная, отвешивая подзатыльники.

* Это дисциплина?! - бушевала она. - Это порядок?!

Красный всполох ослепил меня - блестки на ткани целились прямо в зрачки. Я почувствовала отвратительный запах, вырвавшийся заодно со словами.

* Будешь наказана, бессстолочь, - она дышала мне прямо в лицо, - до тихого часа просидишь здесь. И останешься без еды. Селааа на корточки!

Она с силой нажала на мои плечи, и я опустилась к полу. Красные шпильки на моих глазах впились в линолеум. Один каблук вдруг подвернулся, но потом с новой силой вонзился в пол.

* Строимсяяяяяяя!

Висок к виску. Ладошка в ладошку. Раз-два, раз-два. Клок-клок, клок- клок. Она построила детей и вывела за дверь. А потом обернулась и бросила мне:

* Я все вижу! Не смей вставать!

А я и не смела. Я сидела на корточках и смотрела в одну точку. В голове глухо стучало: «Я плохая. Плохая». Как бы ни старалась - все равно! Обидно было не то, что посадили на корточки - давно привыкла к этим многочасовым сидениям, самым частым наказаниям в доме ребенка, - а то, что у меня ничего не выходит! Я же пытаюсь не злить воспитателей, все делать правильно, не ошибаться, стать незаметной. Я знаю, за что именно бьют, лишают обеда, сажают на корточки. И старалась изо всех сил не делать того, что нельзя! Но почему, почему не справляюсь?! Сколько раз мне хотелось спросить у воспитателей: «Что со мной не так?» Но я знала - спрашивать ни о чем нельзя, ни у кого и никогда.

Всего дважды в доме ребенка я открыла рот, чтобы задать вопрос. И после - никогда. Первый раз, когда только-только поступивший малыш орал без остановки как резаный. Я хотела ему помочь: стояла рядом с его кроваткой, гладила по спинке, ногам, но он сотрясался в отчаянном плаче, синел и ни на что не реагировал. Мне нужна была соска - последняя надежда. Я обшарила пол в спальне - может, где-то валяется? Нет. А он все кричит. Тогда решилась на отчаянный шаг - выйти из спальни. У воспитательниц точно есть пустышки. Но не успела я открыть дверь, как дорогу мне преградили. На меня сверху вниз смотрела взлохмаченная женщина.

* Мне, - задыхаясь от ужаса, начала я еле слышно, - нужна соска...
* Что?! - выплюнула она, дернув меня за руку и потащив обратно. - Кто разрешал выходить? Быстро в угол!

Малыш кричал еще сильнее, никто из детей не мог уснуть - измученные усталостью, они раскачивались в своих кроватках. Но воспитательница ничего этого не видела, не замечала. Она поставила меня в угол, бросила «стоишь до утра!» и вернулась к себе.

Второй раз я заговорила, когда моя Аня случайно разлила за обедом компот.

* Где можно взять тряпку?
* Разлила?! - заорала в ярости воспитательница. - Ах ты, бестолочь! Руки не из того места растут?! Один урон от вас, тунеядцев!

Я не понимали всех ее слов, только чувствовала растущую злость и вжимала голову в плечи. Гнев взрослого, словно гигантский огнедышащий дракон, вырастал до самого потолка. Пытающий. Страшный. Аня вдруг неизвестно зачем вылезла из-за моей спины и встала перед драконом.

* Это я пролила.

В тот день она долго сидела на корточках посреди спальни. И никому нельзя было к ней подходить. Аня была наказана. С тех пор я молчала всегда. Не потому, что не умела говорить, а потому что открывать рот слишком опасно.

Стена поплыла перед глазами. Я почувствовала, как крохотные иголки начинают пронизывать икры и затекшие ступни, а бедра дрожат от напряжения. Долго еще?! Опять обо мне забыли. Живот громко заурчал от голода. В испуге, что кто-то это услышит, я обернулась на дверь. Когда же за мной придут? Когда же?

* А ты тут чего? - В дверь заглянула незнакомая воспитательница. - Ваши уже на горшок пошли. Ну-ка, бегом!

Я посмотрела на нее вопросительно.

* Давай-давай! - поторопила она.

Неужели не понимает, что на корточках дети сидят, когда наказаны? Новенькая. И, кажется, добренькая. Я вскочила и побежала к двери, спотыкаясь на затекших ногах.

* Осторожно! - прикрикнула она, подхватив подол своего переливающегося змеиного платья.

Никем не замеченная, я добежала до туалета. Дети уже сидели на горшках. Красного коршуна рядом не было. Я быстро стянула колготы с трусами и шлепнулась на единственный свободный горшок в углу. Мое место никто не занимал - каждый ребенок здесь знал порядок. Дети рядом со мной кряхтели. Маленькие лица покрывались красными пятнами от натуги. А я просто сидела и ничего не делала - днем не будут ругать за пустой горшок. Тем более сегодня весь день с воспитательницами творится что-то странное. И тут вдруг за окном раздался страшный хлопок. Еще! Бууух, бу-бу-бууух! Замазанное белой краской окно вспыхнуло ярким желтым светом. Потом синим. И красным. Дети закричали от ужаса. И стали с грохотом прыгать на горшках в дальний от окна угол, прямо на меня. Новый хлопок. Бу-бууух! Еще всполох света. Теперь зеленый. Я сидела, пригнув голову к коленям и закрыв уши руками, чтобы не слышать новых хлопков. Чтобы хоть чуть- чуть приглушить детский крик и невыносимый железный грохот горшков о кафельный пол. Такое было уже не в первый раз - я знала, что могут стрелять и будут вспышки. Поэтому садилась подальше от окна.

* Что вы творите, бесссстолочи?! - Красный всполох возник в проеме двери. - Кудаааа?!

Но детей было не остановить. Грохот горшков продолжался.

В доме ребенка мы боялись всего. Любого шороха, резкого звука, крика. Темноты, вспышек света, взрослых. Скачки на горшках передавались из поколения в поколение как основной инстинкт. Одни дети убывали, другие появлялись, но ничего не менялось. Мы были стадом. Каждый из нас знал это мерзкое ощущение, когда собственные фекалии плещутся в моче и шлепают при каждом скачке по голому заду. И все равно скакал, не слезая с горшка. Страх был сильнее.

* Идиоооооты, - воспитательница крикнула так, что стекла задрожали, а дети замерли и заткнулись, - это салют, дебилы! Праздник, урооооды! Новыыыый гоооод!

Она смотрела на нас сверху вниз с ненавистью. Как на заразу, на грязь.

* За что мне такое наказание?! - Рот выплевывал слова вместе со слюной, а глаза стали цвета платья. - За какие грехи?! Сраные жопы. Грязные рожи. Зассанные штаны.

Она оперлась спиной о дверной косяк, закрыла лицо руками и сползла вниз по стене.

* Я хочу как человек! - почему-то объясняла она нам, а ее рот кривился в жалкой гримасе. - В красивом платье в ресторан! На танцы с мужиком. Чтобы меня водили, а не сикуху, которая младше на двадцать лет! Но у меня на работе сраные жопы. Дома кастрюли и уроки. А больше ничего в этой жизни нет. И все это из-за детей! Ну, почемууууууу?

Она страшно закричала, подняв голову к потолку, а все мы, затихнув от ужаса, смотрели на ее красный, искривленный рот.

Змеиное платье возникло в двери бесшумно. Узкая рука в тонких кольцах легла на пылающее плечо.

* Иди к остальным. - Новенькая воспитательница помогла нашей подняться.
* Зачем?!
* Посидишь отдохнешь. Вот зря ты стакан за стаканом.
* Не твое дело!

- Конечно. Я тебя провожу, а потом уложу детей. Сидите тихо, - бросила она нам.

Было слышно, как удаляются две пары ног. Цок-цок. Цок-цок. Мы вслушивались в незнакомые неровные звуки. За окном раздался еще один хлопок и вспыхнул новый - на этот раз оранжевый - салют. Но мы даже не шелохнулись, только на миг зажмурились. Сказали же. Новый год.

Полдника и ужина в тот день не досталось никому. Нас уложили в тихий час и забыли в кроватках до самой ночи: взрослые были заняты. Я долго раскачивалась влево-вправо, стараясь убаюкать сама себя, но никак не могла уснуть из-за голода. Потом, обессилев, свернулась под одеялом в клубок. Детская кроватка давно оказалась мне мала, но другой в спальне не было. Приходилось спать, подтянув к подбородку колени.

Той ночью я проснулась от резкой боли, распахнула глаза и увидела перед собой вспышку красного света, над которым качалась голова бабы-яги. Я затряслась от ужаса и моментально втянула ноги. Опять забылась во сне, и они высунулись в проход! Воспитательницы били меня по ногам каждый раз, как я случайно вытягивалась. А теперь еще и баба-яга об этом узнала! Все потому, что я не умею нормально спать. За это меня наказывают. Я плохая! Увидев, что преграда пропала, старуха тут же забыла обо мне. Пошатываясь и цепляясь когтистой лапой за спинки кроватей, она пошла к другим торчащим в проходе ногам. Аня! Я то ли вскрикнула вслух, то ли заорала мысленно, но подруга меня услышала - ее ноги дернулись и втянулись в кроватку. Баба-яга не успела. От ярости она стала стегать прутья кроватки. Под свист и шлепки скакалки за стеной раздался мелодичный стеклянный звон, и взрослые дружно закричали: «Урааааа! С Новым годом!» Баба-яга обернулась на звук и быстро, врезаясь бедрами в спинки кроваток, вылетела вон...

Только когда подросла, я поняла, что такое Новый год. Той ночью наступил 1998-й. Мы, дети из дома ребенка на Измайловском шоссе города Москвы, ничего об этом не знали. С нами не отмечали праздников. Мы не догадывались, что у каждого человека - даже ребенка! - есть свой день рождения. Не понимали, что значит радость. Человеческое тепло. Любовь. Да о чем это я? Многие из нас никогда не слышали собственных имен. Мы просто существовали, трясясь от страха двадцать четыре часа в сутки. Боялись взрослых до умопомрачения, до судорог, до энуреза. Шарахались от них и всегда молчали. Единственное чувство, которое мы тогда испытывали, - был СТРАХ. И он остался со мной надолго.

**Глава 6**

**«Санта-Барбара»**

В то утро я проснулась не от крика и не от боли, а от странного ощущения - кто-то осторожно трогал меня за щиколотку. От этих непривычных прикосновений по всему телу растекалось незнакомое тепло. Я открыла глаза и увидела ту самую новенькую воспитательницу. Змеиное платье.

* Что это у тебя?

Она внимательно разглядывала красные полосы на моих ногах. Я быстро втянула ноги под одеяло. Опять я делаю, как нельзя!

* Скажи мне, не бойся.

Я продолжала молча на нее смотреть. Если признаюсь, другие воспитательницы накажут так, что в полосах будут не только ноги. Змеиное платье сделало несколько шагов в сторону спящей Ани. На ее бледных, не умещающихся в кроватке ногах краснели точно такие же полосы.

* Не похоже на ремень. - Воспитательница обернулась ко мне.

Я отрицательно мотнула головой. Не могла ничего сказать. Только сжалась в комок.

* Значит, скакалка. - Она не злилась, не повышала голос. - За что же вас наказали?
* Твое-то какое дело? - В дверях возникла наша воспитательница.

Всклокоченный ежик. Красные глаза. Помятое лицо и плотно сжатые губы. В звуках ее голоса ощущалась угроза. Я слышала, что она на нас злится.

* Две девочки не умещаются в кроватях, - спокойно сказала новенькая.
* Заколебали! - Толстая шумно задышала. - Опять ноги в проход выставляли, бессстолочи?!
* Они ни при чем. - Я только сейчас с ужасом поняла, что новенькая пытается нас защитить.

Я смотрела на нее в панике. Зачем это все?! Не надо! Будет только хуже.

* Дылды! - Наша воспитательница заводилась все больше.
* Они не виноваты, - строго повторила новенькая, - кровати малы.
* Учишь их уму-разуму! - Она не слышала.
* Как учишь? Скакалкой?
* Чтоооо?! - вскинулась белобрысая.
* У детей на ногах красные полосы. Не надо делать вид, что это не твоих рук дело.
* А ты кто такая? - Наша воспитательница начала наступать. - Без году неделя работаешь! Морали пришла читать?!
* Детей бить нельзя.
* Ха! Своих родишь, потом поговорим. А пока помалкивай.
* Есть цивилизованные методы воспитания.

Я спряталась от страха под одеяло, но даже сквозь толстую ткань чувствовала электрические разряды, которые носились по спальне.

* Это тебя в твоих институтах учили? - Воспитательница оперлась о мою кровать. - Так и возвращайся туда! Чего к нам-то приперлась, говно разгребать?
* А это уже мое личное дело.
* Вот, так и скажи, - воспитательница неожиданно рассмеялась, - родить не можешь! Решила себе ребеночка присмотреть? Плавали, знаем.
* Не сметь!
* Ладно тебе, - она примирительно зевнула, ее ярость словно рукой сняло, - дело житейское. Я сто лет тут работаю. Всегда наказывали, а как же иначе? И ты через полгодика по-нашему запоешь.
* Да я...
* Не то что ремня дать, - она даже слова вставить не давала, - через пару месяцев будешь мечтать убить этих ссунов и срунов!

Я услышала стремительные шаги и громкий хлопок - дверь спальни с размаху влетела в косяк. От резкого звука вздрогнули и проснулись дети, которые умудрялись спать, пока женщины переругивались. Многие от испуга завели тоскливое «Аааааа».

* Началоооооось, - белобрысая пошла по рядам, засовывая руку под каждое одеяло, - кто обоссался за ночь? А ну, признавайтесь, бесссстолочи!

Пока ко мне приближалась угроза, я трясущимися от страха руками сгребала под собой мокрую простыню в комок. Запихивала ее под колени. Накажут. Снова накажут!

* Пороть их нельзя, - ворчание продолжалось, - да что им сделается?! Я родных-то луплю, как сидоровых коз, только лучше становятся.

На следующий день в нашу спальню пришли рабочие. Не говоря ни слова, отодвинули одну кроватку от стены и вынесли вон. А на освободившееся место поставили огромную, двухъярусную кровать. Мы никогда в жизни ничего подобного не видели! Раскрыв рты, все малыши в группе наблюдали за их работой.

* Чего вы тут жметесь? - Воспитательница с оленьими глазами подтолкнула нас с Аней вперед. - Идите уже! Это теперь ваша кровать.

Мы смотрели на нее в изумлении и не смели пошевелиться.

* Готово, хозяйка, - доложил рабочий, - укладывайте.
* Спасибо!

Как только мужчины вышли, нас с Аней грубо дернули за руки, подтаскивая к шкафу с чистым постельным бельем.

* Что замерли, дылды? - Воспитательница вложила каждой из нас в руки по простыне, пододеяльнику и наволочке. - Стелите!

Мы старались все удержать, ничего не уронить.

* А ты, - я почувствовала железную клешню на своем плече, - еще раз обоссышься, убью!

Воспитательница предостерегающе тряхнула меня за плечо и отпустила. Завороженная невиданным зрелищем, я медленно двинулась к кровати. Аня уже ползала по верхнему ярусу, старательно разглаживая по матрасу простыню.

Во время тихого часа я долго не могла пристроиться на новом месте - крутилась с боку на бок, наслаждаясь простором и тем, что кровать бесшумная. Не то что старая клетка, которая скрипела при малейшем движении. Я заглянула под кровать и обрадовалась: между полом и матрасом не было свободного пространства, оно оказалось закрыто. Значит, они больше не смогут класть меня голой под кровать! Проверяя длину матраса, я вытянулась во весь рост. Ноги умещались целиком, и еще оставалось место. Это было необычно. Удивительно. Я полежала немного, наслаждаясь новой позой, а потом невольно подтянула колени к подбородку и свернулась в клубок.

А ту воспитательницу, змеиное платье, я больше не видела никогда. Даже не думала о ней.

Время шло. Весна сменяла зиму, а осень - лето.

Хотя тогда мы не различали времен года: когда падает снег, а когда набухают почки? Когда зреет урожай, а когда облетают листья? Этому нас никто не учил. Зато мы хорошо усвоили, что будет, если случайно пролить компот или испачкать одежду. Ослушаться взрослых или задать вопрос. Мы существовали в пространстве, где правили страх и режим. Ни на мгновение мы не отступали от заученного распорядка. Встали с кроватей. Одежда, туалет, каша. Сходили на прогулку. Телевизор, суп, пижама. Легли спать в тихий час. Горшок, молоко, телевизор. Столовая - спальня. Столовая - спальня. Столовая - спальня. Столовая - спальня. Вся наша жизнь проходила в двух комнатах. Никаких отклонений от графика. Ничего нового день за днем. Даже сесть на горшок нельзя было, когда вздумается. Сегодня я понимаю, какой это ужас - существовать без возможности реагировать на потребности своего тела. Терпеть, терпеть и терпеть. Подавлять естественные желания настолько, чтобы перестать их ощущать - «взрослые знают лучше». А тогда никакой другой жизни просто не представляла. Ничто не прорывалось извне в нашу отрезанную от мира параллельную реальность. Одни и те же зеленые стены. Одни и те же лица. Одна и та же еда. Один и тот же ужасный фильм. Все время, что я жила в доме ребенка - с 1992 по 1998 год, - по телевизору шла «Санта- Барбара».

- Все за столыыыы! - командовали вечером воспитательницы.

Мы уже знали, что нужно быстро сесть за пустые столики в игровой, которая по совместительству была нашей столовой и кинозалом. Каждый день в одно и то же время мы занимали каждый свое место и умолкали. Убедившись, что дети, наконец, замерли и не шевелятся, воспитатели включали телевизор. Они садились в кресла спиной к нам и прилипали к экранам, откуда на нас выплывали бесконечные арки. Мы старались не шуметь и не подавать признаков жизни, хотя неподвижное сидение перед телевизором было пыткой. Зато воспитательницы замирали в блаженстве - целых сорок пять минут счастья с Иден, Келли, Крузом, Си Си («Что тут смешного? Бессстолочи!»).

Они ускользали из своей проклятой жизни в экран. А мы оставались в своей, умирая от желания подняться с жесткого стула и вернуться на коврик. Но было нельзя.

У меня перед глазами даже сейчас, хотя я уже взрослая и детство осталось далеко позади, плывут бесконечные арки...

Нас мучили «Санта-Барбарой» изо дня в день целых шесть лет. И, хотя я не помню ни единого слова из бесконечных речей героев, не могу пересказать ни одной сюжетной линии, жгучая ненависть ко всем этим Келли, Си Си и Крузам есть до сих пор. Как и ненависть к дому ребенка.

**Глава 7 Лечение**

Я лежала с открытыми глазами и разглядывала фанерное дно верхнего яруса. На нем просвечивали коричневые очертания сучков, проступали круги старого дерева. Можно было часами смотреть и находить новые изгибы, тени, которые рассказывали свои истории. Я видела извилистые дорожки, а вокруг них - деревья. И маленькие домики, в которых наверняка жили какие-то люди. Но я больше не хотела людей. Не хотела, чтобы они были в моей жизни и даже в тех картинах, которые я видела в своем воображении.

Я давно приучилась просыпаться раньше всех. Уже ничего не могла поделать с собой - к утру всегда оказывалась мокрой. Воспитатели, чтобы я не писалась ночью в кровать, не давали мне пить за полдником и за ужином. Несколько раз за ночь будили и сажали на горшок. Ругали, наказывали, били ремнем. Ничего не помогало. Просто я была плохой, вот и все. И чем больше страха скапливалось во мне, тем чаще я мочила постель. Дошло до того, что моя простыня и пижама постоянно воняли мочой. Когда взрослые не замечали этого, я снова и снова ложилась спать в мокрую постель. Когда замечали, мне же было хуже.

В тот день рано утром скрипнула дверь, воспитательница вошла и остановилась возле нашей с Аней кровати.

* Одевайся! - коротко бросила она, наклонившись ко мне.

Она была чем-то возбуждена и не обратила внимания на то, что я лежу мокрая от пят до ушей. Стараясь не шуметь, я стащила с себя влажные пижамные штаны, следом кофту, стала натягивать трусы и колготы.

* Быстрее! - приказала она.

Как только я надела через голову платье, меня дернули за руку.

* Обувь, - прохрипела воспитательница и отчаянно зевнула.

Я заметила, что, несмотря на такую рань, губы у нее уже накрашены, а оленьи глаза подведены. Неужели снова приехали гости?! Я быстро надела чешки - не хотела добавлять раздражения, возясь с застежками сандалий, - и вылетела вслед за взрослой, ведомая ее сильной рукой. Она тащила меня вверх по лестнице, схватив за запястье. Я во все глаза смотрела под ноги, чтобы не споткнуться, перебирая ступени со скоростью взрослого человека. Наконец мы остановились перед дверями медицинского кабинета. За окошечком белой двери, завешенной пеленкой, было темно. Воспитательница провела рукой по длинным каштановым волосам, улыбнулась и постучала. В окошечке вспыхнул свет.

* Можно? - Она тихонько открыла дверь. - Девочку привела вам показать.
* Что же так рано? - протрубил из глубины кабинета мужской голос.
* Потом времени не будет, в семь у детишек подъем!

Доктор, щурясь, вышел из-за ширмы. Он был огромным, до потолка. Чтобы заглянуть ему в лицо, пришлось бы запрокинуть голову. То ли мне показалось, то ли я действительно услышала сдавленный вздох воспитательницы, которая стояла позади меня. Я изумленно разглядывала мужчину - растрепанные волосы, грубое лицо, щеки, покрытые жесткой щетиной.

* Что с девочкой?
* Эээ, - она на мгновение замялась, а потом резко подняла мою правую руку, - у нее опасные красные пятна!
* Раньше их не было?
* Нет!

Зачем воспитательница соврала, я не знала. Эти пятна на правой руке были у меня всегда. Кто только не пытался отмыть мне руку - терли и мылом, и мочалкой, скребли чуть ли не до крови. Она и сама это делала.

* Таааак... - Доктор взял со стола очки и нацепил их на нос.
* Это какая-то инфекция, - шепотом сообщила она, - представляете, если все заболеют?! Что нам тогда с ними делать?
* Отставить панику. - Врач одним точным движением выдвинул из-за стола стул, сел и склонился над моей рукой.
* Вам легко говорить, - воспитательница незаметно подобралась поближе и прижалась грудью к плечу великана, - а у меня тридцать детей!
* А у меня сто пятьдесят. - Он повел плечом, словно желая избавиться от непрошеного соседства, и, аккуратно нажав на красное пятно, спросил меня: - больно?

Я хотела ему ответить, почему-то почти не испугалась этого незнакомого человека, такого лохматого и большого, но не успела даже рот открыть.

* Да! - выпалила за меня воспитательница.
* Простите, - голос врача изменился, - я спросил у ребенка, а не у вас.
* У кого?! - Она выпучила глаза и непонимающе уставилась на него.
* У ребенка, - он старательно повторил, - у вашей девочки.
* Она не разговаривает! - Щеки ее покраснели.
* Правильно, вы ей не даете. Не видите, девочка вас боится?
* Меня?! Думайте, что говорите!
* Я как раз думаю, - врач осторожно держал мою руку в своих больших ладонях, - а ну-ка, выйдите вон. Будьте добры.
* Я помочь, - закудахтала она, пятясь к двери, - вдруг тут инфекция! А вы устроили. Хам!

Она развернулась на каблуках - я только сейчас заметила, что воспитательница не в привычных тапочках, а в туфлях, которые надевала только в дни спонсоров, - и выскочила за дверь.

* Невозможно работать, - пожаловался мне доктор с улыбкой, продолжая ощупывать руку, - шпионы! Выяснили в два счета, что холостой, ходят теперь табунами. Одна за другой.

Он еще покрутил мою руку.

* Так я и думал, - он с облегчением улыбнулся, - у тебя ведь давно эти пятна?

Я молча кивнула.

* Не беспокоят?

Я отрицательно мотнула головой.

* Тогда все в порядке, - он на секунду задумался, - смазывай их сливочным маслом, чтобы кожа не сохла и не чесалась.

Он улыбнулся, поймав мой изумленный вопросительный взгляд.

* Обычное масло, знаешь? Вам на бутербродах дают, - объяснил он на понятном мне языке, - ты его возьми и руку помажь. Будет легче.

Он подождал, когда я ему поверю, потом встал и махнул мне рукой.

* Пойдем, отведу тебя в группу. Скоро подъем.

За завтраком мы сидели с Аней за столом - каждая на своем месте. Она безо всякой охоты, просто потому, что надо есть, ложку за ложкой отправляла в рот манную кашу. Я свою кашу уже проглотила - на автомате, не чувствуя вкуса - и теперь неотрывно смотрела на квадратный кусочек масла, который лежал на хлебе. Пока мы ходили в туалет, пока умывались, успела рассказать Ане и про масло, и про врача. Аня заметила мой пристальный взгляд.

* Мажь, - прошептала она, тихонько кивнув на масло.
* Как?! - Я боялась, что меня накажут: знала, что нельзя так обращаться с едой.
* Бери и мажь, - не унималась Аня, - врач же сказал, надо.

Я колебалась, а Аня подбадривала:

* Надо слушаться взрослых!

Чувствуя себя преступницей, я сначала осторожно дотронулась до подтаявшего кубика указательным пальцем левой руки. Ощущения были приятными. Потом чуть осмелела и зачерпнула пальцем немного масла.

* Никто не видит, - Аня торопливо оглянулась, - давай!

Страх чуть-чуть отступил. Я положила правую ладонь на стол и стала размазывать масло по красным пятнам. Мне казалось, что они на глазах белеют, становятся незаметными. Это было хорошо. Значит, врач говорил правду! Я зачерпнула еще.

* Мажь, - подзадоривала Аня, - не бойся.

Я с удовольствием размазывала масло по руке. И воображала, что скоро вылечу свои пятна. От масла они пройдут, я стану как все. Мне больше не будет стыдно за то, что я не такая, за то, что не могу отмыться от неопрятной красноты...

И тут за спиной раздалось шарканье взрослых ног. Я дернулась и быстро спрятала правую руку. Воспитательница подошла к нашему столику и склонилась надо мной.

* Что там у тебя?

Я, как обычно, открыла рот и начала глотать воздух, не в состоянии произнести ни слова.

* А ну покажи!

Не двигаясь, я продолжала сидеть, сунув руку под стол. Решила молчать до последнего. Воспитательница видела размазанный пальцем кубик масла, спрятанную под столом руку и ничего не могла понять. И тут как гром среди ясного неба.

* Она мазала, - звонкий голос Ани прозвучал на всю столовую, - маслом руку!
* Что?! - Воспитательница замерла в изумлении.
* Мазала руку, - повторила Аня.
* Чем?
* Маслом. С бутерброда, - охотно объясняла Аня, - это чтобы пятна прошли. Вот эти красные на руке. Чтоб их не стало.

Щеки мои пылали, я чувствовала себя преданной. Единственный близкий человек рассказал воспитательнице, что я сделала с рукой, прекрасно зная, как меня за это накажут. И она не сказала ни слова о враче! Не объяснила, что это он так велел. Сам он тоже никого не предупредил. Что теперь будет?! Но я же не специально так сделала. Я не хочу быть плохой. Я хочу всегда-всегда слушаться взрослых.

* Ах ты, бессстолочь!

Воспитательница схватила меня за запястье и вытащила из-за стола. Стульчик упал, на мгновение я взлетела в воздух. В руке что-то хрустнуло, но она не обратила на это внимания.

* Так обращаться с едой! Сидят тут на всем готовом. Паршивцы!

Она протащила меня через всю столовую волоком. Втолкнула в спальню и оттуда - в туалет. Раздела, поставила в ванную и начала намыливать хозяйственным мылом с головы до пят. Правую руку она терла с диким остервенением, впившись в мое плечо пальцами так, что от боли у меня искры сыпались из глаз.

* Паршивка, - повторяла воспитательница, продолжая возить по мне вонючим куском коричневого мыла, - дрянь малолетняя!

Она намылила меня и оставила, а сама ушла. Я знала, что снова буду стоять в ванне голая, пока не продрогну. Пока не лопнут все пузыри и надо мной не сжалится кто-нибудь. Буду стоять час или два...

Тот урок я запомнила на всю свою жизнь. Руку больше никогда и ничем не мазала. И с Аней перестала говорить. Единственная. Самая близкая. Она меня предала.

**Глава 8 Прощание**

Я окончательно замкнулась в себе. Единственное окно наружу - Аня - закрылось. Я стала умной, ничего лишнего не делала, никому ни о чем не говорила. С детьми не общалась. Молча выполняла указания взрослых. Разговоров про чувства, про жизнь не было никогда и ни с кем. Был однообразный, раз и навсегда заведенный порядок, в котором мы, сироты, не различали ни дней, ни друг друга. Я мучилась оттого, что не могла больше доверять Ане. И хотя мы по-прежнему сидели с ней за одним столом, ходили, взявшись за руки, в туалет, к себе я ее больше не подпускала.

Однажды утром, это было в конце ноября 1998 года, меня и Аню после завтрака привели в спальню. Дети одевались на прогулку, а нас почему-то отделили от группы - воспитательница взяла обеих за запястья и подвела к кровати. На ней лежали два новых спортивных костюма ярко-желтого цвета.

* Одевайтесь.

Женщина с глазами оленя впервые за все время, что мы жили в доме ребенка, улыбнулась нам. В ее голосе прозвучали новые теплые нотки. И я поняла, что происходит что-то очень важное. Я осторожно дотронулась до костюмчика рукой - вдруг все-таки нельзя? - он оказался мягким, словно цыплячий пух. Неужели теперь мой?! Не отберут? Я нерешительно оглянулась на воспитательницу.

* Надевай-надевай, - засмеялась она, - можно.

Я торопливо стащила с себя платье и ненавистные колготы, осторожно натянула сначала штанишки, потом кофточку. На моей груди теперь красовался синий якорь. Первый раз в жизни вещь, которую я надела, мне нравилась. Мы с Аней, обе желтые, стояли друг против друга и смотрелись как в отражение.

* Идем! - поторопила воспитательница.

И мы вышли из спальни. Прошли мимо пустой игровой. Вошли в раздевалку. Мы чувствовали себя взрослыми и обе понимали - что-то меняется навсегда.

* Вас переводят, наконец, в детский дом, - сказала воспитательница и положила перед нами уличную одежду.

Так мы узнали, что переезжаем. Не испугались, не заплакали. Со всеми детьми в доме ребенка было так: привезли, увезли, был - и не стало. Никто не помнил, кто, откуда взялся и куда потом пропал. Все знали, что когда-нибудь исчезнут. Воспитательница не сказала нам с Аней: «На съедение к бабе-яге». Она сказала: «Вас переводят» - значит, все хорошо и мы вместе. Этого было достаточно, чтобы мы спокойно пошли за ней.

Теперь я думаю, что они специально выбирали моменты, в которые исчезновение детей было не так заметно: все ушли на прогулку, а ребенка в это время увезли; в тихий час заснули, потом проснулись - уже меньше детей. Никто ни с кем не прощался. Никто ни о ком не плакал. Наверное, взрослые так и хотели: чтобы мы не запоминали этих моментов. А может, просто не думали о том, что и детям при расставании тоже нужно говорить друг другу: «Пока».

Мы с Аней оделись и теперь шли к двери, чтобы выйти на улицу. Вещей с собой у нас никаких не было - вся одежда и игрушки принадлежали учреждению. Я взяла тихонько Аню за руку и хотела сказать, что больше не злюсь на нее за ту историю с маслом. Почему-то мне показалось, что это важно. Но обернулась на воспитательницу - она шла следом за нами с двумя папками документов - и постеснялась открывать рот. «Ладно, - решила я, - по дороге скажу. Или потом, когда рядом не будет взрослых».

У выхода из Дома ребенка стояло две машины. Я обернулась - вдруг кого- то еще переводят сегодня, - но нет. Мы были втроем: воспитательница, Аня и я. Тревога заставила вцепиться в подругу.

* Давай садись, - дверца первого автомобиля открылась, и незнакомая женщина протянула мне руку, - помогу забраться.

Я не отпускала подругу.

* Скорее, скорее! - Воспитательница дернула Аню, к себе, и мы расцепились.

Мгновение, и ее уже сажают в ДРУГУЮ машину. Почему так?! Я хотела спросить об этом новую женщину, но побоялась. Стала сама искать ответы: «Наверное, нельзя в одной машине возить двух детей». Женщина усадила меня в кресло, дежурно улыбнулась и тут же потеряла ко мне интерес.

* Документы где? - снова высунулась она из машины.
* Иду-иду. - Воспитательница передала Аню с ее бумагами во вторую машину и вернулась к нам.
* Держите!
* Спасибо, - женщина привычно подхватила увесистую папку, - все здесь?
* А как же. - Она стала перечислять: - Свидетельство о рождении, медицина, приказ...
* Да-да, вижу. Спасибо.

Она не поверила на слово - внимательно пересмотрела бумаги, все до единой. И только после этого торопливо махнула рукой на прощание.

* Ну, все, мы готовы! - объявила водителю, захлопнув дверцу. - Едем!

Машина тронулась с места. Я ужом заерзала в кресле, пытаясь заглянуть назад, через плечо. Забыв обо всем на свете, следила за автомобилем Ани. Он выехал следом за нами, свернул на ту же дорогу и пристроился в хвосте. Все отлично. Так и есть - мы едем вместе! Один поворот. Второй. Третий. Я не теряла Аню из виду ни на секунду. А потом вдруг вторая машина свернула куда-то не туда. Они поехали другой дорогой? Короткой? Я изо всех сил пыталась разглядеть их автомобиль в потоке машин. Хотела даже встать в кресле на колени, чтобы лучше видеть. Но женщина резко одернула меня:

* Села нормально!

И я послушалась. «Мы приедем, а Аня уже будет там. Просто тот водитель знает короткий путь». Я успокаивала себя всю дорогу, уговаривала подождать, потерпеть. От Измайловского шоссе до 16-й Парковой всего-то несколько минут езды, но мне они из-за тревоги показались вечностью. Я должна была увидеть Аню! Мне нужно было убедиться, что мы друг у друга есть. Она - единственная ниточка, которая связывает меня с окружающим миром и собственным прошлым. Без нее я могла оставаться только внутри, жить в себе.

Мы приехали. Я не замечала ничего вокруг - ни огромного здания, ни детских площадок, ни встречающих, - высматривала только вторую машину. Где она? Где?! Почему же так долго?

Но Ани не было. И тогда я расплакалась оттого, что не увидела ее. Мир в одно мгновение рухнул. Мы не попрощались, я ничего Ане не объяснила. Не сказала ей, что больше не злюсь. Как они могли так с нами поступить?! Эти взрослые!

- Аняяяя, - тихонько завыла я, - Аняяяя мояяя!

Меня увели «с холода». Новая незнакомая женщина взяла за запястье, открыла незнакомую дверь. В лицо пахнуло теплом и запахами чужой столовой. Меня провели лабиринтами незнакомых лестниц, помогли раздеться. Потом еще куда-то повели, усадили на незнакомый диван. А я плакала-плакала-плакала. Горько и безнадежно.

Сегодня я уверена, что оплакивала в тот день потерю, которая оказалась намного больше меня. В ней уместилась не только Аня, был кто-то еще, кому я тогда не знала ни имени, ни названия. Кто-то самый важный и нужный, утраченный очень и очень давно. Это горе годами жило и зрело внутри меня. Я плакала о матери, которая девять месяцев носила меня под сердцем и ни одного дня не была рядом со мной, когда я родилась.

Мимо ходили чужие женщины и незнакомые дети. Они смотрели на меня с любопытством. Некоторые мальчишки прибегали в холл специально, оглядывали меня с головы до ног и тут же убегали - рассказывать остальным. Я чувствовала себя зверушкой, на которую все хотят посмотреть.

* Новенькая? - шептались у меня за спиной.
* Ага! - отвечали осведомленные.

Через час меня не смогли поднять с дивана, чтобы умыть. Через два я также сидела в прежней позе. Через три отказалась идти в столовую. Я плакала и плакала, как будто мир рухнул. Я не жалела о прежней жизни, нет. О чем там было жалеть, кроме страха и боли? Но я тосковала по Ане так, словно потеряла саму себя. Это была самая сильная, самая страшная боль. У меня не находилось сил сопротивляться. И я утонула в ней...

Через много лет, когда мне исполнилось двенадцать, и я окончила шестой класс, в очередном летнем лагере - к тому времени объехала их с десяток - я вдруг совершенно случайно встретила Аню. Увидела, мгновенно ее узнала и со всех ног бросилась к ней.

* Аня, Аня, привет! - Я задыхалась от счастья.

Лицо ее по-прежнему выглядело опухшим, значит, все еще продолжаются операции. Бедная Аня! Что же все-таки с ней было тогда? Теперь-то я уже знала, что не существует никакой бабы-яги, никто не обкусал Ане лицо за то, что она не слушалась. Я добежала, хотела ее обнять, но она остановила меня холодным взглядом.

* Ты кто? - Аня смотрела без тени узнавания.
* Я была с тобой в доме ребенка, - подозрение в ее тоне притушило мою радость, - ты меня помнишь?
* Нет, - отрезала она.
* Как?! Мы даже спали с тобой на одной двухъярусной кровати.
* И что из того? - Она безразлично пожала плечами. - Я тебя не помню.
* Хорошо, - я отступила на шаг, - ладно. Пока.

Аня пошла дальше по своим делам, а я смотрела ей вслед и, как в день разлуки, надеялась, что все это не всерьез. Что она еще вспомнит меня, мы обязательно подружимся снова! Просто машина поехала не той дорогой.

Но нашей дружбы больше не случилось. Уже никогда. И никакой другой дружбы до выпуска из детдома тоже...

**Глава 9 Детдом**

В день, когда меня перевели в детский дом, я проплакала до тихого часа. А потом сменилась воспитательница. Утром работала высокая брюнетка, «мама Оля». Я слышала, что к ней именно так обращаются дети. «Мама» - это как воспитатель? Я не знала. Для меня даже имена людей вокруг были чем-то новым, и я стала сквозь слезы прислушиваться к тому, что происходит в группе. Дети разговаривали, иногда очень громко. Но ни одного из них не наказали за шум ремнем или скакалкой. Даже на корточки не посадили. Воспитательницы были спокойными, не кричали, но дети все равно почему-то их слушались. После обеда группу уложили спать, «мама Оля» сменилась на «маму Таню». Эта, наоборот, была низенькой, даже приземистой.

До сих пор не знаю, почему всех воспитателей в детском доме называли «мамами», - наверное, детям было так проще. А я приняла это как должное: ну мама так мама. Само слово не имело для меня никакого значения, я его просто не понимала.

* Соня. - Мама Таня присела рядом со мной на диван.

Я на всякий случай отодвинулась от нее подальше и вжалась спиной в жесткий подлокотник.

* Сонечка, - сказала она еще раз ласково, - тебя же так зовут?

Я ничего не ответила - не знала, что ей сказать. Как меня зовут? Никто раньше не называл меня по имени, я была «Все-встали», «Все-вышли», «Все-сели». Воспитателям в доме ребенка этого было достаточно. Я сидела с мокрыми от слез глазами и с удивлением смотрела на новую женщину. Она сидела рядом и - первый раз в жизни - разговаривала только со мной.

* Соня, - повторила она терпеливо, - Сонечка. Очень красивое имя.

Я увидела в ее глазах что-то, чего не могла назвать. Только спустя многие годы поняла, что это сочувствие, - наверное, я была далеко не первым ребенком без имени, которого привезли в дошкольное отделение детского дома из ТОГО дома ребенка. И воспитатели здесь кое-что про ту нашу жизнь понимали.

* Тебе нравится твое имя?
* Нет, - неожиданно для себя я заговорила, но тут же в ужасе замолчала. Что теперь будет?!
* Ничего страшного, - мама Таня вместо того, чтобы наказать меня за наглость, широко улыбнулась: удивительно, но она не злилась на меня, - ты привыкнешь. А теперь, Сонечка, пойдем с тобой по инстанциям.

Я доверчиво кивнула ей, и первый раз за весь день встала с дивана.

* Так, давай-ка сначала заглянем в туалет, - вовремя догадалась мама Таня.

Мы прошли через красивую игровую комнату, заполненную игрушками, и оказались в просторном помещении с раковинами, ванной и даже двумя кабинками. Я удивилась, увидев эти странные отдельные домики внутри ванной комнаты. Для чего они? Стены санузла были отделаны сверкающим белым кафелем и отражали кусочек синего неба, которое в тот день неподвижно стояло в окне. Это было красиво.

* Ну, давай, - подбодрила она меня.

Я не увидела привычного ряда железных горшков и посмотрела на воспитательницу вопросительно.

* Заходи сюда, - она распахнула дверцу одной из кабинок, - это унитаз. Он маленький, как раз тебе по росту.

Я вошла в фанерный домик, и дверца за мной закрылась. Первый раз в жизни я оказалась одна, наедине с собой, в момент, когда мне потребовалось справить нужду. Это было здорово! Сосед не упирался в мои ноги своими коленками, чужие запахи не били в нос, я не ждала в напряжении, что кто-то вдруг начнет скакать на меня на своем горшке. И вообще, так, одной, даже не было стыдно. Я сделала все, что нужно, и почувствовала, как слезы катятся по моим щекам - так всегда случалось и в доме ребенка. На горшке я, сама не зная отчего, с раннего детства плакала. Я надела штанишки. Мама Таня заглянула ко мне.

* Смотри, тут есть вот такой шарик, - она показала пальцем, но сама трогать его не стала, - давай берись за него и тяни наверх!

Я сделала, как велели, и в унитаз полилась вода. Это было чудо! Я смогла привести что-то в движение, своими собственными руками пробудила какую-то новую силу. А главное, теперь никому не нужно будет выливать за мной горшок, пока сама я сгораю из-за этого от стыда.

* Вот так, - мама Таня улыбнулась, - а теперь пойдем. Только помой руки.

Пока я с удовольствием намыливала ладони - мыло пахло настоящим яблоком, - мама Таня задумалась.

* Инстанции не убегут, - наконец сказала она, - давай я тебе все тут быстренько покажу. Только тихо, а то дети спят. Ладно?

Я кивнула. И мы пошли.

* Соня, - я опять вздрогнула от звука своего имени, - ты у нас в пятой группе. Самой старшей. Детки все хорошие. Вот здесь будешь с ними играть.

Игровую комнату я уже видела, когда мы шли в туалет. Она была просторной, большой. И там было много-много разных игрушек. Хотя они меня не особенно радовали - я практически не играла в игрушки, боялась даже прикасаться к ним. Вдруг испорчу? И тогда меня точно накажут. А еще после того, как нас пугали в доме ребенка резиновой маской бабы- яги, мне казалось, что все куклы живые. И это было по-настоящему страшно! Любую куклу я обходила за несколько метров. Зато на полу в углу увидела огромный ковер с изображением дороги на нем. И вот это мне понравилось! Я подумала, что будет хорошо катать машинки по этой дороге. Тем более разноцветных автомобилей в игровой оказалось достаточно. И уж машинки-то в отличие от кукол точно не оживут.

Из этого помещения мы вернулись в холл. Кроме дивана, там стояли два кресла и телевизор. Я даже не заметила их, пока плакала. А еще в разные стороны расходились четыре двери.

* Здесь у нас спальни, - объяснила мама Таня, проследив за моим взглядом, - смотри!

Она открыла одну из дверей, и я увидела уютную комнатку, в которой стояло всего четыре кровати. Не бесконечные ряды, а всего четыре, и каждая - у стены! В двух спали дети, а две стояли пустыми.

* Ты будешь спать здесь, - прошептала она и показала рукой на кровать у окна, - вон там.

Я глазам своим не могла поверить. После гигантской комнаты с нескончаемыми шеренгами железных кроватей, спинка к спинке, спальня на четыре ребенка казалась роскошью.

* Таких спален у нас четыре, - с гордостью сообщила мама Таня и добавила, увидев мои расширившиеся от удивления глаза: - А еще есть класс, где дети занимаются. Пойдем покажу.

Мы вошли в красивую комнату с маленькими столами, стульчиками и одним большим столом для взрослого. На полках красивые книги, на стенах - рисунки и портреты, а еще там была огромная разноцветная картинка, которая мне сразу очень понравилась. Я хотела спросить, что это такое, но постеснялась. Только потом узнала, что это карта мира.

* Вот, - мама Таня обвела комнату рукой, - здесь будете готовиться к школе. Многие ребята из твоей группы уже в следующем году пойдут в первый класс.

Еще она показала мне кабинет логопеда с игрушками, зеркалом и умывальником. Две бытовки, где сушились детские вещи. Шкафы, в которых хранилась одежда.

* Столовую тоже скоро увидишь, - сказала мама Таня так, будто хвасталась, - она замечательная!

Да, я попала в рай. После дома ребенка с его двумя безликими комнатами - гигантской спальней с тридцатью орущими от страха малышами и игровой, которая была для нас и столовой, и гостиной, и всем чем угодно, меня вдруг поселили в настоящий дворец. А еще вместо бабы-яги здесь оказалась добрая Фея. Она говорила со мной. Она называла меня по имени. Она не кричала на меня и не била. Настоящая сказка.

И все равно этот дом пока еще был мне чужим. Незнакомым. А значит, страшным.

Осмотрев все как следует, мы с мамой Таней пошли «по инстанциям». Сначала - в медсанчасть. Там меня раздели, крутили, вертели, смотрели, нет ли сыпи и вшей. Потом - к завхозу за одеждой, потом куда-то еще. Я не запомнила всех кабинетов, в которых мы в тот день побывали, поняла только, что мы ходили вверх-вниз по лестницам весь тихий час. Причем воспитательнице то и дело приходилось брать меня на руки - я боялась незнакомых крутых ступеней и отказывалась по ним идти. Мы вернулись в группу со стопкой новой одежды, которую мне выдали.

Маму Таню сменила вечером третья воспитательница, ночная. Ее звали мама Нина. Я не переставала поражаться тому, что здесь у всех свои имена. И у женщин, и у детей. В доме ребенка я не знала, кого и как звали. Была бесконечная вереница похожих друг на друга лиц детей и взрослых: я только потом узнала, что в каждом учреждении больше ста человек сотрудников. Больше, чем детей. И в детском доме взрослых тоже было очень и очень много - воспитатели, уборщицы, повара, врачи, администрация, прачки, няни. Но воспитатели носили гордое звание «мамы», и поэтому их можно было легко отличить от остальных. Хотя для меня в этих новых звуках не таилось никакого смысла - кличка, и все.

Вечером я сняла новый желтый костюм, который мне так понравился, его забрали в стирку. Больше я не носила его никогда. Мне не давали его надевать, он просто лежал на полке в шкафу, а я не могла попросить, и взрослые просто не знали, что я очень хочу его носить. Я по-прежнему никому не могла сказать, чего хочу. Надо платье - дали платье. Надо колготки - дали колготки. Надо будет штаны - дадут штаны. Так я и выросла из желтого костюма, ни разу больше его не надев. Просто знала, что люблю его, и все. Он стал единственной вещью, которая пришла со мной из прежней жизни.

В тот вечер я много раз повторила про себя свое имя. Соня. «Сооооняяя». Новые незнакомые звуки. Я даже не знала, нравятся они мне или нет. Просто хотела привыкнуть - теперь меня все звали так. Но для меня-то оно было чужим.

Я долго не могла уснуть. Чтобы успокоиться после трудного дня, как обычно, раскачивалась влево-вправо, крутила головой из стороны в сторону по подушке. А потом к нам в спальню вошла мама Нина - ночная воспитательница. Она молча уложила меня на спинку, закутала в одеяло, завернув его каким-то хитрым образом под подушку - качаться в таком замотанном состоянии было неудобно, - и я, наконец, смогла задремать.

Меня и потом часто укладывали так, чтобы я не раскачивалась. Но это не всегда помогало - привычка убаюкивать себя укачиванием осталась до сих пор. Если был напряженный день, я и сейчас сворачиваясь калачиком, покачиваюсь всем телом. Успокаиваю сама себя.

В дошкольном отделении детского дома жить мне было намного легче, чем в доме ребенка. Другая обстановка. Относительно взрослые дети. С ними оказалось гораздо интереснее играть. А еще с нами занимались в настоящем классе, как будто мы уже большие, и готовили к школе. Я научилась, наконец, считать до десяти. Запомнила несколько букв. Узнала, что существует осень, зима, весна, лето и чем они отличаются друг от друга. Даже выучила дату своего рождения и узнала, сколько мне лет.

А еще я научилась запоминать! Это вообще была феерия, самое сильное в моей жизни открытие. Как-то я лежала поздно вечером в своей кровати и вдруг поняла, что помню вчерашний день. Раньше такого не случалось. В доме ребенка все сливалось в один мутный поток, я не отличала один день от другого и не догадывалась, что у меня есть память. Просто жила в серой и вязкой каше без времени, без событий.

Только с того вечера в детском доме я и начала вспоминать дом ребенка. Как нас в наказание за проступки держали на корточках, как оставляли без еды, как били скакалкой и ремнем, как оставляли намыленными в ванне. Я вспомнила всю свою жизнь - чуть ли не с пеленок. Вспомнила мальчика, оказалось, его зовут Сергей - он следом за мной перешел из дома ребенка в детский дом, в дошкольное отделение, и я его там узнала. Хотя до этого в моих воспоминаниях его не было, но я вдруг словно «увидела» ситуации, о которых он мне рассказывал: «А я помню, как тебя переселили на двухъярусную кровать, на нижний ярус». И я увидела этот момент, словно в кино! С тех пор специально пыталась запомнить каждый день, который проживала, не хотела что-нибудь упустить. Внутри меня то и дело всплывали яркие картины из далекого и недавнего прошлого, я могла их подолгу разглядывать, различать цвета и формы предметов, выражения лиц и одежду людей. Это было для меня чудом!

А через две недели после переезда из дома ребенка в детский дом, десятого декабря 1998 года, мне исполнилось шесть лет. В этот день меня все начали поздравлять. Я не понимала, с чем поздравляют. Что такое случилось? Это был мой первый настоящий день рождения. До этого я просто не знала, сколько мне лет и что значит рождение. Никогда не задумывалась об этом. Просто была существом, которое жило внутри себя и подчинялось внешним обстоятельствам.

В детском доме у меня появился возраст. У меня появилось имя. У меня появилась память! Где все это было до моих шести лет? Я не знаю. Но по прошествии многих лет не сомневаюсь в одном - не будь тридцать малышей безликим стадом, я бы начала ощущать себя намного раньше. Только кому это нужно? Кому я сама была нужна? Источник проблем, мокрых простыней, а значит, лишней работы...

В шестом классе нам задали сочинение на тему «Мой дом». И я написала о доме ребенка все, что смогла вспомнить. Очень четко, с подробностями, в деталях. Написала о том, как жила и что именно чувствовала. Написала о том, что делали воспитатели и как относились к нам. После того как учительница прочла сочинение, меня вызвали к директору детского дома. Он замечательный человек! Все дети, даже самые отъявленные хулиганы, уважают его и любят до сих пор.

* Соня, скажи, это правда? - Виктор Яковлевич хмурился.
* Да. - Я смотрела не на него, а в пол.
* Ты не врешь? - Он переспросил так, что я поняла: речь о чем-то очень и очень серьезном.
* Нет, я не вру. - И подняла на него глаза.

А потом, через год, я узнала, что то учреждение для младенцев-сирот закрыли. Может быть, Виктор Яковлевич что-то сделал? Может быть, просто совпало? Но место моих детских пыток исчезло с лица земли. И я была рада, что этого дома ребенка больше нет, что детей там теперь не мучают.

**Глава 10 Больница**

В доме ребенка прогулок то ли было мало, то ли я их не запомнила. А в детском доме мы ходили на улицу два раза в день. Меня водили гулять вместе со всеми, и это было счастьем. А потом, на мою беду, в детский дом устроилась на работу какая-то массажистка. Я с младенчества часто простужалась, сильно болела, и вот меня определили к ней - на массаж вместо прогулок. От такой несправедливости я страшно бесилась: только вышла на свободу, хочу гулять, а мне не дают! Оказалось, что это только начало. Как только поняли, что я болею, практически не переставая, стали от всего «беречь» и усердно лечить. Летом детям давали нормальное мороженое, а мне приносили сладкую белую водичку. На море всем разрешали купаться, а меня однажды полтора месяца продержали на берегу. Все пили холодную воду, когда хотели, а мне не разрешали так делать никогда. Это было обидно до слез! А еще меня пытались лечить от энуреза. Детдомовские врачи смотрели, в больницу клали на обследование - ничего. Никаких признаков болезни: почки в порядке. Хотя писаться в кровать я продолжала каждую ночь. И воспитатели изобретали «лечебные» меры - как и в доме ребенка на ночь мне не давали пить. Я не пила уже за ужином - в последний раз чай или сок давали в полдник. Ночью меня поднимали, отводили в туалет, иногда я так и засыпала на унитазе. Но ни тот, ни другой способ не помогал. Я продолжала писаться в постель. А не пить подолгу привыкла, мне уже и не хотелось. Не спасла от болезней и массажистка. Месяца через четыре после переезда в детский дом я свалилась с жуткой ангиной.

- Соня, вставай, - услышала я голос мамы Тани, словно сквозь вату.

Она заменяла в ту ночь маму Нину. Меня всегда - после первой же ночи в детском доме - клали в одной комнате с ночной воспитательницей.

* Вставай, Соня! - встревоженно повторила она.

Я с трудом разлепила веки - они были слишком тяжелыми. Кое-как спустила с кровати ноги. Думала, что меня снова поднимают, чтобы отвести в туалет, но мама Таня почему-то надела на меня теплую кофту и сандалики вместо тапочек. Она случайно прикоснулась пальцами к моим щиколоткам, и я вздрогнула - такими обжигающе-ледяными показались ее руки.

* Ты вся горишь!

Я не помню, как шла. Висела на маме Тане, двигаясь еле-еле: тело стало свинцовым. С каждой секундой становилось все труднее управлять ногами, которые подворачивались и спотыкались. Дышать тоже было тяжело - что-то мешало в горле. А в голове стоял туман, серая плотная вата.

Дежурный врач в медсанчасти, пожилая женщина в очках, мигом проснулась, подхватив меня в тот момент, когда мама Таня выпустила мое запястье из своей ледяной руки. Я почувствовала, что меня снова укладывают - наконец-то! - и засовывают под мышку градусник.

* Сорок, - коротко бросила врач.
* «Скорую»?! - Я услышала, что мама Таня подняла трубку телефона.
* Да. - Доктор осторожно задрала на мне пижамную кофту и стала трогать живот. - Еще и фурункулы на коже. Скажите, чтобы быстро! Инфекционка.
* Госссподи! - выдохнула мама Таня, вращая трескучий диск.

Когда я снова открыла глаза, то очень удивилась. Спальни не было. Вместо нее - странное наполовину стеклянное помещение, освещенное утренним солнцем. Как будто я попала в аквариум, только не для рыб, а для людей. Даже дверь в этой комнате оказалась такая же. Сквозь нее я и разглядела коридор, а в нем - сестринский пост. Значит, больница. Я и раньше лежала в больницах, еще в доме ребенка, только ничего о том времени не запомнила. Зато теперь откуда-то из глубин памяти всплыли воспоминания. Уколы. Мне снова будут делать больно.

Хотелось заплакать. Но от печальных мыслей меня вдруг отвлекло движение за стеклянной стеной. Я вытянула шею и заглянула через стекло в соседний бокс. Там происходило что-то странное. Женщина встала с кровати, взяла на руки большого ребенка и стала бродить с ним туда-сюда по палате. Это был не младенец, не новорожденный, который пока еще не умеет сам ходить. Это был огромный ребенок, может, всего на пару лет младше меня. Настоящая дылда. Зачем такого носить на руках?! Он же тяжелый. Пусть ходит сам, если ему надо. Я внимательно прислушалась и уловила что-то вроде пения, только без слов.

- Ааа-ааа-ааА! Ааа-ааа-ааА!

Звуки то взлетали к самому небу, то опускались вниз, как на качелях. Все это повторялось бесконечно. Женщина будто не уставала, она с нежностью прижимала к себе огромного ребенка. А он приник головой к ее груди с закрытыми глазами и странным выражением на лице: я видела, что ему плохо, лоб морщился от боли, но при этом губы его растягивались в мягкой улыбке. Значит, ему было и хорошо. Я не понимала, что происходит.

Меня никто никогда не носил на руках, не пел мне протяжное «Ааа-ааа- ааа». Не качал и не прижимал к себе. Такого не было в доме ребенка, нет в детском доме и не будет в больнице. Придет чужая женщина в белом халате, воткнет мне под кожу иглу, выпустит лекарство, и все. Я снова останусь одна, буду ждать, когда придет другая женщина, чтобы снова сделать то же самое и уйти.

За второй стеклянной стеной резко заплакал младенец. Я обернулась на

звук, успев подумать, что он, наверное, потерял соску - вечно с этими малышами одно и то же. Будет теперь надрываться до тех пор, пока кто- нибудь не догадается поискать его сокровище. Я бы могла помочь, но, наверное, нельзя выходить из своей палаты. Да и тело до сих пор тяжелое, непослушное.

Пока мои мысли вяло топтались вокруг собственной немощи и орущего малыша, с кровати в той же палате вскочила женщина, совсем молодая, и со странным звуком «Шшшшшшш» тоже взяла ребенка на руки. Плач его моментально стал тише. Еще мгновение, и громогласный рев почти затих - остались только редкие жалостливые всхлипы.

* Баю-баюшки-баюююю, - чистым тонким голосом пела девушка младенцу, - не ложися на краюююю.

Что она ему такое поет? Ерунду какую-то. Какие еще «баю-баюшки»? Почему нельзя «на краю»? Да и какой смысл вообще что-то там петь такому маленькому? Зачем? Он же ничего не понимает, беззубый еще. Но она не унималась, продолжала качать младенца на руках и выводить мелодию. Я посмотрела на первую женщину с большим ребенком, она все еще таскала его по палате. На вторую, с младенцем. Она уже не пела, просто что-то нежно нашептывала малышу. Одной рукой держала ребенка, а другой насыпала в бутылочку порошок, наливала воды. Потом взболтала и дала ему. Тот жадными губами припал к соске. «Ааа-ааа-ааА! Ааа-ааа-ааА». «ТТТттттттттттттттт. ТТТттттттттттттттт». От ласковых звуков и перешептываний, от невыносимой нежности слезы подступили к моим глазам.

* Почему у меня ничего этого нет?! - шептала я, зажмурив глаза и закрыв ладонями уши.

И сама себе отвечала:

* Потому что я плохая. Плохая!

Не знаю, сколько я пролежала так, пытаясь избавиться от болезненных звуков и картин. Сквозь ладони в мои уши прорывались пестрые голоса. Детские, звенящие, как радуга. И женские, ласкающие, как море. Они звучали уже не только снаружи, но и внутри. А потом их перекрыл страшный грохот. От испуга я спряталась с головой под одеяло.

* Мамочкиии, - даже в укрытие прорвался звучный голос, - заааавтрааак!

Я высунула нос. Завтрак - это не страшно. Стали открываться двери палат. Женщины засуетились с тарелками, кружками, ложками. Они брали что-то, несли на свои тумбочки и снова возвращались к дверям за очередной порцией. Я слышала, как грохот достиг моей двери, и замерла от ужаса.

* Мамочкаааа! - крикнула пожилая женщина с седым «ёжиком» на голове в мою палату. - Покушать ребеночку возьмите!

Я молчала. Она заглянула в бокс и, не обнаружив там никого из взрослых, смутилась.

* Ой, - она, наконец, увидела меня, - ты тут одна, детонька?

Я кивнула. Нянька наметанным взглядом окинула бокс. Пустая тумбочка. Ни тарелки, ни кружки. Под кроватью пакет с неразобранными вещами. Ни ярких коробок с соками, ни фруктов, ни игрушек. Я увидела по ее глазам, что она все поняла про меня. И вдруг, первый раз в жизни, мне из- за этого стало стыдно.

* Детонька, - нянька нагнулась и достала с нижнего яруса тележки тарелку, - давай кашки тебе положу. Сама-то покушать сможешь?

Я снова кивнула и отвернулась - в глазах у меня стояли слезы.

* Чайку налью, ты попей. - Она еще что-то говорила, а я молчала.

Наконец она ушла, осторожно прикрыв за собой дверь и оставив на тумбочке больничную тарелку и кружку. Я не могла и не хотела есть - горло болело так, что даже слюну сглатывать было больно. А еще этот противный ком перегородил все внутри, не давал дышать. Не шевелясь - подвижными оставались только глаза, - я наблюдала за тем, что происходило за стеклом, справа и слева от меня.

В боксе слева проснулись все его обитатели - с женщиной, которая качала на руках большого ребенка, оказывается, были три девочки. Все одного возраста, года по четыре, и похожи друг на друга, как капли воды. Но при этом совершенно разные. Одна - вся в розовых рюшах и с длинными волосами, уложенными на голове в замысловатую косу. Вторая - в синем спортивном костюме, мягком даже на вид, с простой короткой стрижкой. И третья - в простом зеленом платьице, с красивыми волосами до плеч. Дети галдели, а женщина почему-то не злилась, а улыбалась им. Я прислушалась.

* Мамочка, покорми! - прозвенел тонкий голосок «розовой» девочки.
* Мамочка, намажь мне маслом хлеб, - попросила «синяя дочка».
* Мамочка, я не могу попить, - пожаловалась «зеленая».

Они наперебой что-то просили, чего-то хотели, а женщина вместо того, чтобы строго сказать «все-сели-и-замолчали», почему-то ласково отзывалась: «Солнышко, подожди», «Милая, я сейчас». И каждой помогала. Покормила кашей первую девочку - буквально чуть-чуть - и потом передала ей самой ложку в руку. Сделала бутерброд для второй. Налила из большой пластиковой бутылки воды в кружку и передала третьей дочке. После завтрака все они устроились на одной кровати вокруг нее - одна подлезла под ее правую руку, другая под левую, а еще одна положила голову ей на колени. Женщина взяла в руки книжку и стала читать. И все дети притихли, слушали ее и улыбались.

В другом боксе тоже наступила тишина - молодая мамочка сидела с младенцем на руках и что-то шептала ему. Каждое мгновение менялось выражение ее лица. Она то широко улыбалась, то кивала ребенку, то шутливо хмурилась и все время произносила какие-то странные звуки. Малышу это нравилось. Он смотрел на нее во все глаза и тоже то хмурился, то улыбался, повторяя за ней выражение лица и откликаясь на звуки.

Я никогда не видела, чтобы кто-то из взрослых так делал с ребенком! Воспитатели подходили к младенцам, чтобы переодеть, накормить, положить в кроватку и уйти по своим делам. А иногда и уйти не получалось - пока переоденут последнего, первый уже снова мокрый. Конвейер. И уж тем более никто не сидел с нами в обнимку, не читал ласковым и певучим голосом книг.

* Маааамочкаааа.

Первый раз в жизни я произнесла это слово, повторив его за тройняшками. Оно было горьким на вкус. Как слезы. И при этом - сладким и даже теплым. Ложилось на язык, растекаясь до самого горла, и от этого становилось легче дышать.

* Мааамочкааа.

Я вся ушла в это имя, погрузилась в него с головой и не заметила, как женщина из бокса слева, оставив своих троих детей возиться с книжками, подошла к моей двери. Она постучала. Я глупо смотрела на дверь, не зная, что надо делать. Никто никогда в жизни не стучался ко мне.

* Можно войти? - спросила она.

Я удивленно кивнула. Женщина прошла и остановилась рядом с моей кроватью.

* Привет, - она улыбалась мне: не так, как своим детям, но все равно ласково, - тебе что-нибудь нужно?

Я отрицательно мотнула головой.

* Ты спрашивай, не стесняйся. Хорошо?

Я снова кивнула.

* А то я смотрю, все дети с мамами лежат, а ты нет. Вот, - она вытащила из кармана маленькую коробочку с соком и поставила на мою тумбочку, - яблочный.
* Спасибо. - Я подняла на нее глаза.
* А как тебя зовут?

Я помолчала и после долгой паузы ответила:

* Я не знаю.

Все еще не могла привыкнуть к своему имени, мне было трудно его произнести.

* А сколько тебе лет?

Я снова пожала плечами.

* Ааа, - она как будто о чем-то вспомнила, - все же очень просто. Пойдем вместе посмотрим! Ты можешь встать?

Я неожиданно для самой себя легко спустила ноги с кровати и поднялась. Женщина показала жестом, что нужно выйти за дверь.

* Смотри, перед входом в каждый бокс на двери есть такая табличка с именем и возрастом ребенка. На твоей написано: «Соня, 6 лет 4 месяца». Правильно?
* Да, - кивнула я.

И тут, наконец, окончательно поняла, что Соня - это я. Соня - мое имя. Это все, что у меня есть.

Женщина еще немного поговорила со мной, спросила, когда у меня день рождения, - тут уж я смогла ответить четко, выучила на совесть. Оказалось, ее тройняшки родились в тот же день, что и я, только на два года позже. Удивительно! А потом ее позвали дети - стали капризничать и кричать в своем боксе. И я снова осталась одна.

В больнице я пролежала тогда три месяца. Ангина дала осложнение и переросла в воспаление легких. Я постоянно болела пневмонией, начала егце в доме ребенка и тоже лежала из-за нее в больницах - только не запомнила ничего. Знала только одно - ни тогда, ни теперь никто меня не навещал. Не приносил гостинцев. Не радовался встрече. Не скучал по мне в разлуке. Воспитательница за все время приехала только однажды, привезла чистые вещи и тут же уехала. Даже на выписку никого из детского дома не прислали, меня забирала «Скорая».

Зато все это время я слышала и видела, как мамочки укачивают своих малышей, как кормят их из бутылочек и с ложек, как успокаивают, поют им колыбельные и читают книжки. Как целуют и говорят ласковые слова. Как успокаивают после уколов и дуют туда, где болит. Только в той больнице впервые в жизни я осознала, что у всех детей есть МАМА. И у самых маленьких она есть, и даже у самых больших. До этого момента я ни о чем таком не размышляла. Просто существовала.

Обрывки картин, наконец, сошлись воедино в моей голове. В детском доме в отличие от дома ребенка к некоторым детям приходили родители. Или другие родственники. Кажется, в дошкольном отделении я была единственной, о чьих родителях не было известно ничего. Остальных кто-то да навещал. И теперь я поняла, что дети не бывают сами по себе, узнала, что каждому ребенку положена своя собственная мама! Это счастье достается им даром. Просто так. Всем, кроме меня. А мне не положено никого, никакой мамы. Потому что я плохая.

С того дня я стала мечтать о маме. Думала, что она где-то есть – у всех детей есть мама, – надо только ее найти! И тогда я исправлюсь, стану хорошей и буду такой же счастливой, как все остальные. Я полюбила сидеть ночью на подоконнике и смотреть в окно: оттуда открывался вид на утопающую в огнях Москву. Я влюбилась в огни и смотрела на них ночи напролет. Особенно нравился мне свет окон. Я представляла людей, которые за ними живут. Рисовала в воображении счастливых мам и детей. И где-то среди этих светящихся окон было одно самое дорогое – окно моей мамы. Правда, я не знала, где именно. А потому любовалась всеми.

Никто из персонала больницы внимания на меня не обращал. Не укладывал спать. Не ругал за то, что по ночам сижу на окне. Медсестрам было все равно, лишь бы дети не выходили из палат.

Это открытие – у каждого ребенка есть своя мама – стало самым важным в моей жизни. И остается таким до сих пор. А тогда младенчество, которого я была лишена, потянуло меня назад. Я хотела прожить все заново и по-другому. С мамой. Мне это нужно было, как воздух.

Помню, я выпросила у нянечки маленькую бутылочку с питьевой водой и лежала вечерами, засунув горлышко себе в рот. Представляла, что это бутылочка с соской, я пью молочко, лежа на руках у мамы, а она укачивает меня. Я представляла себе, какая она, моя мама, – самая добрая, самая ласковая на земле. Она никогда не кричит и никого не ругает. У нее такие же темные волосы, как у меня, и такие же глаза. Лицо ее в моих фантазиях всегда было размытым, тогда еще я не старалась его детально нарисовать. Просто знала, что она молодая и очень красивая. Зато отчетливо слышала ее голос – как она поет, как только мне одной нежно шепчет: «Шшшшш» и тихо-тихо что-то рассказывает. Милая моя мамочка. Самая лучшая…

Глава 11

Рисование

С той больницы мысли о маме наполнили меня целиком. Я поняла, что моя мама где-то есть – иначе ведь дети не появляются на свет, – и начала ее ждать. Думала, она вот-вот придет. Я не обращала внимания на других женщин, не хотела ни с кем сближаться. С каждым днем все глубже и глубже уходила в себя. Физически жила в детском доме, но мысли мои были далеко.

И неожиданно для себя нашла лучшее в мире занятие, которое помогало «исчезать». А узнала я о нем совершенно случайно.

Нашу группу номер пять разделили на две части, одну отправили в игровую, а вторую – в которой оказалась и я – привели в маленький кабинет. Он был необычным, ярким. Картины на стенах. Кисточки, краски, карандаши. Вокруг большого учительского стола стояли непонятные деревянные штуки. Я видела такие первый раз в жизни. И только потом узнала, что это мольберты.

– Здравствуйте! – Учительница встала нам навстречу. – Проходите, ребята.

Мы протискивались в дверь. Я старалась держаться в самом хвосте. Кто знает, чего ожидать от незнакомого взрослого человека? Наконец и я вошла. Передо мной стояла элегантная дама средних лет в небесного цвета платье с крупным украшением на шее. Она была как с картинки. Раньше я таких женщин не видела. Воспитательницы одевались скромно, носили темные цвета. Разве что на праздник могли превратиться в разноцветных птиц, но это совсем другое.

– Проходите-проходите, – пригласила хозяйка, – вставайте за мольберты.

Дети начали занимать свои места. Все они были здесь не в первый раз. Только для меня эта комната и эта женщина оказались незнакомыми. Мне достался мольберт в самом дальнем углу комнаты. Пока я переминалась с ноги на ногу перед учительницей, она разглядывала меня. Это выражение лица я уже знала – так смотрели на нас спонсоры в доме ребенка. Перед глазами снова побежали серые мохнатые твари, порожденные взглядом взрослого, и на мгновение я увидела себя со стороны – глазами учителя. Слишком высокая для шести лет темноволосая девочка в пестром платье, которое ей совсем не идет и к тому же выдано «на вырост». Мне было все равно, что носить, я никогда не обращала на это внимания – что дали, то и надела, – но под пристальным взглядом учительницы вдруг смутилась. Мне стало стыдно. Привычная одежда показалась дурацким мешком, в который меня, не думая, запихали. Много лет спустя я убедилась в том, что верно уловила тогда мысли взрослого, – учительница рассказала, что ее первое впечатление обо мне было как об огородном пугале.

– Меня зовут Людмила Михайловна, – представилась она, продолжая смотреть только на меня, – ну что же, начнем!

Она плыла между мольбертами и детьми, которые в нетерпении переступали с ноги на ногу. С каждым ее движением перед очередным ребенком появлялся белый чистый лист. Хлоп. Первый закреплен. Хлоп. Закреплен второй. Хлоп. Я с ужасом ждала, когда она приблизится ко мне, – одно присутствие этой необычной женщины пугало меня.

– Как тебя зовут? – Ее голос звучал негромко.

– Соня, – едва слышно ответила я.

– Очень приятно, – она и передо мной закрепила огромный белый лист, – а теперь, дети, смотрите!

Учительница подошла к своему большому мольберту, и с ним вдруг стало происходить что-то невероятное. Она взмахнула рукой, и на листе бумаги появилось небо. Взмахнула еще, и по небу поплыло облако. Кисточка беззвучно порхала по бумаге, и на ней появлялись лучи, возникал солнечный свет. Это было так красиво, что я не могла отвести взгляд!

– Ну вот, – немного прищурившись, с хитрой улыбкой она обернулась к нам, – теперь ваша очередь.

Мы стояли и смотрели на ожившее в комнате небо, раскрыв рты.

– Все-все, – она тихонько рассмеялась, – рисуем! Просто смотрите и повторяйте.

У меня началась паника. Что нужно делать?! Как это «рисуем»?! Я не умею! Тем временем все дети взяли в руки кисточки, макали их в баночки и водили мягкими кончиками по чистому листу, оставляя на нем грязные полосы. Неужели можно пачкать такую чистоту? Их за это накажут! Я взяла в правую руку кисть – чтобы быть как все – и посмотрела на свой мольберт. Бумага казалась мне белоснежной. Невозможно было дотронуться до нее и все испортить. И тут, в одно мгновение, я вдруг увидела на ней синее небо, по которому плыли пушистые облака. Я увидела лучи солнца и пятна света. Все это было невероятно прекрасным, манило к себе. Вот бы перенестись туда, где такая синь! На мгновение я почувствовала чистый аромат весеннего ветра – он мешался с запахом талого снега и будоражил меня. Хотелось выйти из душной комнаты через окно, которое открылось передо мной на мольберте, и остаться по ту сторону навсегда…

Я смотрела и смотрела на лист, любовалась весенним небом. Но ведь учительница сказала «рисуем». Что делать?! От страха у меня задрожали колени. Я боялась испортить это волшебное небо, но при этом боялась, что меня накажут, если не послушаюсь и не начну рисовать.

Дрожа от страха, я опустила кисточку в синюю краску, зажмурилась и едва ощутимо дотронулась до удивительного неба на листе бумаги. Кисточка коснулась твердой поверхности, а потом еще. И еще. Я по-прежнему боялась открыть глаза. Потом все-таки осмелилась. Картина с небом не пострадала. Выдохнув с облегчением, я чуть решительнее стала макать кисточку в воду, а потом в краску. Теперь уже старалась рисовать с открытыми глазами, но только так, чтобы небо, облака и лучи остались в своем первозданном виде. Красная краска, желтая краска для солнца. Синяя краска, белая краска для неба. Мне нравилось наблюдать за тем, как кисточка каждый раз меняет свой цвет, как вода окрашивается во все цвета радуги и потом становится цвета земли. Так вот оно как устроено! Все самое яркое и живое в мире соединяется, чтобы стать землею. Еще немного, и я стала получать удовольствие от того, что делаю. Кисточка удобно лежала в руке, была как будто моим продолжением. Небо становилось еще прекраснее, солнца в нем прибывало, а облака бежали быстрей.

– Эт-то что такое?!

Над самым ухом я услышала резкий голос, от которого вздрогнула всем телом и уронила на пол кисть. Пачкая линолеум, та закатилась в угол.

– Ты что вытворяешь?! – Людмила Михайловна стала красной. – Ты вообще нормальная?!

Я не обернулась к ней, было слишком страшно. Продолжала вжимать голову в плечи и жмурить от ужаса глаза. Учительница нависала надо мной божественным великаном.

– Посмотри, что ты наделала! – Звук ее голоса нарастал словно гром. Она обошла меня и теперь смотрела в лицо. – Быстро открой глаза!

Я подняла веки и увидела перед собой чистый, белоснежный лист бумаги. Ни единой капли краски – синей, красной, желтой – не было на нем. Зато деревянный мольберт был весь заляпан разноцветными пятнами.

– Боже! А руки?!

Она схватила меня за пальцы и вытянула вперед ладони, расцвеченные немыслимой палитрой. Солнце, лучи, облака, небо – все было здесь.

– А платье?! – взвизгнула она.

Я опустила глаза. И без того пестрое платье впитало теперь еще больше красок. Как так могло случиться?! Я не трогала свою одежду, не хотела ее испортить. Что же теперь будет?! Почему я такая плохая?!

Я не смела взглянуть Людмиле Михайловне в лицо. Понимала, что ужасно виновата, и стояла, свесив голову на грудь. Ждала наказания.

– Марш умываться! – Учительницу трясло.

Я чувствовала, что она готова прибить меня и сдерживается из последних сил. В доме ребенка меня бы уже давно наказали за этот страшный проступок, высекли бы как следует скакалкой или ремнем, но в детском доме воспитательницы и педагоги ничего подобного не делали с детьми. Могли изредка шлепнуть тапкой или дать по попе скакалкой, и то мы всегда понимали за что. Каждый раз это было какое-то серьезное непослушание. Но учительница ИЗО даже и в этой ситуации сдержалась. Я боялась смотреть на нее, но все равно краем глаза видела ее побелевшие дрожащие губы и красные пятна на шее.

Через холл, мимо спален и игровой, я поплелась в ванную комнату. Слезы наворачивались на глаза оттого, что я не понимала, чего именно учительница от меня хочет. Как это «рисовать»? Что вообще это значит? Другие дети здесь уже давно, с трех лет, конечно, они прекрасно понимали, чего от них хотят. А как же быть мне? Рисовать. Рисовать. Я ведь не знаю, как это – рисовать! Я открыла дверь в ванную комнату спиной, чтобы не прикасаться к ней грязными руками. Пока шла, крепко сжав кулачки, все цвета во вспотевших от страха ладонях перемешались и стали землей. Я с удивлением смотрела на свои руки – коричневые внутри, пестрые снаружи – и поражалась волшебству, которое сотворили со мной краски. Я хотела оставить всю эту красоту себе, не смывать. Но ослушаться учительницу не могла. Осторожно включила воду, взяла мыло – оно тут же окрасилось от моих рук – и стала мылить. Разноцветные пузырьки росли и лопались на ладонях, цветная вода стекала в белую раковину и пропадала в неведомых далях. Я любовалась ее многоцветием и представляла себе цветную воду, которая бежит по трубам, неведомым мне туннелям, изгибам и яркой струей врывается в небо. Нарастает. Набирает силу. И превращается в быстрые, освещенные солнцем облака.

Картина с белого листа ожила перед моими глазами. Я видела уже не только небо, но каждый переход цвета на нем, каждое перышко облаков. И деревья, и травы, и цветы каким-то чудесным образом отражались в них.

– Соня! – Я вздрогнула и обернулась.

Мама Таня открыла дверь в ванную комнату и стремительно вошла.

– Что ты здесь делаешь? Все на занятии.

Она подошла совсем близко, заглянула в раковину. Увидела меня, старательно натирающую руки куском похудевшего мыла, и успокоилась.

– Ааа, ручки моешь? Ну, хорошо. Только давай возвращайся в класс.

Людмила Михайловна встретила меня подозрительным взглядом.

– Отмыла?

– Да, – ответила я тихо-тихо, едва слышно.

– Хорошо, – кивнула она, но потом решила проверить лично: ведь ранее уже убедилась в моей отсталости.

Я послушно протянула ей руки для осмотра. Сначала ладонями вверх, потом перевернула их.

– Тааак, – ее голос снова начал взвиваться, она схватила меня за правую руку, – а это что?!

Я смотрела на нее снизу вверх и молчала. Как ей объяснить, что эти пятна со мной навсегда? Что они дались мне от рождения, от моей мамы – единственное наследство? Я не могла ничего сказать и молчала.

– Иди перемывай!

Я послушалась. Снова пошла в ванную комнату, включила воду, взяла мыло и стала тереть. Взрослые знают лучше. Нужно слушаться взрослых. Если учитель говорит, что руки нужно отмыть, так и нужно делать.

В тот день я ходила мыть руки три раза. И каждый раз мои родимые пятна оставались со мной. В последний раз разъяренная Людмила Михайловна пошла в ванную комнату со мной. Сама включила воду, сама взяла мыло. Стала тереть. Она нажимала на пятна пальцами, и те от надавливания как будто бы исчезали.

– Вот же, – радовалась она, – отмылось!

Но стоило убрать пальцы, как красные пятна появлялись снова – словно по волшебству. Учительница негодовала, не понимала, как такое может быть. А я ничего не могла объяснить – только покорно протягивала свои ладони. Только после всех тщетных попыток она догадалась, что эти пятна – мое, родное. Что краска тут ни при чем.

Людмилу Михайловну я бесила почти все два года в дошкольном отделении детского дома. Она сама мне в этом призналась потом, много лет спустя. Я не умела рисовать, не умела держать кисточку, не знала, что такое краски, мне надо было все потрогать, пощупать, понюхать, лизнуть. За весь первый год занятий я ни разу не попала кисточкой на бумагу. Для меня по-прежнему было немыслимо вмешаться и нарушить гармонию, которая рождалась перед моими глазами на белом листе. Там было море. Там были горы. Там были холмы, покрытые лесом. И много-много пейзажей, которые Людмила Михайловна рисовала для нас, а мы должны были их повторить. Эти картины тут же отражались внутри меня и навсегда оставались там. Я думала, все люди на свете думают так же как я, – картинами. Да мне и не казалось тогда, что я использую воображение, воспроизводя внутри себя эту красоту, – все фантазии были настоящими и живыми. Они дышали. И я верила в них. Только никому не могла показать. Просто тыкала кистью мимо листа, пачкала мольберт, раскрашивала по локоть собственные руки и заляпывала краской очередное нелепое платье.

Людмила Михайловна отправляла меня мыть руки. Я покорно шла. И она бесилась еще больше от того, что я такая послушная. Мы с ней обе в дошкольном отделении намучились так, что не могли больше друг друга видеть. Я не понимала, чего она хочет от меня, она не подозревала, что во мне когда-нибудь проснется талант. Я была самой глупой и никчемной ученицей на протяжении двух лет, пока жила в дошкольном отделении детского дома.

Зато перед школой, перед тем как идти в первый класс, я нарисовала первый в своей жизни рисунок. Каким-то чудом осмелилась. Взяла обычный лист, красный карандаш и на всем пространстве нарисовала геометрические фигуры, какие видела в жизни. А внутри каждой фигуры поставила красную точку. Потом подошла к маме Тане и, гордая собой, сказала: «Смотрите, это Китай». Даже не помню, где слышала это слово, не знаю, понимала ли тогда, о чем идет речь. Но все было именно так. Тот рисунок, конечно, не сохранился.

Зато осталась работа, которую я нарисовала в начальной школе, когда мне было девять лет. Ее Людмила Михайловна каким-то чудом сберегла и потом, когда я выросла, мне отдала. А еще она опубликовала мои рисунки в книге под названием «Звезда». И именно в тот момент – когда она показала эту книгу с моими работами, – я почувствовала уверенность. Значит, можно делать так? Значит, разрешено прикасаться кистью к бумаге и не быть за это наказанной? Я полюбила рисовать.

Глава 12

Крещение

В детский дом из дома ребенка со мной перешли все страхи – мое имущество. Я до дрожи в коленях боялась зашторенных окон. Между занавесок мне мерещилась огромная голова в бородавках и с носом крючком. Я не могла смотреть ни одной сказки с этой вездесущей бабой-ягой.

Я и сейчас не люблю ни фильмов, ни спектаклей с участием этого персонажа – слишком сильные и тяжелые воспоминания накрывают с головой.

А тогда, в детском доме, я все новогодние елки просидела с закрытыми глазами. Для меня она была реальной, живой. Кошмар из детства, способный напугать до полусмерти и причинить сильную боль. Никто не мог избавить меня от него. Вот если бы рядом была моя мама, с ней бы я перестала бояться, она бы защитила. Но мамы не было. И страх следом за мной перешел из дошкольного отделения в школу. Воспитательницы со временем поняли, что бесполезно заставлять меня сидеть на праздничных спектаклях – все равно зажмуриваюсь и закрываю ладонями уши. В конце концов мне разрешили на них не ходить. И, пока все смотрели сказки, я убиралась в спальнях, брала дополнительные задания на уроках, помогала мыть посуду на кухне. До сих пор благодарна воспитателям за то, что в этой ситуации они понимали меня.

После дома ребенка все педагоги в дошкольном отделении казались добренькими. Они могли ударить, но только за дело, и для меня это было уже сущей ерундой. Когда сам виноват – не обидно.

Если бы я не думала все время после той больницы о маме и не любила ее одну всеми силами своей души, я бы, наверное, могла привязаться к маме Тане или маме Оле. Они всегда ласково разговаривали, не обижали. Уж мне-то было с чем сравнивать. А из дошкольного отделения запомнились только хорошие моменты.

Я помню, как мама Таня с мамой Олей делали для нас огромные сухари. Крупно резали черный хлеб, посыпали его солью и сушили. Мы выходили на улицу и обязательно ели эти соленые сухари. До сих пор помню их вкус – мне и теперь всегда хочется в мороз выйти на улицу именно с ними. Съесть их на холоде, на свежем воздухе, чтобы на миг вернуться в тот короткий спокойный отрезок детства, в котором не было боли и страданий. А еще мама Оля и мама Таня дружили с воспитательницами из первой группы. Однажды мы вместе с этой группой сделали зимой горку – таскали снег, насыпали его, а взрослые заливали водой из шланга, и потом мы все вместе катались. А еще я помню свою первую новогоднюю елку. Она тоже была в дошкольном отделении детского дома. Нас всех повезли то ли в ГУМ, то ли в ЦУМ, там были огромные красивые залы – я такие первый раз в жизни видела – и стояла гигантская елка. Конечно, я снова закрывала глаза, когда во время представления прилетела баба-яга, только выглядывала – закончилось или нет, – но все остальное мне было интересно. С той елки сохранились даже фотографии. И еще нам дали подарки. И никто их не отнял, каждый принес свой пакет в спальню и сам брал конфеты сколько хотел! Это было счастье. Конечно, воспитатели следили, чтобы мы не переели этих конфет, к тому же у некоторых были диатез, аллергия. Но все равно это невероятное чувство – сами себе хозяева – настоящее чудо!

Только потом, когда я уже училась в четвертом классе, в детский дом пришла новая мода сваливать все сладкие подарки в одну кучу и прятать их в бытовках, чтобы выдавать на чаепития. Это было уже совсем не то. Гораздо больше радости приносил собственный подарок, когда самому можно решать – съесть сейчас или оставить «на потом». Тогда еще не было такого всеобщего увлечения – носить в детдома подарки, – и мы не получали их на Новый год сразу по тринадцать штук, как сироты получают сейчас. Но один или два подарка в праздники были у нас всегда.

Тот год, первый в детском доме, стал для меня особенным. Красивым. Праздничным. Я словно проснулась.

А летом нас отправили в детский лагерь на море. Это был первый раз, когда я ехала куда-то на поезде, когда увидела море. С тех пор каждый год мы со всеми детьми из нашего детского дома ездили в Крым. Это стало привычно, нормально. Только когда выросла, я поняла, что есть дети, которые ни разу в жизни не видели моря, – у их родителей просто нет денег на такие путешествия. Но если бы меня спросили – сейчас или тогда, – что бы я выбрала: маму или ежегодные поездки на море заодно с сытой детдомовской жизнью, я бы даже думать не стала. Невозможно тут думать ни о чем! Мама – это любовь. Это весь мир и единственная мечта. А море – это всего лишь море. Я бы прожила без него, лишь бы с мамой!

Тем летом нас перевозили из лагеря в лагерь, из смены в смену. Но в каждом новом месте были одинаковые огромные комнаты, как в доме ребенка. Я начинала задыхаться в них от страха. Я так и не полюбила детские лагеря. Мне больше нравились трудовые, и то уже в старшем возрасте: это была хоть какая-то смена обстановки, хоть какая-то возможность встретить новых людей. А в тот раз все было грустно. Я не помню, как мы жили и что происходило. Запомнилось только, что нас мыли после моря из шланга. И старшие ребята над нами смеялись, когда мы, сняв трусы, как нам велели, бежали под этот импровизированный душ голышом. А потом, уже чистые, тем же манером неслись обратно. У старших в это время была линейка, и, получается, нас изо дня в день выставляли им на потеху. Мы уже тогда боялись «старшаков» – так называли старших ребят в детдоме – знали, что большие всегда будут обижать маленьких. Этот страх оказался заложен у нас на подкорку, передавался у сирот из поколения в поколение.

А еще из того лета я запомнила стрекоз. Море стрекоз. В одном из лагерей были постриженные кусты, и между ними бежала узенькая дорожка, которая вела неизвестно куда. Я часами стояла на этой дорожке и наблюдала за стрекозами. Они были невероятно красивыми. То ли я первый раз в жизни их увидела, то ли просто раньше не замечала, но они меня потрясли. Стояла и долго-долго, не шевелясь, смотрела на них. Изящные узкие тельца, красненькие и зелененькие перламутровые крылышки, сияющие всеми цветами на солнце. Каждый день я возвращалась на это место и подолгу наблюдала за ними. Как будто хотела, чтобы они остались в моей памяти навсегда.

В тот год после возвращения из летнего лагеря нас всех крестили. Причем опять нас никто ни о чем не спрашивал, заранее не предупреждал.

– Вас там зовут! – Запыхавшийся мальчишка лет семи влетел в наш холл и чуть не врезался с маму Олю.

– Я поняла, – неторопливо кивнула ему.

Она как будто только и ждала этого сигнала. Подошла к нашему шкафу, вынула из него стопку свежего белья и положила на диван.

– Дети, все надеваем маечки и шортики.

Мы были в повседневной одежде, но тут рванули к стопке, стали переодеваться. Интересно же, зачем это все и что будет дальше? Я быстро стащила с себя очередное несуразное платье и влезла в майку и шорты, а потом стала наблюдать за мамой Олей. Она снова подошла к шкафу и вынула оттуда еще одну стопку – на этот раз в ней были полотенца. Я, конечно, обрадовалась, думаю: «Неужели нас в какое-то другое место мыться поведут?» Сидеть в воде я готова была с утра до вечера. Всегда старалась залезть первой, чтобы выйти из воды последней. Нас тогда мыли всех вместе – сажали по пять человек в одну ванну сразу и купали. И мы там все рассматривали друг у друга, трогали, но все равно так и не понимали, в чем разница между мальчиками и девочками. Я даже не включала голову на эту тему. Помню, в семь лет пыталась писать вместе с мальчишками стоя и страшно бесилась оттого, что у меня не так хорошо, как у них, это получается. Но речь сейчас не об этом. А о том, что купали нас строго по режиму, любая возможность окунуться в воду вне расписания была радостью.

Мама Оля построила нас и повела за собой – в ту часть, где располагалась столовая и еще одна группа. Приходим, а там полно чужих людей! Просто тьма. Съехались все, кто только можно. Знакомыми были только воспитатели из соседних групп и учителя – логопед, преподаватель ИЗО, учительница по танцам.

От непривычной обстановки мне стало страшно, сердце застучало как бешеное.

Я видела взрослых людей, которые толпились в проходе, стараясь заглянуть в открытые двери ванной комнаты. Я слышала крик ребенка. И не понимала, что происходит. Плач тем временем становился все сильнее и сильнее. Нарастал, переходил в визг. Куда и зачем нас привели?!

– Ничего-ничего, – услышала я голос знакомой воспитательницы, – ну, что ж ты кричишь?

Наконец я приблизилась ко входу и смогла заглянуть. Предо мной обычный санузел, только большой: две кабинки с унитазами, две раковины и посередине ванна, наполненная водой. Из нее, рыдая, вылезает мокрый ребенок, а его все успокаивают: «Ничего страшного. Все хорошо!» Я увидела священника в длинном черном одеянии, увидела нашу заведующую дошкольным отделением, самую добрую на свете женщину, которая никого в обиду не даст. Священник тоже ничего плохого не делает, стоит перед ванной с водой и уговаривает следующего мальчика: «Залазь в ванну, малыш. Я тебя три раза окуну, наденем крестик, и ты побежишь играть». Я так и не поняла, отчего все кричат? Почему выходят в слезах? Ничего страшного не происходит.

Наконец подошла и моя очередь. Я с удовольствием залезла в ванну. «Вода освященная», – тихонько объяснила мне мама Оля, которая подобралась поближе, чтобы меня поддержать. Но я увидела только, что вода уже не очень чистая, даже мутная после огромного количества детей. И, конечно, уже прохладная, хотя вовсе не ледяная. И чего было так орать? Я-то только обрадовалась, что меня лишний раз, вне расписания, искупали. Священник положил свою огромную ладонь мне на голову и окунул три раза, что-то нашептывая.

– Ты София! – наконец, сказал он громко после того, как мама Оля что-то шепнула ему на ухо.

Так меня и крестили Софией. Надели на шею крестик, почему-то с самой длинной веревкой. Я заметила, что крестики перед священником лежали разные, с веревочками разной длины. Мне достался такой. Я его потом потеряла, когда купалась в море. Ни крестной матери, ни крестного отца не было. Я даже не знала, что они нужны – тем более сироте. Мне никто этого не объяснил. Я тогда не знала ничего о религии, только умела молиться благодаря нашей преподавательнице по танцам, Валентине Валерьевне. Она у нас была с дошкольного отделения. И каждое занятие начиналось одинаково – мы читали молитву. «Отче наш, иже еси на Небеси, да освятится имя твое, да пребудет царствие твое…» Я выучила эти слова так хорошо, что от зубов отскакивало. И еще одну молитву запомнила, про Божью Матерь. А иногда вместо танцев учительница рассказывала нам про ад и про рай. Возможно, все эти истории были из Библии. А возможно, она сама что-то додумывала, я не знаю. Но мы так любили эти байки, что иногда нам даже не хотелось танцевать. Хотя истории были страшными. Особенно когда речь заходила про ад – там все время мучились, кричали, страдали люди. С шести лет я уже знала, что если буду хорошо себя вести, то попаду в рай. А если плохо, то в ад. Мне помогали эти истории. А священники к нам не приходили, с нами не беседовали. И учительницу эту в детдоме считали немножко двинутой, хотя и не мешали ей.

Но я до сих пор благодарна Валентине Валерьевне за то, что она заложила начало моей веры в Бога. Сегодня редко хожу в церковь, но всегда нахожу там внутренний покой и глубоко верю.

Глава 13

Комиссия

Мой второй год в дошкольном отделении подходил к концу. Перед летним лагерем, в мае, нас всех собрали на комиссию. Мы знали об этом событии заранее, готовились к нему – учили буквы, цифры, времена года, сидели каждый день за партами в нашем классе и что-то делали. Но я оказалась готова к комиссии только относительно, потому что все равно ничего еще толком не понимала. Читать не умела, считала до десяти с трудом. И вообще мало что знала для своего возраста – остальные дети в нашей группе были гораздо умнее меня. Я чувствовала себя по-настоящему отсталой, хотя в моей медицинской карте и не стояло такого диагноза. Тогда я не понимала, что все дело в том, что со мной учителя занимались всего полтора года, даже меньше, если учитывать летние лагеря, а остальных детей готовили к школе с трех лет.

И вот я вошла в кабинет, в котором проходила комиссия. Меня посадили за стол, на нем лежали карточки с разными картинками. Напротив сидела психоневролог детского дома, Анна Анатольевна, еще какие-то дяди и тети, я их даже не знала, и Вера Васильевна – наша заведующая. Передо мной положили карточки и стали задавать вопросы.

– Убери, пожалуйста, лишнее, – попросила незнакомая тетя, разложив передо мной четыре картинки.

Я посмотрела на машинки и вертолет, которые были нарисованы на карточках. Убрала вертолет.

– Почему ты думаешь, что он здесь лишний? – спросила она.

А я смотрела на нее большими глазами и не могла ничего объяснить. Кто же его знает, почему он лишний? Но к остальным точно не подходит, ясно же и ежу!

– Отличается, – промямлила я.

– Чем? – Тетя оживилась.

Но ответа она так и не получила – я продолжала молча смотреть на карточки и теребить подол платья.

– Ну ладно, – она, наконец, отстала от меня с вертолетом, – перейдем к следующему вопросу.

Тетя разложила передо мной новые карточки. На них были нарисованы люди.

– Это мама, – сказала она, выкладывая на стол картинку с красивой темноволосой женщиной, к которой я тут же приклеилась глазами, – это бабушка, это девочка…

Она что-то еще говорила, перечисляя людей на картинках, но я видела только маму. У нее была добрая ласковая улыбка, и на мгновение мне стало спокойно и хорошо. Я даже забыла о взрослых людях, которые сидели за столом напротив меня.

– Расположи их, пожалуйста, по хронологии.

Я не поняла задания, но постеснялась переспросить. Только посмотрела на тетю так растерянно, что она и без слов все поняла:

– По старшинству.

До меня, наконец, дошло. Я кивнула и начала раскладывать. Первой положила, конечно, маму. Следом – картинку с самой старенькой бабушкой. Потом – с другой бабушкой, чуть моложе. И в конце – картинку с девочкой. Выполнила задание и с гордостью посмотрела на тетю.

– Таааак, – протянула она задумчиво, – а почему в таком порядке?

Я молчала, не знала, что ответить. Только удивилась ее непонятливости: казалось, и так все ясно. Не надо ничего объяснять.

– Почему мама у тебя первой стоит?

– Ну, это же мама. Она всех главней!

– Нет, подожди. Бабушка старше мамы? Ей больше лет?

– Больше, – торопливо кивнула я, – но МАМА главней бабушки!

Я не понимала, почему эта тетя не знает простых вещей. Кто еще в этом мире важнее мамы?

– И что?

– Мама – это мама! – Не знаю, откуда во мне взялось столько смелости, но первый раз в жизни я настаивала на своем. – Она мама для девочки. И мама для бабушки. И мама для…

– Ты уверена? – перебила женщина.

– Да! – пылко уверяла я, что именно так и есть. – Нет на свете никого важнее мамы!

– Ладно-ладно, – стала меня успокаивать тетя, – только не переживай. Давай перейдем к другим заданиям.

Я уже не помню, что мы там делали дальше с этой комиссией, какие еще были вопросы. Помню только, что ушла оттуда относительно довольной собой. Хотелось с кем-нибудь поделиться успехами, но урок с маслом и Аней, которая меня предала, остался в голове навсегда. Я больше никогда и никому ничего не рассказывала. Да и не было между нами, детьми, откровений. В принципе ничего не обсуждали между собой, ничем не делились. Сидели каждый в своей воображаемой норе, не общались, не спрашивали: «Как у тебя дела?» Такое было не принято. Я просто сама догадалась, что справилась не хуже остальных. И тут вдруг следом за мной прибегает Серега.

– Соня, смотри, а мне дали чупа-чупс!

– Да? – Конечно, мне стало обидно оттого, что ему дали, а мне нет. Но я ничего не сказала.

– И мне тоже дали! – влетела следом за ним запыхавшаяся Ленка.

– Круто. – Я отвернулась от них.

Слезы побежали из глаз. Я сидела и думала: «Почему мне так не везет?!» Я же хорошо ответила, все правильно рассказала. Значит, все-таки отсталая? Значит, плохая?

Много лет спустя, когда я была уже в одиннадцатом классе, наш психоневролог Анна Анатольевна дала мне бумагу с результатами той комиссии. В ней значилось примерно следующее: «До десяти считает с ошибками, цифры не складывает, слоги в слова не соединяет, низкий уровень логического мышления». И что-то еще, очень неприятное. Если бы тогда мне сказали все это прямо в глаза, я бы очень расстроилась. Может быть, потеряла бы веру в себя. Поэтому хорошо, что меня оставили с ощущением «я справилась», хотя и без чупа-чупса.

Конечно, те результаты уже не имеют значения. Я прекрасно понимаю, что знала тогда меньше всех не потому, что глупая или отсталая, а из-за дома ребенка. С нами там не занимались, но это еще полбеды. Главное – в том учреждении я испытывала непрерывный стресс. У меня не оставалось сил ни на что другое, я могла только бояться. Страх блокировал мозг. Обесточил память. Какие тут знания?

Но, поскольку меня из-за «отсталости» в детдоме никто не обижал, не унижал, даже близко такого не было, я не придавала этому особого значения. В дошкольном отделении и взрослые, и дети бережно относились друг к другу. Кстати, из нашей группы никого не отправили в коррекционный интернат. Нас тогда всех взяли в первый класс. И только потом уже отсеивали по знаниям – кто тянет, кто не тянет программу. Тех, кто не тянет, переводили в учреждение другого вида, для умственно отсталых детей.

И еще накануне школы я выучила букву «Р». У нас в дошкольном отделении был логопед, она со мной занималась. Ее, кажется, звали Тамара. И меня страшно бесило, когда она совала свои пальцы мне в рот, чтобы что-то там поправить. Я не могла этого выносить, готова была ее укусить! В итоге сама выучила эту несчастную букву «Р» – «зарычала» всего за одну прогулку. Просто ходила вокруг нашей беседки на площадке и тренировалась, тренировалась. А потом подошла к воспитательнице с заявлением:

– Я к логопеду больше в жизни не пойду!

– Как это так? – не поняла она.

– Ррррррр, – старательно зарычала я на нее.

– Ааа, вон оно что, – мама Таня улыбнулась, – нет, все равно иди. Сейчас твое время.

Взбешенная, я топала через игровую комнату и холл к кабинету. Открыла дверь к этой тете Тамаре и выпалила фразу, которую репетировала всю дорогу:

– Я больше не буду к вам прррриходить!

Я так смогла. Проявила характер, заявила о своем желании вслух. Я выучила! Я сумела! Я победила.

В дошкольном отделении мы продолжали жить по строгому расписанию – как и в доме ребенка, как и во всех учреждениях на свете. Но все-таки там у меня было детство. Полтора года детства. Мама Таня и мама Оля ко всему относились легко – ну пролил и пролил, ну испачкал и испачкал, ну не доел и не доел. Это же дети.

Благодаря такому отношению к нам я верю, что ребенка гораздо лучше воспитывает доброта, чем жестокость. Этот важный пример остался со мной на всю жизнь. Только когда перестала бояться наказаний и побоев, я научилась играть, улыбаться и иногда даже смеяться. Научилась говорить вслух. И хотя у меня не было какой-то одной «любимой» воспитательницы, ни с кем из них не возникло близких отношений, все они стали мне дороги.

Глава 14

Учительница

И вот настало первое сентября. Нас нарядили в дурацкие костюмы, девочкам прицепили на волосы белые банты. Из-за этого «украшения» я, и без того высокая, стала на две головы больше всех остальных. В первый класс вместе со мной поступили пятеро одногруппников: Ленка, Дима, Сережа, еще один Сережа. Мы были девяносто второго и девяносто третьего года рождения. И вот мы все пошли. Не было никакого прощания с воспитателями. Был только страх перед новой жизнью.

Огромный двор. Море детей – сто восемьдесят сирот. И все они старше, чем мы. Дошла моя очередь читать стихи, и только я открыла рот, как все засмеялись.

– Дылда, – раздался чей-то голос.

– Негр, – подхватил другой.

Смех нарастал, усиливался по кругу, и через мгновение смеялись уже все, даже взрослые. Я держалась изо всех сил – только потому, что большая, пришла в первый класс. Нечего реветь! Хотя всегда очень легко начинала лить слезы: они были защитной реакцией на все. Стоило, например, сказать мне: «Говори громче», и я уже реву. Учительница, которая стояла рядом с нами, не реагировала на происходящее. Она не смеялась вместе с остальными, но и не защищала меня: просто невозмутимо глядела перед собой. Еще до начала линейки мы успели ее рассмотреть – мне она показалась добренькой. И после торжественной части она отвела нас в класс. Рассадила.

– Меня зовут Людмила Ивановна, – представилась она, – а вас как зовут?

Мы назвали свои имена.

– Хорошо, – кивнула она, – а теперь слушайте внимательно. У меня все дети учатся под номерами. Ты, Оля, будешь первым номером. Ты, Дима, вторым. Ты, Соня будешь третьим, а Лена – четвертым. Сережа будет пятым и еще один Сережа – шестым.

Потом она подняла нас с мест и рассадила по порядку, по номерам. Лишиться имени было обидно, но что мы могли поделать? Четыре года начальной школы мы все так и жили под номерами.

– У Второго нет домашнего задания, – сверкала она глазами на Диму, – почему?!

– Четвертый сегодня дежурит, – напоминала Людмила Ивановна Лене.

– Третий, к доске! – вызывала она меня.

Это было очень обидно! Как будто мы не дети, а какие-нибудь предметы с инвентарными номерами. Утешало меня только сравнение с предыдущим «номером три». Я думала: «О, у меня третий номер, как у Лены Бабкиной, а она отличница. Значит, все у меня будет хорошо». Так и терпела команды: «Третий, открой тетрадь! Третий, подойди ко мне!» А Людмила Ивановна продолжала в своем духе – каждому новому ребенку, который приходил к нам в класс, она присваивала свой номер. В первом классе к нам добавился еще один Сережа. Потом пришла Олеся. Учительница их так и называла – «Седьмой» и «Восьмой». А когда Диму перевели в детский дом для умственно отсталых – это случилось после первой же четверти в первом классе, он не справлялся с программой, – его номер сразу пропал. Первый, Третий, Четвертый, Пятый, Шестой, Седьмой, Восьмой. В итоге за четыре года у нас дошло до того, что был Шестнадцатый и даже Семнадцатый.

Тетрадки у нас, конечно, тоже были без имен и фамилий. Под номерами. Я помню, другая учительница, Валентина Ивановна, периодически вытаскивала в коридор на учебном этаже парту и раскладывала на ней тетради с плохими работами – теми, за которые были проставлены двойки и даже колы. Хотела двоечников пристыдить. Но я лично подходила к этому столу не для того, чтобы посмотреть, «как нельзя учиться», а для того, чтобы полюбоваться на подписанные тетради. Для меня это была не парта позора, как задумывала Валентина Ивановна, а парта личностей: они все были с фамилиями и именами! «Аааааа, они настоящие люди», – думала я. Радовалась за них и даже по-доброму завидовала: «Вот бы и нам так подписывать тетради. Когда-нибудь я до этого доживу».

Людмила Ивановна, несмотря на показавшуюся мне с первого взгляда доброту, оказалась очень странным человеком. Учила она, может, и хорошо, но мы всегда и везде оказывались последними. Меня раздражало, что вместо четырех уроков, например, мы сидим целых пять. Потому что не успели сделать что-то там по программе из-за того, что наша учительница на целый урок опоздала, и утром мы сидели, слушали уборщицу. В итоге все уже идут обедать, уже гуляют, а мы еще сидим и слушаем, что там наша Людмила Ивановна бубнит. Хотелось тоже выбежать на улицу, да просто хотелось есть! Меня эта ее манера всегда раздражала.

А еще в первый же день она забрала у нас подарки, которые нам вручили как первоклашкам. Красивые фломастеры. Разноцветные карандаши. Яркие ластики – фигурки животных. Крутые пластмассовые линейки со звездами. Положила все это богатство в свой ящик и сказала: «Они нам еще пригодятся». Но не пригодились. Мы едва ли не каждый день смотрели на этот ящик и думали: «Может быть, сегодня? Может, сегодня?» Но подарки пролежали до конца четвертого класса, а перед выпуском она нам сказала: «Зачем они вам нужны? Вы уже идете в старший корпус, там ни к чему эти линеечки со звездочками и ластики в виде зверушек. Вы стали большими». Наши подарки она раздала первоклассникам, которые пришли к ней в новом учебном году. А у них отобрала все, что им подарили на первое сентября. Не знаю, что было у нее в голове, но она отнимала все. Олеся, например, ездила летом в одну семью в Италии – об этих наших поездках я расскажу чуть позже, – и ей там подарили красивый зеленый будильник.

– Тебе это сейчас не нужно, – сказала Людмила Ивановна, подойдя к парте Олеси, – потом у меня возьмешь.

После уроков мы долго шептались с Олесей, хотели попросить обратно будильник, но так и не рискнули. Каждый день прожигали его взглядом – он стоял на учительском столе – и не могли. И я снова думала о том, что, если бы моя мама была рядом, она бы нам помогла. А как без нее с учительницей о таком сложном деле заговорить? Только через несколько лет, уже после выпуска из младшей школы мы, наконец, осмелились подойти.

– Здрасьте, – мы с Олесей заглянули в кабинет Людмилы Ивановны, – а можно будильник забрать?

– Какой еще будильник? – Она удивленно посмотрела на нас.

– Мой, зеленый, – сказала Олеся, – из Италии.

– Ааааа, – учительница тут же надула губы, – я думала, ты мне его подарила.

Так этот будильник и остался у нее. Олеська плакала, хотя и понимала, что все бесполезно – Людмила Ивановна ни за что не отдаст. Такой человек.

А мне, помню, однажды прислали из Италии в подарок крутой рюкзак, полный красивых тетрадок. Они были такие красочные, огромные! И еще в рюкзаке лежали ежедневники и блокноты специально для меня.

– Что тут у тебя? – Людмила Ивановна склонилась над моим сокровищем.

– Рюкзак, – уже предчувствуя беду, тихо прошептала я.

– Можно мне его посмотреть?

Что я могла сделать? Вырвать мою вещь из ее рук? Закричать? Все бы подумали, что я ненормальная. Сглатывая слезы, я едва заметно кивнула. И тут началось.

– О-о-о, какой ежедневник, – она стала выгружать все из моего рюкзака на свой стол, – это тебе не нужно, это мне. И это тебе не нужно, это мне!

Стопка на ее столе росла и росла, превращалась в яркую толстую гору, а рюкзак мой, наоборот, худел и худел. Она оставила мне в итоге всего две тетрадки, в которых я так и не решилась ничего написать – жалко было их пачкать. А через несколько дней после той конфискации она подошла ко мне со своей мерзкой улыбкой.

– Я в твоем ежедневнике записываю свою литературу, – похвасталась она.

Она думала, я этому обрадуюсь, буду гордиться?! Я ничего не сказала в ответ, но внутри меня все кипело. Как будто мне было дело до того, что она там записывает в моем подарке! В тот момент она просто бесила меня!

Хотя были в начальной школе и другие моменты, которые мне относительно нравились. Например, с первого по четвертый класс Людмила Ивановна прочитала нам всю Библию от начала и до конца. Спасибо ей за это большое, потому что у меня благодаря ее чтению развилось воображение. Я слушала и видела все как в кино. Да и учеба сама по себе приносила мне много радости. В школе я сделала огромный скачок. Мне нравилась математика, я просто летала на этом предмете. Мне не нужно было ничего объяснять, наоборот, всегда справлялась быстрее других и просила дополнительные задания. Самой страшной угрозой для меня было: «Будешь плохо себя вести – останешься без дополнительных!» Я любила решать задачки, делала это запросто, как говорится, одной левой рукой. И нередко изобретала собственные способы решения, потому что так интереснее. Ответы у меня всегда были правильными. Но, если я шла не по учебнику, Людмила Ивановна на меня злилась: «Нет, переделай! Я хочу, чтобы ты решила как все». И мне приходилось сидеть, заново расписывать скучную ерунду.

А вот чтение я не любила. Книгами заинтересовалась только в десятом классе, после того как прочла «Войну и мир». Это была первая книга, которая мне по-настоящему понравилась. До этого ни произведения по программе, ни книги, которые стояли у нас в группе в книжном шкафу, а их там было очень много, не привлекали. Я даже не прикасалась к ним никогда, как и все остальные дети в детском доме.

Думаю, не сложилось такой привычки, потому что никто нам не читал перед сном, не сидел с нами в обнимку за книгой. В дошкольном отделении, как и в доме ребенка, воспитательницы обычно включали телевизор, если хотели, чтобы мы посидели тихо. Наверное, отношения с книгами рождаются из отношений с людьми. А у нас ничего этого не было. Зато теперь каждый раз, когда прихожу в книжный магазин, вспоминаю то море книг, которые были в детском доме, и жалею, что упустила возможность.

Глава 15

Посудомойка

В школьном корпусе детского дома была огромная столовая. Столы рядами, большое деревянное окно раздачи и искусственные цветы по стенам. И я с первого дня стала присматриваться, можно ли напроситься в помощницы к посудомойке – еще в дошкольном отделении мне нравилось наблюдать за работой на кухне. Из всех сотрудников столовой я выбрала одну женщину – самую добрую – и стала наблюдать за ней. Она была невысокого роста, с русыми волосами и ясными глазами, которые будто говорили со мной. Ей было около пятидесяти. И однажды после обеда я решилась – подошла к ней.

– А можно я помогу вам помыть посуду?

– Ты сама хочешь? – Она удивленно посмотрела на меня и едва заметно улыбнулась.

– Хочу. – Мне понравились морщинки в уголках ее глаз.

– Хорошо! – тут же согласилась она. – Тогда приходи минут через тридцать.

– Спасибо! – Я обрадовалась и побежала к выходу, но она меня окликнула:

– А зовут-то тебя как?

– Соня!

– Сооооня, – она немного потянула, как будто наслаждалась звучанием, – красивое имя. А меня тетя Таня. Будем знакомы!

– Будем. – Я уже улыбалась во весь рот. Поняла, что с выбором не прогадала.

С тех пор мы с тетей Таней не расставались. В те дни, когда дежурила она, я пропадала в столовой с обеда до вечера. Некоторые воспитательницы запрещали без важных причин уходить из группы, и тогда я придумала отпрашиваться у них как будто бы в изолятор. Туда меня, болезную, всегда отпускали. Медицинский блок был на другом конце здания, и, конечно, никто не проверял, дошла я до него или нет. А я, вырвавшись на свободу, бежала к тете Тане в столовую: боялась, что она без меня все закончит и с работы уйдет. А мне обязательно нужно было успеть помыть с ней посуду! Иногда мы разговаривали, иногда молчали. Стояли рядом, напротив огромных раковин – в одной намыливаешь, в другой смываешь и только после этого ставишь на огромную решетку посудомоечной машины. Тетя Таня показала мне, как ее включать. И я делала все сама – такая счастливая! – а она только следила, чтобы я не ошиблась. С тетей Таней было легко: она не одергивала, не ругала. Говорила ласковым тихим голосом и давала мне за работу чупа-чупс, жвачку, конфетку или что-то еще. Мне было с ней хорошо. И после работы я всегда останавливалась на пороге столовой.

– До свидания, тетя Таня! Приходите завтра, я вас жду!

– Конечно, приду, Сонечка, – со смехом отвечала она, – до завтра!

Постепенно мы с ней очень близко сдружились. Она стала единственным человеком, которому я могла доверить что-то важное.

– А у меня Людмила Ивановна все самые красивые тетрадки отобрала, – жаловалась я ей.

– Ох, как жалко-то, – тетя Таня по-настоящему сочувствовала моему горю и долго качала головой, – но ты потерпи, Сонечка. Она ж учительница, знает, как лучше.

– А что это ты такая грустная? – спрашивала она меня в другой раз.

– Тройку получила за диктант. – Мне было стыдно об этом говорить, но от тети Тани не скрывалась.

Она же все равно увидела, что я расстроена и думаю о чем-то плохом. А у меня все мысли были о том, как эту несчастную тройку исправить. Для меня такая оценка стала настоящим позором, что-то подобное со мной очень редко случалось.

– Бедная ты моя, – снова вместе со мной переживала тетя Таня, – как же так вышло? Плохо себя чувствовала, когда писала?

– Да нет, – вздыхала я, – чувствовала хорошо. Сделала всего одну ошибку.

– Какую? – Она спрашивала так, что я видела: ей по-настоящему интересно.

– Слово «малчики» написала без мягкого знака.

– Одна ошибка и поставили три?! – возмущалась она. – Как же это так?

– Там это слово шесть раз повторялось, – призналась я, – Людмила Ивановна и засчитала как шесть ошибок.

– Обидно-то как!

– Да уж, – успокаивалась я благодаря ее поддержке.

– Ну, ничего, ты у нас девочка умная, все исправишь!

– Конечно, исправлю!

Я скучала по тете Тане первым школьным летом, когда нас увезли в очередной противный лагерь. И вторым летом тоже скучала. Зато какими радостными были наши встречи после моего возвращения! Я влетала в столовую, и тетя Таня тоже бросалась мне навстречу. Она вся сияла, глядя на меня.

– Сонечка, как же ты выросла за лето! – всегда говорила она. – Иди-ка сюда, иди!

Она ставила меня спиной к деревянной перегородке, которая отделяла обеденный зал от кухни, и выцарапывала вилкой черточку над моей головой. А потом мы сравнивали ее с предыдущей, годичной давности. И я сама удивлялась:

– Оооо, и правда выросла!

Каждый год так было. Эти черточки на дереве хранили память обо мне год за годом, пока старую перегородку не снесли, заменив ее на новую, пластиковую. Но это произошло уже гораздо позже.

Тетя Таня любила меня баловать – приносила домашнюю еду, что-нибудь вкусненькое, и угощала. Какая же у нее была невероятная жареная курица! В жизни ничего лучше не ела! А салат оливье! А маринованные огурчики! А соленые помидорки! Кто нам в детдоме такое даст? Жареное и соленое. Разве можно? Только благодаря тете Тане я попробовала разные домашние блюда. А в доме ребенка и в детском доме готовили невкусно. Еда была пресной и почти одинаковой на вкус: строго по еженедельному меню, которое повторялось до бесконечности. И только на праздники – на Новый год да на первое июня, в День защиты детей, – повара жарили для нас картошечку. Вот это было счастье! Мы все обожали эту картошку, даже через много лет после выпуска о ней вспоминаем.

Так, шаг за шагом, мы с тетей Таней стали друг для друга близкими людьми. Мне нравилось ей помогать, потому что я хотела сделать для нее что-то приятное. Она любила меня побаловать чем-нибудь вкусненьким. И постепенно все больше и больше мне открывалась. Один раз даже принесла фотографии своих сыновей и показала мне. Рассказывала, какие они, чем занимаются. Ребята у нее уже были большими, девятнадцать и двадцать лет. А еще она призналась мне, что всегда хотела дочку. И однажды написала для меня стих – сочинила сама и подарила. Я помню его наизусть, повторяла его в детстве про себя постоянно. А листочек со стихотворением до сих пор храню. Он уже стал совсем желтым, обтрепался по углам и на сгибах, стройные буквы и орнамент по краю побледнели, но все равно в нем живет тепло тети Тани, берешь в руки – и чувствуешь.

Живет в интернате

Девочка Соня.

Соня послушная,

Соня – тихоня.

Румяные щёчки,

Черные глазки.

Сонечка наша –

Ангел из сказки.

Я бегала по детскому дому радостная с этим стихом. Заглядывала в листочек постоянно. И чувствовала, что у меня появилось важное сокровище – гораздо больше, чем лист бумаги. Однажды Сережа Самохин, тот, из моего дома ребенка, пришел к тете Тане и говорит: «А сочините мне тоже стих! Почему только Соне?» Но тетя Таня ему ответила: «Сережа, стихи сочиняют только хорошим детям». Мне было так приятно это услышать! Она не стала сочинять стихи всем подряд. Написала одной только мне.

С тетей Таней я так и дружила – с первого до четвертого класса. И вот однажды, в третьем классе, она меня заранее предупредила, что хочет приехать в детский дом в свой выходной, чтобы со мной погулять.

Это было первый раз в моей жизни – чтобы кто-то из взрослых предложил мне прогулку. Я обрадовалась невероятно. И вот этот день настал. Тетя Таня приехала.

Я сидела, ждала ее в коридоре: ничего другого делать просто не могла. Сердце громко стучало в предвкушении важной встречи. Я чувствовала, что это очень серьезный в жизни момент. И вот я увидела в окно, как она входит в калитку, как поднимается на крыльцо. Тревога во мне нарастала и нарастала, сердце уже колотилось как бешеное. Она поднялась на наш этаж, подошла ко мне, поздоровалась, и тут меня как будто парализовало от страха. Сердце заходилось в груди. Ладони вспотели. Неожиданно для самой себя я внутренне запротестовала. Я боялась всего, что может из этой прогулки вырасти. А вдруг она будет приходить за мной снова и снова? А вдруг моя собственная мама станет меня искать в это время и не найдет? И пока мы с тетей Таней шли по нашему коридору, чтобы отпросить меня на прогулку у воспитательницы, я все время про себя повторяла: «Хоть бы не отпустили! Хоть бы не отпустили!» Эта фраза пульсировала в голове помимо воли, меня разрывало на части. Я очень хотела пойти погулять с тетей Таней и в то же время жутко этого момента боялась. И вот, наконец, тетя Таня подошла к воспитательнице, чтобы задать свой вопрос. А я осталась ждать ее в самом начале нашего коридора.

– Можно я возьму Соню с собой на прогулку?

– Это еще зачем? – насторожилась воспитательница.

– Ну как, – растерялась тетя Таня, – сходим с ней в магазин. Пройдемся.

– Нет, – отрезала воспитательница, – документы у тебя на ребенка не оформлены, какое право я имею ее отпустить?

– Нууу…

– Ты разве не знаешь, что плохо, если у сотрудников складываются личные отношения с кем-то из детей, – добавила она шепотом, в надежде, что я не услышу, – это же неприлично!

– Так, значит, нельзя? – Тетя Таня как будто не слышала, погруженная в свои мысли. – Мы тут неподалеку.

– Неподалеку – это на территории, – железным голосом ответила воспитательница, – а за забор выводить ребенка без оформления документов нельзя!

И после этих слов я выдохнула с облегчением.

Спустя много лет мне удалось разобраться в своих чувствах: страх перед новой жизнью, о которой я тогда ничего не знала, оказался во много раз сильнее желания общаться с приятным мне человеком. Пусть уж лучше все остается как есть. В детском доме, по крайней мере, все знакомо. А что такое семья? Я же понятия об этом не имела.

Мы ходили с тетей Таней по территории, она мне что-то рассказывала, а я впервые в жизни поймала себя на новой мысли: «Не хочу, чтобы меня кто-то забрал!» Я до смерти боялась выходить за ворота детского дома. Я не знала, что за забором. Там пролегала чужая территория, к встрече с которой я была не готова. Меня пугали незнакомые люди, страшили неизвестные правила и порядки, я не знала, как себя вести за пределами детского дома. Что можно или нельзя делать? О чем принято или не принято говорить? Уже в младшей школе я возвела вокруг себя гигантскую защитную стену и никого к себе не подпускала. Да, мы стали преданными подругами с тетей Таней, она мне нравилась, и я понимала, что она очень добра ко мне. Но это не значило, что я готова довериться ей настолько, чтобы выбраться из кокона, в котором тогда жила. Страх оказался сильнее меня. Я могла уйти из детского дома только с одним человеком на свете – собственной мамой. Только она смогла бы меня в незнакомом мире защитить.

Однажды мы с тетей Таней об этом поговорили. В тот день быстро помыли посуду и просто сидели рядом, болтали обо всем. Это был последний год нашего общения, я училась в четвертом классе.

– Соня, – позвала она, и я услышала, как ее голос дрогнул, – ты хотела бы я жить в моей семье? Стать моей… дочкой.

– Нет. – Я не задумалась ни на секунду.

– Почему? – растерялась она.

– Потому что у меня есть своя мама, – честно сказала я.

О маме я думала постоянно. Все время ее ждала. Не проходило ни дня, ни часа в детском доме без мыслей о ней. Я вглядывалась в лица всех темноволосых женщин, искала ее черты.

А еще я думала о том, что не могу предать коллектив. Что скажут другие дети, если я соглашусь на семью? Брошу своих товарищей в детском доме? Тогда мне уже не будет здесь жизни. Меня затравят.

У нас каждый, кто уходил в семью, моментально становился предателем: «Если его забрали, значит, он всех нас тоже должен был забрать! Потому что мы вместе. А иначе – предатель!» Тех детей, которые начинали общаться с семьей, мы жестко наказывали. Но в семьи дети тогда уходили очень редко. Я лично помню только три случая, когда детей усыновили – одного нашего Сережу, Аленку и Сашу из другого класса, на год старше. Хотя у нас постоянно ходил в детском доме специальный дяденька, который всем предлагал уехать в Америку. У нас тогда весь детский дом переписывался с американцами. И я ни разу не видела за одиннадцать лет, чтобы ребенка усыновила русская семья. Я раньше думала, что русским нельзя забирать сирот, мы – для американцев и итальянцев. И, только когда я уже вышла из детского дома в 2011 году, все как раз началось. Стали появляться русские семьи.

Зато из семей, наоборот, дети постоянно к нам прибывали. За начальную школу наш класс вырос в два раза. У кого мама умерла, кого от бабушки забрали, у кого еще какая-то беда. Мы в подробности не вникали. Но «домашних» всегда очень жестко проверяли на прочность – подставляли, говорили про них воспитателям гадости. Мочили мягкие игрушки и засовывали им в постели. Высыпали всю соль им в суп. Просто за то, что они из семьи, а мы – нет. Сама я так не делала, но много раз за этим наблюдала и всегда считала, что это правильно, что так надо учить этих «домашних». Спасти семейного ребенка в детском доме могло только одно – если он задаривал всех нас сладостями и деньгами. А нет – мы легко доводили «новеньких» и «предателей» до нервного срыва. Иногда даже воспитатели и администрация чувствовали, что ребенок от наших выходок уже на грани, что его могут затравить здесь до смерти. Тогда его спасали – организовывали путевку в какой-нибудь санаторий. Несколько месяцев его нет, а потом он возвращается, и уже почти как свой. За это время страсти стихали. Худо-бедно, но мы принимали новичка. Приступали к следующей, более свежей «жертве».

Только благодаря Ларисе Евгеньевне, нашей первой воспитательнице в школьном отделении детского дома, мы постепенно перестали относиться к новеньким как к отбросам. Она стала готовить нас к приходу «домашних» детей. Говорила, что всегда с интересом нужно настраиваться на новых людей, новые знакомства. Мы так и стали относиться, с любопытством. Правда, я все равно всем «домашним» завидовала – их навещали мамы, бабушки, дедушки. И я, глядя на них, каждый день вставала у окна, смотрела на калитку детского дома и думала: «А вдруг сейчас войдет моя мама!» С семи лет так и стояла у подоконника, ждала. Надеялась. «Вот придет моя мамочка, заберет меня, и я не буду спать в тихий час». Мысленно я постоянно рисовала портрет своей мамы.

Сейчас я уверена, что представляла саму себя, только взрослую: высокую темноволосую женщину с доброй улыбкой. Я искала маму везде, куда нас выводили из детского дома, – в театрах, музеях, общественных местах. Всматривалась в лица темноволосых женщин и ждала. Даже не сомневалась, что если встречу ее, то сразу узнаю – что-то такое ёкнет в сердце, подскажет. Мне приходилось жить со своим ожиданием один на один…

С Ларисой Евгеньевной мы этого не обсуждали и с тетей Таней – тем более. Никому из взрослых я не доверяла настолько, чтобы заговорить о самом важном. О том, что занимало все мои мысли.

После того разговора с тетей Таней о семье я снова спряталась в свою раковину. Замкнулась. Стала меньше откровенничать с ней, старалась ни о чем не рассказывать. А в пятом классе и вовсе перестала ходить на кухню помогать с посудой – можно сказать, бросила. У нас поменялось расписание в школе, уже не было времени, да и мешала теперь эта заново отстроенная мощная стена. Я не хотела сближения, боялась его. Поэтому видела теперь тетю Таню, только когда сдавала посуду после еды.

Однажды, я была тогда в пятом классе, она вдруг пришла вся в черном. От воспитателей я узнала, что у нее умер один из сыновей. Тетя Таня долго ходила в трауре, и я ее в тот период не трогала. Старалась даже не заговаривать с ней – не знала, что мне делать и как на нее смотреть. Боялась разбередить ее внутреннюю боль.

А когда мне было тринадцать лет, мою тетю Таню неожиданно уволили. Я приехала из лагеря после летних каникул, а ее в столовой нет. Хоп, и все! Посудомойки уже другие. Я тогда, конечно, расстроилась и подумала: «Как же так? Мы даже не попрощались». Я решила ей позвонить. Она давным-давно, еще когда мы каждый день общались, дала мне свой телефон, но воспользовалась я им только в тот раз. Трубку снял мужчина.

– Можно, пожалуйста, тетю Таню? – спросила я.

Мужчина долго и шумно дышал в трубку, потом ответил:

– Она умерла.

Я стояла и не понимала, что происходит. Даже повесить трубку не могла. И долго потом не могла поверить, что моей тети Тани больше на свете нет. Почему? Из-за чего? Она же была такой хорошей! Потом рискнула и спросила у одной из воспитательниц о ней.

– Вообще она была пьяницей, – сказала мне та, – поэтому и умерла.

Но в это невозможно было поверить! Я ни разу не видела ее пьяной. От нее никогда в жизни не пахло спиртным. Пьяных-то я в своей жизни уже наблюдала – к некоторым детям родные родители в таком виде пробирались на территорию. Но тетя Таня? Нет! Она была совсем другой!

И я снова перестала замечать взрослых – они перестали для меня существовать. Не искала ни с кем отношений, не хотела никаких разговоров, ушла в себя. Только тете Тане я была дорога. А теперь не осталось ни одного человека, которому я оказалась бы нужна…

Чем старше я становилась, тем больше и чаще думала о маме. Ее образ в моей голове становился все ярче, все четче. Я вызывала его всякий раз, когда ложилась спать, и подолгу разглядывала воображаемое лицо.

– Не переживай, твою маму ищут, – призналась мне однажды воспитательница, почувствовав мою тоску, – возможно, она когда-нибудь придет.

Больше она мне ничего не сказала: о родителях с нами было не принято говорить. И только в четвертом классе я узнала часть правды. По четвергам в нашей группе работала старшая воспитательница. Кабинет ее располагался как раз напротив класса, в котором мы учились, и каждый, кто заканчивал работу в классе, заходил к ней. Там мы ждали остальных перед тем, как вместе пойти в группу, и некоторое время без дела шатались по ее кабинету. И вот там, на столе, лежала тетрадка. Как-то раз мы с ребятами заглянули в нее и увидели, что там от руки написано что-то про каждого из нас и даже про наших родителей!

– А что это за тетрадка? – спросил Сережа, когда воспитательница вернулась.

– Здесь я записываю про каждого, – ответила она, – у кого есть родители, у кого нет родителей. Вы же понимаете, что у всех у вас разные истории?

– О-о-о, – мы все облепили ее, – а почитайте нам! Мы тоже хотим узнать!

И она начала нам читать: у этого мама умерла, у этого в местах лишения свободы, у этого болеет. Очередь дошла до меня.

– А у Сони мама окончила академию, – я затаила дыхание и вся превратилась в слух, – причина отказа: нет возможности прокормить. По национальности она казашка.

Эти слова я запомнила на всю свою жизнь. Моя мама хорошая! Она училась в академии. Просто не могла меня прокормить – это было главное, что дало мне сил. Рассеялся туман, пропали сомнения, я теперь знала точно, что она не алкашка, не наркоманка, как говорили нам всем воспитатели, а просто у нее не было денег, чтобы содержать меня. Ведь человек не виноват, если у него нет денег. Моя мама – хорошая!

Значит, я тоже не плохая! Я хорошо учусь. Всегда стараюсь. Слушаюсь взрослых.

Знание о маме с тех пор стало моим внутренним стержнем. Только убедившись, что она существует, я почувствовала себя человеком. Появилась опора.

Я больше не принимала на свой счет обидные слова, которыми воспитательницы обычно ругали наших мам. Была такая мера воспитания сирот в детском доме – весь класс собирали на линейке, иногда целым корпусом, и кричали на нас: «Ваши матери – алкашки, наркоманки, пропащие! Они там пьют и колются, а мы тут за вами бегаем». И с тех пор я сидела и думала: «Аааа, это все не про меня. Мы с мамой просто потерялись. Она – хорошая!»

Глава 16

Маньяк

Дни в детском доме были похожи один на другой. Зимой – школа. Летом – лагерь. Помню, после первого класса нас привезли в «Омегу» в Крыму.

Поселили, как обычно, в громадные комнаты по десять-пятнадцать человек. Кровати с пружинами. Крашеные стены. Фанерные шкафы для одежды. Снова все как в доме ребенка. И такой же безликий туалет. Я заходила в него, и слезы текли из глаз сами собой.

Такая реакция организма у меня осталась до сих пор: в туалете я начинаю плакать, стоит только сесть на унитаз. То ли это память о наказаниях в доме ребенка, многие из которых происходили в туалете, и моментальное возвращение старого чувства страха. То ли тело так реагирует на то, что в детстве мне приходилось часами терпеть, дожидаясь разрешения сесть на горшок. Сложно сказать. Но как плакала в детстве, справляя нужду, так же и плачу до сих пор.

В том лагере меня, как всегда, положили спать около двери, рядом со шкафом: ночью надо было поднимать в туалет, и, чтобы не искать по рядам, всегда клали так – ближе к выходу.

И вот южная ночь. Балкон открыт. Жарко, нас много, воспитатели специально проветривали так, дверь нараспашку: детям нужен свежий воздух. Я лежу на своем обычном месте. Уснула быстро, проснулась рано. Со мной так было всегда – просыпалась задолго до подъема и просто лежала в кровати, смотрела в потолок и старалась не шевелиться. Меня в первую же ночь в этом лагере приструнили: «Хватит копошиться, ты всем мешаешь спать!» Там пружины на матрасах были зверски скрипучими. Чуть поменяешь позу – и уже всех разбудил. Поэтому я изо всех сил старалась замереть, не подавать признаков жизни. Сначала считала баранов, как мне советовали воспитатели. Толку ноль. Потом просто лежала неподвижно с открытыми глазами и думала, о том, что будет сегодня. Думала, что опять станут заставлять выступать – в лагерях вечно одно и то же, – а я не хочу лезть на сцену, мне это не нравится.

Я смотрела в потолок и удивлялась, как он похож на тот, в доме ребенка. Серый, в крошечных трещинках и с мелкими островками отвалившейся штукатурки тут и там. Если как следует присмотреться, можно увидеть карту. Огромный мировой океан, а в нем небольшие пятна континентов. Я все пристальней вглядывалась в рисунок и чувствовала, как он оживает. Вода вздыхает, колышется, островки земли наполняются красками – становятся зелеными, желтыми, красными…

И тут вдруг за балконной дверью раздался шум. Занавеска вздыбилась от порыва ветра, и за ней промелькнул черный силуэт. Баба-яга?! Я вздрогнула, по спине ледяной струей пробежал страх. Стоп! Баба-яга не может летать на рассвете, только ночью.

Я лежала и в ужасе таращилась на занавеску. Через секунду она раздвинулась, и в комнату через балкон, осторожно ступая, вошел огромный мужик. Растрепанный, с густой и грязной копной волос. В замызганных рваных джинсах и видавшем виды свитере, поверх которого был надет примерно того же невнятного цвета, то ли коричневый, то ли серый, пиджак. На ногах у него были гигантские растоптанные ботинки – от долгой носки они стали похожи на лапти. Я замерла, вдавилась в кровать и не знала, что делать. Зажмурилась на мгновение, но так стало только хуже: я слышала, как он крадется через нашу спальню и приближается ко мне. Это было страшно! Шуметь и будить других девочек мне строго-настрого запретили. Звать на помощь взрослых я побоялась – они придут и накажут меня за шум.

Я снова открыла глаза и стала таращиться на мужика, молча наблюдая за тем, как он роется в шкафу. Сначала он не обращал на меня внимания, а потом вдруг почувствовал взгляд и повернулся ко мне. Я похолодела от ужаса. И тоже – загипнотизированная страхом, – не отрываясь, смотрела на него. Несколько секунд он меня рассматривал. Потом улыбнулся – между усами и бородой раздвинулась неопрятная щель – и подошел ближе.

– Привет! – сказал он шепотом, глядя мне в глаза.

Из его рта на меня пахнуло мерзким запахом гнили и перегара. Я молчала и смотрела на него, хлопая глазами.

– Слушай, это у тебя тут прячется киска? – Он улыбнулся еще шире.

– Ннннет, – с трудом разлепила я губы.

– Как так? – Он поднял вверх указательный палец. – Я же слышу, она мяукает.

– У меня нет кошки. – От изумления я даже заговорила.

– Не может такого быть, – его шепот стал хриплым, – она должна быть где-то здесь!

Он попытался присесть на мою кровать, но та угрожающе скрипнула и тем самым пресекла его попытку. Тогда мужик просто опустился на колени рядом со мной.

– Может, киска у тебя под одеялом? Ты там ее прячешь?

– Нет!

– А давай вместе посмотрим! Убери одеяло.

Я отчаянно мотнула головой.

– Ай-я-яй, – он покачал своей мохнатой башкой, – нехорошо обманывать взрослых. Я точно знаю, что киска у тебя под одеялом.

Горячие удары запульсировали в ушах. Он взрослый. Нужно слушаться взрослых. Нужно всегда делать то, что они говорят. Пусть он посмотрит и убедится, что я никогда не вру. Что я говорю только правду.

Я откинула одеяло, чтобы показать – никого у меня там нет. Никакой такой кошки.

– Вот же, – прошептала я, – видите?

Некоторое время он ощупывал взглядом мою ночную рубашку, под которой были лишь трусики.

– Может, она прячется у тебя под рубахой? А ты мне врешь?

Он не стал ждать, когда я соглашусь показать, что у меня под ночной рубашкой, задрал ее сам.

– Надо же, – бормотал он, закручивая вверх тонкую ткань, – под рубахой нет. Тогда, может, в трусиках?

Я лежала ни жива ни мертва. Кричать не могла, потому что мне запретили. Но и терпеть его руки на своем животе тоже не было сил. Мне стало страшно теперь уже оттого, что он делает со мной, я не понимала, зачем это все. Я просто лежала как замороженная и не делала ничего. Смотрела в его огромное, словно топором вырубленное лицо. На его жирные кучерявые волосы. На грязную одежду, от которой исходил тошнотворный запах животного. Огромными, темными от солнца и грязи руками он начал стягивать с меня трусы. Засунул толстые пальцы под резинку и потащил ее вниз. Я не понимала, что происходит, просто провалилась в черную дыру ужаса. Сквозь стук крови в висках ругала себя последними словами: «Дура! Почему не закрыла глаза? Зачем на него посмотрела? Надо было притворяться спящей». Во всем, что со мной происходило, была только моя вина. Так было всю жизнь – виновата только я, и больше никто. Других людей, уж тем более взрослых, я никогда и ни в чем не винила. Я только в тот момент поняла, что он меня обманул – придумал эту долбаную кошку, чтобы стянуть с меня трусы. Крупные слезы сами собой покатились из глаз. Он лизал меня своим шершавым собачьим языком, едва слышно рыча. А потом оскалился и укусил. От боли я заелозила в кровати, но кричать все равно не посмела. Он кусал все сильнее, мне казалось, до крови. Я уже не могла терпеть, пыталась выкрутиться, сбежать от его зубов. Кричать?! Звать на помощь?! Но меня же еще и накаааажууууут…

Соседка – маленькая белобрысая девочка – проснулась и уставилась на мужика выпученными от страха глазами, уже приоткрыв для крика рот. Он тут же почувствовал ее взгляд, испугался, набросил на меня одеяло и кинулся к балконной двери. Девочка не успела закричать. А я лежала в полуобмороке, не понимая, почему он это сделал и что со мной такое произошло. В голове все перемешалось. Словно кто-то рассыпал огромный и сложный пазл, который теперь уже не собрать. Какая кошка? Почему он лизал? Что искал у меня там? Что все это значит?!

Осознание того, что он сделал, пришло только через много-много лет. А тогда я просто чувствовала себя сломанной, и все.

Утром, сгорая от необъяснимого стыда, я подошла к воспитательнице, которая приехала с нами из детского дома.

– Мне нужно кое-что вам сказать, – промямлила я.

– О чем это? – Она даже не взглянула на меня. – Ты опять умудрилась описаться?

– Нет…

– Соня, давай быстрее!

– К нам в спальню, – я перевела дыхание, – ночью залез чужой дядька.

– Что?! – Воспитательница вытаращила на меня глаза.

– Да, – кивнула я, – дверь на балкон ведь открыта. Вот он и вошел.

– Зачем кому-то к вам лазить? – разозлилась на меня воспитательница. – Что он там делал?

– Он, – я опустила глаза и покраснела, – он покусал мне одно место.

– Какое еще место?! Ты что болтаешь?

– Он покусал мне писю…

Я не могла понять, что происходит с ее лицом. Оно как будто стало надуваться изнутри, кожа на щеках покраснела. То ли отвращение, то ли смех, я даже не поняла, от чего она давится.

– Ты все это придумала! – Она смотрела на меня сверху вниз.

– Нет! – Слезы тут же наполнили мои глаза.

– Ты все это сочинила, – задумчиво проговорила воспитательница, не обращая внимания на мой протест, – только зачем?!

Она не поверила мне. Не поверила вожатая. Не поверила другая воспитательница. Я со слезами на глазах доказывала им, что все это правда, а взрослые женщины в ответ твердили одно и то же: «Ты все выдумала! Нафантазировала. Ты ребенок, поэтому запросто можешь такое сочинить». И я злилась оттого, что они мне не верят. Почему?! Когда другие дети их обманывают на каждом шагу, они охотно развешивают уши. А когда я говорю им правду, не хотят ничего знать? Тогда зачем говорить взрослым правду, зачем все это, зачем???

Измучившись, я попросила одну старшую девочку сходить со мной в туалет. Завела ее в кабинку, сняла трусы и показала укусы. У меня там были огромные синие следы от зубов.

– Смотри, я ничего не придумала! – торопилась я ее убедить. – Скажи им, что я говорю правду!

– Я тебе верю, – вытаращив глаза на мои чудовищные синяки, сказала она.

– Только обязательно расскажи воспитателям!

Она кивнула и тут же пошла рассказывать. Однако то ли не дошла до воспитателей, то ли они не поверили и ей, я не знаю. Но взрослые назвали меня лгуньей в который раз. Я ходила со слезами на глазах до позднего вечера. Уже поняла, что не смогу ничего доказать и никто меня не защитит. А если он снова придет, если этот кошмар продолжится, что еще он со мной может сделать?! Я этого не знала. Но мне было страшно.

– Эй, Сонька, – выкрикнул старший мальчишка из толпы детдомовских, – это у тебя в трусах роются мужики?

Они грохнули диким смехом, схватившись за животы. Потом еще одна группа детей сделала то же самое. И еще. Весь лагерь всего за несколько часов узнал о том, что взрослый мужик снимал с меня трусы и кусал «там». Старшие ребята ходили и говорили только об этом. На них ночное происшествие произвело неизгладимое впечатление. А взрослые вместо того, чтобы помочь, повторяли как попугаи: «Такого не может быть! Ты все придумала! Ты все придумала!» Я пряталась в спальне и с ужасом ждала отбоя – вдруг это все повторится?

После того случая я замолчала раз и навсегда. Не разговаривала в том лагере больше ни с кем.

Каждый вечер воспитательница по-прежнему открывала перед отбоем нараспашку балконную дверь. И практически каждую ночь к нам, маленьким девочкам, в спальню залазили местные мужики. Ни воспитатели, ни директор лагеря ничего не хотели об этом знать. Воры появлялись под утро, когда уже начинал брезжить рассвет и все, включая охранников, спали особенно крепко. Я всегда узнавала, когда они приходили, хотя лежала с закрытыми глазами и не могла никого видеть. Мужики залазили через балкон, входили в открытую дверь и прямиком направлялись к шкафам. Чаще всего они пролезали под кроватями, видимо, чтобы их не было видно. И, конечно, я всегда чувствовала, как под моей кроватью кто-то проползал. Ощущала спиной живой горб под своей спиной и покрывалась холодным потом, зажмуриваясь еще сильнее.

С той поры я окончательно уяснила – взрослым нет до меня никакого дела. Только мама переживает за своего ребенка, только мама может по-настоящему защитить. А если ее в жизни нет, маленький человек перед миром взрослых беспомощен. С ним можно вытворять все что угодно.

От страха у меня все сжималось внутри, я чувствовала ужас, абсолютную беззащитность. И притворялась даже не спящей, а мертвой…

Они шарили в шкафах – дети в лагерях в основном были «домашними» – и деньги были с собой, и хорошие вещи, которые можно было продать. Ребенок же не поймет, что его обокрали, подумает, сам виноват – потерял. И взрослые ему то же самое скажут. Никто и никогда не будет всерьез разбираться с детьми. Дети у взрослых «сами виноваты» всегда, вот обнаглевшие воры и лазили безнаказанно каждую ночь. Непонятно только, что им нужно было в нашей, сиротской спальне. Денег у нас не было никаких. Одинаковые футболки, шорты, штанишки, за которые никто ничего не даст. Но те-то, кто лез, этого не знали. И так продолжалось из раза в раз, из ночи в ночь. Воспитатели не делали ничего. А мне оставалось обливаться холодным потом, сходить с ума от страха и молчать. Лежать под утро без сил, в изнеможении, и молить незрячего бога: «Скорее бы мои мучения закончилось! Пожалуйста, пусть мамочка меня заберет!»

Глава 17

Италия

Не сразу и не совсем точно, но бог услышал мои молитвы. В конце концов, наступило лето, когда я не поехала в лагерь: меня увезли в Италию.

Оказывается, когда я еще училась в первом классе, мной заинтересовалась одна итальянская семья. У нас в детском доме был такой проект – к нам приглашали зимой в гости семьи из Италии, которые хотели усыновить ребенка или просто взять кого-нибудь на лето. Мы знакомились здесь, общались, и потом уже нас везли к ним. Конечно, в проект брали не всех. Выбирали только самых послушных детей, которые «не подведут». И я была в их числе: примерная девочка, хорошая ученица. Своего рода поощрение за послушание – возможность провести лето за границей. Кстати, когда я уже выросла, то стала думать, что все это странно: личные отношения детей с сотрудниками детского дома не поощрялись, русских усыновителей в детдом не приглашали, их не было тогда и в помине, а для иностранцев наши двери оказались открыты всегда.

И вот итальянцы приехали. Среди них была и моя будущая летняя «мама». Внешне она показалась мне очень приятной – полненькая такая, невысокая, много улыбается. Единственное, что немного насторожило, – все эти итальянцы были безумно шумными, галдели, как птицы. Я и не представляла себе, что взрослые люди могут так шуметь. Их было всего четырнадцать человек, а впечатление складывалось, что сто с лишним. Зато они привезли кучу гостинцев и кучу одежды нам в подарок! Моя открыла чемодан, достала вещи и говорит: «Это тебе. И это тебе. Вот это тоже тебе». Это было так круто! Я сама в то время ничего по-итальянски не понимала, но мне Юля переводила, которая до этого уже жила в их семье. Одежда, сладости, подарки, все целиком достались мне: в школьном отделении у нас ничего не забирали. Одна только Людмила Ивановна, учительница, была исключением.

Глядя на эту женщину с ее дарами, я и не думала, что буду жить в ее семье. В принципе не очень понимала происходящее. Итальянцы были для меня спонсорами, я их так и воспринимала – подарки отдали и уехали. Ну, пообщались немного с нами, куда-то сводили. Мы вместе гуляли по Москве. Везде ходили большой группой – итальянцы, дети и воспитатели. Конечно, в такой большой толпе мне было спокойно, я к ней привыкла. И почему бы не погулять, не выйти за ворота? Краем уха я слышала о том, что дети ездят в Италию только группами, поэтому не беспокоилась: если все вместе, то не страшно. Кстати, с итальянцами я первый раз в жизни попала в «Макдоналдс». Еда там мне не особенно понравилась, зато я влюбилась в свою игрушку из «Хеппи мил». Мне досталась забавная неведомая зверушка, мохнатая такая, с прикольными глазками и ножками. На ножках у нее были три волшебные точки: стоило поднести эти точки к металлу, и игрушка начинала петь. Она у меня долго потом жила, я ходила и тыкала ею во все металлические предметы. Поднес, запела, убрал, и ходишь-ищешь, к чему бы еще прислонить.

Когда меня спросили после всего, поеду ли я в Италию на лето, я торопливо кивнула. Даже не задумалась. Лишь бы только не в лагерь! Конечно, не понимала, на что соглашалась. И что такое семья, понятия не имела. Но в тот год за границу я так и не попала – в детском доме не успели оформить мой загранпаспорт, и пришлось ехать в лагерь: хорошо хоть, не в «Омегу», в другой.

И вот прошло полтора года после того приезда итальянцев, и мне сказали: «Соня, ты едешь в Италию!» Что там будет и как, я не знала. Мне ничего не объяснили, не рассказали. Я только понимала, что уеду на целое лето за границу, и думала, что это, наверное, как лагерь.

Мы будем жить все вместе, будем купаться в море. А вышло не так.

В день отъезда мы встали рано, в четыре утра. Позавтракали, взяли вещи, и нас отвезли в аэропорт. Я первый раз в жизни оказалась в аэропорту, и, увидев самолеты, уже не могла успокоиться – так было интересно, хотелось все посмотреть! Но мы ходили только колонной, потому что взрослые боялись нас потерять. Шутка ли! Огромная группа детей, двадцать девять человек, и за всеми нужно уследить. Сопровождали нас несколько педагогов. Александр Николаевич, который отвечал за дополнительные занятия, Татьяна Сергеевна, воспитатель, и еще Ольга, она, кажется, работала у нас в социальном отделе. Все вместе, опять колонной, сели в самолет – огромный «Боинг». Мне было ни капли не страшно, наоборот, так круто! Я носилась по всему салону как сумасшедшая. Воспитательница каждому из нас вложила в нагрудный кармашек бумажку с номером кресла, и мы знали, кто где сидит. Для меня это вообще был идеальный вариант: забыл, достал, посмотрел, и не надо никого ни о чем спрашивать. Посидел чуть-чуть, и можешь спокойно бегать дальше – куда мы из самолета денемся?

Наконец долетели. И все такие радостные, счастливые, особенно взрослые. Нас снова посадили в автобус и повезли. Мы доехали до какого-то здания – что-то вроде социального центра или дома культуры, – а я все высматривала из окна, где же лагерь? Поняла, что точно не здесь, и стала ждать, когда нас еще куда-то повезут. Но тут увидела итальянские семьи. Мы вышли из автобуса, моя «мама» с мужем и шестилетней дочкой подошла ко мне, они улыбаются во весь рот, радуются. А я не могу толком понять, что происходит. Киваю, улыбаюсь в ответ и жду, когда же поедем в лагерь. Мои итальянцы что-то весело тараторят. Как птицы. А дети мне переводят.

– Какая радость! Сейчас поедем домой. У нас дом под горой. На горе живут наши друзья, у них будет твоя одноклассница Олеся.

– Что? – Я не улавливала смысла даже по-русски.

– Здорово, правда? – Они улыбались еще шире. – Ну ладно, прощайся со всеми, поехали!

И тут до меня дошло – я должна ехать вот с этими чужими людьми. Неизвестно куда, непонятно зачем. Я впала в ступор и застыла как вкопанная. И представить себе не могла, что может такое быть! Что они сейчас возьмут и куда-то увезут меня. Одну. Без одноклассников. Без воспитателей. Без знакомых людей. Я была на грани истерики.

Стояла с выпученными глазами и наблюдала, как мои итальянские «родители» меняются в лице. Как оглядываются в поисках помощи русских взрослых. К нам подошла педагог, начала мне объяснять: «Соня, ты будешь жить в этой семье. Тебе понятно?» Нет! Я же до этого не знала, что будет так! Не могла даже представить себе. Меня никто не предупреждал. Внутри меня все затряслось от страха, колени стали дрожать. Я чувствовала, как сердце в панике бьется о ребра, словно ищет выход.

– Идем! – Итальянская «мама» протягивает мне руку, а я стою.

– Нам пора ехать, – говорит «отец».

А я не двигаюсь с места. В итоге они меня ведут, сажают в машину, и тут слезы начинают градом катиться из моих глаз. Так страшно. Я не хочу, не хочу одна! Они не понимают, что со мной, я и сама этого не понимаю. Они говорят: «Хватит плакать», – а я не могу. Они думают, я должна радоваться Италии, их семье, а у меня слезы градом оттого, что меня отсоединили от моих однокашников. Это они – моя семья. А здесь всё чужое, чужое!

Мы приехали в незнакомый дом в прибрежном городке. Здание было на две семьи – разные входы, с двух уровней. Наш был верхний. Я плохо помню, что было после того, как мы вошли. Ни планировка, ни мебель в памяти не остались. Я опять сидела и плакала, плакала. Из того вечера запомнила только футбол. Его мы смотрели всей семьей: болели, орали как сумасшедшие. Но Милан проиграл. И по этой причине, с расстройства, нас с их дочкой решили положить спать в шесть часов вечера. Я не понимала, за что меня опять наказали! Только в доме ребенка воспитатели делали так – если провинился, клали в кровать засветло и не разрешали вставать. Только-только я успокоилась после этой ужасной дороги, только вытерла слезы, и тут новая обида. Они закрыли все окна, закрыли двери, а сами куда-то ушли.

Мы с маленькой девочкой, которая не могла ни меня, ни себя защитить, остались в доме одни. Вокруг нас по спальне в кромешной темноте стали летать чудовища с окровавленными рваными ртами, бродила от стены к стене баба-яга, из-под кроватей выползли змеи. Я боялась закрыть глаза даже на секунду, таращила их в непроглядную черноту, потому что понимала – стоит сомкнуть веки, и нас сожрут! От страха, под грохот собственного сердца, которое поднялось к самому горлу, я описалась. Как обычно, это немного помогло – вокруг ног и спины стало расползаться спасительное тепло. Я успокоилась и смогла задремать.

А утром они пришли. «Мама» застыла перед моей кроватью с вытаращенными прожекторами-глазами и сморщенным в гармошку носом.

– Это что?! – спросила она по-итальянски, добавив красноречивых жестов, хотя и сама, конечно, знала ответ.

Я опустила глаза и покраснела.

– Почему ты не сказала, что писаешься в постель?! – Снова слова, сдобренные жестами, – удивительно, но я все понимала. – Тебе девять лет! Что это такое?

Ответить, конечно, я ничего не могла. Стояла, опустив голову, и думала: «А как я вам скажу? Жестами?» Они же понимали, что я не знаю их языка, не могу ничего объяснить. Взрослые люди! Это воспитатели должны были как-то предупредить – хорошо бы еще до того, как они вообще согласились взять меня в свою семью!

Конечно, я снова стала плакать. Ничего не могла с собой поделать. Даже объяснить не могла, из-за чего реву. С того первого утра так и повелось – я каждый день плакала. Просыпалась – плакала. Сидела за столом – плакала. Шла в туалет – плакала. Заливалась горючими слезами, не могла остановиться. Они впали в панику – не понимали, что происходит. И не могли уделить мне время, чтобы попробовать разобраться в том, что я чувствую. Не пытались выяснить, что мне на самом деле страшно и плохо. Что я боюсь их еды, их дома, их самих – чужих и непонятных. Они оставляли нас с дочкой одних, а сами уходили на работу. И я сходила с ума в пустом неприветливом доме, с чужим ребенком, который не говорил на моем языке. Все кончилось тем, что они позвонили какому-то русскому дядьке, своему знакомому, и он приехал со мной разбираться.

– Почему ты плохо себя ведешь? – спросил он.

Я молчу. Только плачу. Он задал свой дурацкий вопрос раз сто, вот только безрезультатно.

– Госссподи! – Я видела, что он страшно злится, и закрывалась еще сильнее. – Люди заплатили за тебя огромные деньги. Сделали доброе дело – привезли сиротку в Италию. Жертвуют всем: временем, силами, даже родным ребенком. А тебе что надо-то? – не выдержал он. – Чего ты хочешь?!

– Я хочу к Олесе, – прошептала я.

Мне нужен был кто-то знакомый рядом. Кто-то, с кем я могла бы поговорить.

– Ты правда этого хочешь? – переспросил он. – Тебе твоя Олеся в детдоме еще надоест.

– Да, – уверенно кинула я, – хочу.

– Но мы не привезем сюда Олесю! – возмутился он.

И я снова в слезы. Я рыдала много часов подряд и даже встать потом не могла от потери сил. Выплакала все, что было у меня внутри.

Через пару дней они все-таки привезли ко мне Олесю. Я обрадовалась безумно. Мы болтали без умолку много часов подряд. В тот вечер я поняла, какое это счастье говорить на своем родном языке и так, чтобы тебя понимали. Тем вечером, первый раз за все время в этой Италии, мне было по-настоящему хорошо.

Глава 18

Семья

Но Олеся скоро уехала – ее увезли в ту семью, где она жила. А я опять заплакала и продолжала плакать с утра до вечера каждый день.

Только став взрослой, я осознала, что именно со мной происходило в Италии. На меня давил неподъемный груз: я как будто слышала их мечты о веселой русской девочке-сироте, которая была бы всем довольна, каждую минуту говорила «Грацие» и боготворила своих благодетелей. Но я так не могла. Они являлись чужими, мне было физически плохо от их ожиданий, которые давили на меня могильной плитой. Мне было нечего им предложить.

Атмосфера накалялась. Однажды вечером в выходной день мы куда-то поехали все вместе. Сели в машину – отец за рулем, мать рядом, мы с дочкой сзади – и отправились в путь. Я никого не трогала, пыталась слиться с обивкой кресла в машине, чтобы меня перестали замечать. А их неугомонная девочка, наоборот, елозила и пыталась привлечь к себе всеобщее внимание. Поскольку до родителей ей было не дотянуться, она доставала меня: ложилась поперек кресел и закидывала свои противные ноги ко мне на колени. Холодные, как рыбины, лодыжки моментально подняли во мне волну бешенства. Никто не позволял этой малявке обращаться со мной как с подставкой для ног, даже не спросив разрешения! Я и без того ненавидела любые прикосновения людей, почти все они вызывали из глубины души отвращение – заодно с воспоминаниями о жестоких руках воспитательниц в доме ребенка. А тут еще этот холод! Меня трясло от ярости.

– Убери с меня ноги, – показала я жестами.

Ноль реакции. Как будто слепая. Недолго думая, я сама скинула ее лодыжки с моих коленей. Только избалованная малявка и не подумала слушаться старших: ехидно улыбнулась и снова закинула на меня ноги.

– Убери! – Я снова показала жестами и для понимания отпихнула ее.

Она как ни в чем не бывало только устроилась поудобнее.

– Убери!!! – Я махнула рукой: невозможно уже не понять!

Но девчонка назло мне делала по-своему. Забрасывала на меня ноги снова и снова, при этом смотрела мне в глаза и улыбалась. Каждый раз ее ледяные лодыжки вызывали во мне приступ отвращения. Я терпела, стиснув зубы. Скидывала ее ноги. Скидывала. И скидывала. Через несколько минут такой безмолвной борьбы она пропищала что-то жалобно своему отцу. Конечно, она говорила по-итальянски, а я-то ничего не могла сказать! Неожиданно он обернулся со звериным оскалом на перекошенном лице и огромной тяжелой ладонью врезал мне по бедру. Я даже не успела понять, что происходит, – только увидела пылающий красный след на своей коже. И это благодарность за то, что я терпела из последних сил, не трогала его мерзкую тупую дочь?!

Удар с корнем вырвал ростки спокойствия, которые с таким трудом удерживались во мне. Я заплакала горько и безнадежно. Именно в тот момент я поняла, что не хочу больше жить ни в одной чужой семье! Никогда и ни в какой! Хватит с меня мучений. Тупых ожиданий. Глупых обид. Если семьи вот так вот ведут себя с детьми, мне они не нужны!

Я никому до сих пор не рассказала об унизительном ударе в машине. Ни тогда, ни потом. Только плакала, плакала, плакала целыми днями, не переставая. А когда меня спрашивали, почему я плачу, то отвечала: «Просто так». Я не могла и не хотела никому ничего объяснять. Они же взрослые. Они должны все сами понять! Неужели не видят, как я мучаюсь, как мне тяжело оттого, что меня пытаются насильно, как рыбу, вытащить на поверхность? Извлечь из единственного знакомого мне мира детского дома, в котором я умела жить? Семья – это другая вселенная, у них там свои законы и правила. А самое страшное: они чего-то хотят от ребенка и не могут нормально объяснить, что им надо. Чтобы я улыбалась? Чтобы я веселилась? Чтобы бросалась к ним с объятиями и поцелуями? Я не могла! Я ничего этого не умела! Мне было плохо от их ожиданий, и я никому не могла объяснить своих чувств.

Сегодня я понимаю, что итальянцы были не так уж и виноваты. Вероятно, они даже не были черствыми и злыми людьми, как мне тогда казалось. Просто я вызывала в них бесконтрольные приступы ярости, потому что не могла встроиться в привычный шаблон ребенка.

Я была не такой, как они. Не такой, как другие итальянские дети, которых с рождения тискали и целовали все кому не лень; осыпали комплиментами. Мне с младенчества достались другие «ласки», после которых я вздрагивала и впадала в панику от любых прикосновений. То, что было приятно и привычно им, поднимало во мне волну отвращения. И при этом ни их, ни меня никто не подготовил! Итальянцы ждали в гости обычного ребенка, а не продукт системы. Я ехала в привычный детский лагерь, а не на другую планету под странным названием «семья». Они не получили жизнерадостной девочки, ошалевшей от счастья в Италии. Я не получила привычного уклада жизни – с подъемами в одно и то же время, жестким расписанием, знакомой казенной едой и возможностью незамеченной растворяться в толпе детей. Их не учили в Школе приемных родителей, не рассказывали про естественные трудности адаптации, не говорили о том, что у травмированных в раннем возрасте детей может быть странное поведение. Объяснить его можно, только если знаешь историю ребенка, если понимаешь, что он уже в младенчестве пережил насилие. Они даже представить себе такого не могли! Не понимали, что обычные для них ситуации – случайные прикосновения, кромешная тьма в спальне, громкие разговоры – вызывают во мне неконтролируемый страх. А за ним следуют слезы, уход в себя, недержание мочи. Им не хватало чуткости или опыта, чтобы это понять. И они сами, по сути, стали жертвами моих эмоций – попали под колеса страха, тревоги и безнадежности.

Взрослые порой видят абсолютное благо в том, что, как ад, переживает ребенок. Лето в Италии, солнце, развлечения, море. Жуткий стресс, кошмары, видения и отсутствие безопасности. В итальянском доме я ничего не могла. Не могла подстелить сама себе клеенку, не могла втихаря постирать мокрую простыню, не могла остаться незамеченной, не могла говорить на родном языке. Они думали, что я неблагодарная. Я считала их злыми. И все мы были в ужасе оттого, что нас забросили на чужую планету и оставили там без помощи.

Жизнь в той семье закончилась очень быстро: мои «родители» позвонили руководителям группы и попросили их всех приехать.

– Разбирайтесь с ней, мы ничего не понимаем, – испуганно тараторила в трубку телефона моя итальянская «мама», – у нас тут полный кошмар! Кромешный ад!

Приехали все сопровождающие разом: собрался консилиум. Татьяна Сергеевна, Александр Николаевич и Ольга уселись в рядок на диван и стали смотреть на меня с укором. Я портила лето не только семье, в которую попала, но и им. Ставила под угрозу проект. Кто захочет брать таких вот русских сирот?

– Мы тебя привезли в Италию, – завел уже знакомую мне песню Александр Николаевич, – а ты нас позоришь перед всеми. Ты понимаешь, что теперь будут думать о русских детях? О нашей стране?

Я молчала. Мне нечего было сказать. Да этого и не предполагалось.

– Такое недопустимо, – включилась Ольга, – ты плохо себя ведешь! Обижаешь людей, которые приняли тебя, пустили в свой дом.

– Что тебе здесь не нравится? – Татьяна Сергеевна первой прекратила читать морали и заглянула мне в глаза.

– Я не знаю, – прошептала я, – просто не нравится.

– Что именно?

– Все…

– Ты точно не хочешь остаться с ними до конца лета? – Она буровила меня взглядом.

– Не хочу.

– Что конкретно тебя здесь напрягает? – Александр Николаевич все больше раздражался: везти меня раньше времени в Москву никому не улыбалось. Да и денег на дополнительные расходы не было.

Я не могла объяснить. Мне и правда все там не нравилось. Кромешная тьма по ночам. Слишком тесное соседство с избалованной хозяйской дочкой. Мы спали так близко в комнате, что, казалось, на одной кровати. Тиканье часов, из-за которых я не могла уснуть. Громкие голоса, которые заставляли сжиматься в комок и ждать удара… Миллион мелочей, я бы не смогла перечислить их все. Меня просто раздражал этот дом, эти люди, этот ребенок. Я не могла найти подхода ни к девочке, ни к ее родителям, я просто не понимала, чего они от меня хотят. Только ждут какого-то «хорошего поведения», и все! А сами не понимают, что нужно хотя бы попытаться что-то мне объяснить.

Я молчала и смотрела в пол. Наконец, Александр Николаевич потерял терпение:

– Все! Собирай свои манатки! Едем в Чиканью.

В этом городе тоже жили в семьях дети из нашего детского дома. Там же остановились сами сопровождающие. Я молча собралась. Ни «мама», ни «папа», ни тем более «сестра» меня не удерживали. Они не пытались заглядывать в глаза, не говорили привычных для прощания слов. По их лицам я видела, что у всех троих крутится в голове только одна-единственная мысль: «Лишь бы не передумала».

По дороге я узнала, что мне предстоит пока спать в комнате Татьяны Сергеевны, в гостинице при церкви. Больше девать меня некуда. Спасибо, хоть она, добрая душа, согласилась меня приютить. Я ревела всю дорогу, уже сама не знала отчего. Чувствовала себя во всем виноватой – столько взрослых людей всполошилось из-за меня – и при этом не понимала, что я сделала не так. Только поздним вечером в отеле я перестала плакать. Когда все ушли и остались только мы с Татьяной Сергеевной, мне стало намного лучше.

– Соня, я тебя очень прошу, – сказала она, – наша кровать должна остаться сухой. Положить тебя отдельно, как видишь, здесь некуда.

Мне очень не хотелось ее подвести. И я всю ночь следила за собой, старалась не засыпать. Дремала немного – перед глазами плыли разноцветные пятна и неясные картины – потом вставала, шла в туалет. Опять ложилась, старалась не сопеть и не крутиться, через полчаса снова шла в туалет. Так прошли две ночи подряд. Я очень хорошо себя контролировала, ни разу не описалась, зато по завершении двух суток фактически падала с ног от усталости: так сильно хотела спать.

За это время меня успели познакомить с новой семьей, в которой уже жили русские дети. У них был Денис, я давно знала его по детскому дому. Еще там была русская девочка Таня, которую итальянцы забрали навсегда. Удочерили. Денис и Таня оказались намного старше меня, но это и хорошо. Мне больше не нужно было никаких малышей, они сводили меня с ума. А еще у них было четверо родных детей – самая младшая девочка оказалась моей ровесницей. Маму звали Ванда, а папу – Марко. И по соседству с их домом тоже жила семья, в которой были русские дети. Очень много русских подростков. Только убедившись, что не останусь больше один на один с итальянцами, я вздохнула с облегчением. И когда меня спросили: «Ты поедешь к ним жить до конца лета?», я уверенно ответила: «Поеду».

Правда, в первое же утро в новой семье со мной случилось все то же самое: я проснулась в мокрой кровати. И приготовилась к скандалу.

– Почему ты не предупредила, что писаешь в постель? – Ванда удивленно приподняла одну бровь.

А как я предупрежу? Как такое вообще можно сказать? Неужели взрослые сами не понимают, что это стыдно. Что мой дурацкий энурез меня постоянно позорит. Я могла бы тихонько, на ушко, сказать одной только Ванде, но я ведь по-итальянски не могу. Дениса надо было предупредить? Или Таню? Но это же невозможно себе представить! Странно, что и на этот раз руководители группы новым родителям ничего не сказали, хотя прекрасно все знали обо мне. Татьяна Сергеевна спала со мной в одной постели. Почему она не предупредила Ванду сама, ну почему?! И теперь все начнется с самого начала.

– Ты что, не могла заранее сказать?! – снова спросила Ванда, подтягивая на лоб и вторую бровь.

Я стою молчу. Краснею. А Таня еще переводит, как будто я и так не понимаю, о чем речь.

– Я стеснялась, – едва слышно прошептала я, – поэтому и не могла сказать.

Таня перевела Ванде мои слова. И она – вот чудо! – сразу же успокоилась, даже брови встали на место, а лоб разгладился. Она улыбнулась мне:

– Не расстраивайся. – Я ушам своим не могла поверить: Ванда не ругала меня, не кричала, а, наоборот, утешала: – Решим этот вопрос. Зайди вечером ко мне в комнату, хорошо?

С того дня я каждый вечер перед сном приходила к Ванде, и она надевала мне памперс. А потом всегда искренне радовалась утром, если я просыпалась сухой.

– Ооооо, Соня, ты сухая! Молодчинка!

Ее лицо озарялось счастливой улыбкой. Она обнимала меня и хвалила, а я неумело прижималась к ее груди щекой и думала, неужели ей это действительно важно? Неужели не все равно, сухая я или нет? Разве кому-то во всем мире есть до этого дело? Для меня это был настоящий шок.

Мне понравились Ванда и Марко. Они спокойно реагировали на проделки детей, не орали, а старались понять, почему так вышло. Давали нам столько ответственности и свободы, сколько мы сами могли на себя взять. Никто в доме не стоял целыми днями над моей душой, и никто не запирал на ночь в темной спальне. Они чувствовали не только меня, но каждого ребенка, понимали, что может радовать, а что – огорчать. И мне было с ними по-настоящему хорошо. Много детей, шум, суета. Привычная обстановка.

Жили мы в трехэтажном доме. На первом этаже был их собственный магазин. На третьем – спальни. А на втором – комнаты бабушки и дедушки, а еще столовая, в которой мы все собирались за обедом. Ванда и Марко не только управляли магазином, но и сами стояли в нем за прилавком. Хотя продавщицы у них тоже были – добренькие такие веселые тетеньки, которые все время угощали меня конфетами. Я быстро выучила, в какое время привозят товар, и всегда к этому часу была тут как тут. Знала – будут фасовать конфеты. Втайне от Ванды – она мне много сладкого не разрешала, говорила, что зубы будут болеть, – они отсыпали мне пригоршнями сладости.

– Грацие!

Я, счастливая, убегала с добычей. Уже тогда понимала итальянскую речь, знала почти все слова, только сама говорить стеснялась. А еще тем летом я научилась кататься на велосипеде. Первый раз в жизни села на велосипед в семье Ванды и Марко и практически не слезала с него до тех пор, пока не смогла ездить сама. Никто меня не держал, не бегал за мной, как показывают в фильмах: родители были заняты в магазине, у детей находились свои дела. Я училась одна.

– Можно покататься? – спросила я жестами, когда в первый раз увидела во дворе велосипед.

– А ты умеешь? – забеспокоилась Ванда.

Я уверенно кивнула и пошла осваивать непростую науку. Старательно держала равновесие, крутила педали, падала, разбивала колени, снова садилась в седло и опять пыталась кататься. Даже не заплакала ни разу. Упала, встала, пошла к Ванде лечить раны – и снова на велосипед. Она мазала мне коленки какой-то местной зеленкой, дула на них, и раны быстро затягивались корочкой, а я снова раздирала об асфальт только-только затянувшиеся болячки. Ванда расстраивалась, но не ругала – видимо, понимала, что для меня это важно: я поставила цель и уже не откажусь от нее. В итоге всех этих упражнений с велосипедом я просто не могла сгибать ноги – колени превратились в сплошную незаживающую болячку, – и тогда Марко носил меня на руках на третий этаж.

Когда он в первый раз взял меня на руки, я просто обалдела – оказывается, это так здорово! Я плыла высоко над полом, а он бережно нес меня вверх по лестнице. Сумасшедшее чувство. Может, я и падала потом уже только для того, чтобы колени не заживали? Чтобы Ванда дула на них, а Марко брал меня на руки? Я не знаю.

Конечно, я понимала, что не смогу остаться надолго в этой большой дружной семье, не смогу проводить с ними каждое лето. У них было четверо своих детей. Была Таня. И даже Денис. Зачем еще я? Они мне нравились, но все равно я чувствовала себя лишней в их доме. Там и без меня всем было хорошо.

По выходным мы часто все вместе ходили на городские праздники – их в Чиканье было великое множество. На улицах накрывали огромные столы, готовили пиццу, пасту. Все знали друг друга в этом маленьком городке, все здоровались. И я тоже быстро начала узнавать людей в лицо и каждому при встрече кивала.

Чаще других на этих уличных гуляниях я сталкивалась почему-то с одной семьей – мама, папа и маленький сын, ему было года четыре. Невысокая женщина с темными волосами, собранными в хвост, вертлявый мальчишка с темно-русой макушкой и худой высокий, как жердь, мужчина. Они показались мне добрыми людьми, и мне хотелось делать для них что-то приятное. Был в моих действиях расчет или нет, я не знаю. Я точно не думала об этом. Но если выигрывала какую-нибудь игрушку в лотерее, то шла и дарила ее мальчику. Если мне давали дома монетку – пару евро – я на нее покупала какую-нибудь ерунду и тоже несла им в подарок. Они удивлялись, почему я это делаю. А я ничего не могла объяснить, не понимала сама.

На последнем перед отъездом празднике мы были вместе с Ольгой, нашей сопровождающей, и снова встретили эту семью. Поздоровались.

– А кто это такие? – спросила меня Ольга шепотом, когда мы отошли.

– Не знаю, – пожала плечами я, – просто встречаю их здесь каждый раз.

– Вы уже общались с ними?

– Не особо, – я растерянно улыбнулась, – мне нравится что-нибудь им дарить.

– А ты не хочешь к ним в семью? – вдруг спохватилась Ольга.

– Не знаю.

– Ну, ты бы хотела попробовать?

– Да…

И Ольга вдруг схватила меня за руку, вернулась к ним и заговорила:

– У нас есть очень интересный проект. – Она долго объясняла им, что к чему, описывала все прелести доброго дела, а потом прямолинейно спросила: – Не хотите на следующий год, на лето, взять к себе девочку?

Они что-то ответили. Она опять их о чем-то спросила. А потом еще долго рассказывала о сиротах, о детских домах в России. Мне давно стало скучно – я в принципе никогда не слушала взрослых разговоров, даже если они решали мою судьбу: все равно же от меня ничего не зависит. И только потом, когда мы снова остались наедине, Ольга спросила: «Так ты поедешь к ним в семью на следующий год? Они пригласили!» И я ответила: «Да, поеду».

В Москву я улетала спокойно. Не было сожалений или огромного желания остаться. Я понимала, что это невозможно и надо возвращаться в детский дом. Какой смысл мечтать? Я ничего не решаю. Собрала чемодан, и завтра машина отвезет меня в аэропорт. Какие здесь могут быть вопросы?

После того лета я еще долго писала Марко и Ванде наивные детские письма, уже сама толком не помню о чем. Мне хотелось что-нибудь подарить им в благодарность за доброту, но ничего ценного у меня не было. И постепенно я перестала писать – стало стыдно. А они несколько раз присылали мне через Дениса подарки – тот самый большой рюкзак с красивыми тетрадками и ежедневниками, которые Людмила Ивановна у меня отобрала. А потом еще пятьдесят евро, на которые с помощью воспитательницы я купила себе часы. Очень долго носила их.

Марко и Ванду я не забыла до сих пор. Всегда с теплом вспоминаю их гостеприимство и открытость. Благодаря этим людям я поняла, что значит дом и семья. И начала мечтать о собственном будущем.

Глава 19

Фальшивка

На следующее лето никто из нашего детского дома не поехал в Италию – были какие-то проблемы с проектом. Наверное, не нашли на него денег, я не знаю. Всех нас, детдомовских «итальянцев», в последний момент собрали и, ничего не объяснив, отправили в летний лагерь. А через два года про ту семью, где были мама, папа и маленький мальчик, я уже и думать забыла. Да и на Италию не рассчитывала – за два года где-то провинилась, кого-то не послушалась, к тому же никогда не выступала на сцене, а в Италию ездили в основном те, кто хорошо танцевал, пел и вообще мог себя преподнести. Я не могла. Только хорошо училась, и все. Но в итоге оказалось, что и этого достаточно. После четвертого класса я во второй раз поехала на лето в Италию.

Из аэропорта нас привезли в тот же самый социальный центр. Еще из окна автобуса я стала махать какой-то смутно знакомой женщине – она встречала нас вместе с остальными. И, оказалось, угадала! Это была она, Даниела. Не без труда, но я вспомнила, что отца семейства звали Анджело, а их мальчишку – Джакомо.

И практически на выходе из автобуса началась новая череда нервных срывов. Меня сразу выдернули из группы, не дали даже нормально попрощаться, посадили в машину и повезли. Я в слезы. Они – нервничать. Зато на этот раз люди были лучше осведомлены: мы поехали куда-то в горы за клеенкой в мою кровать. И на серпантине меня страшно укачало. Пока ехали к дому, я продолжала плакать: чуть-чуть успокоюсь, а потом – раз – и опять нахлынет. Я видела по выражению лица женщины, что ее это страшно бесит. Она не понимала, почему я реву вместо того, чтобы радоваться. Они два года ждали меня. Кучу сил потратили, бумаги нужные сделали, деньги заплатили за то, чтобы я могла прилететь. А я вместо того, чтобы улыбаться им от счастья и благодарности, слезы лью. Все как в кошмарном сне начиналось сначала…

К тому моменту, как мы подъехали к дому, я изо всех сил старалась держать себя в руках. Даже вытерла слезы. Но стоило им открыть дверцу машины, как на меня вдруг набросилось лохматое чудовище. Я завизжала от страха и запрыгнула обратно, в салон. Меня никто не предупреждал о том, что у них есть собака, да еще такая огромная! Я перепугалась до смерти. Пока ее оттащили, успела разреветься. У нас в дошкольном отделении были страшные ситуации, когда на территорию детского дома пробирались бездомные псы – видимо, пролазили через какую-то дырку в заборе – и нападали на нас. Мою подругу Ленку однажды чуть не покусали. И никакого другого опыта общения с этими «друзьями человека» у меня просто не было. Понятно, что у нас в детском доме не было своих питомцев – ни кошек, ни собак, ни морских свинок – никого.

Животные были для меня существами с другой планеты, от которых неизвестно чего ждать.

С большим трудом Даниела вытащила меня из машины и завела в дом, пока ее муж держал за ошейник собаку. У этой семьи тоже был трехэтажный дом. Но совсем не такой, как у Ванды и Марко, а какой-то бестолковый. На первом этаже у них были хозяйственные помещения, на втором – гостиная и кухня, а на третьем – всего две спальни и рядом кладовая. Спать меня почему-то положили в одной кровати с Даниелой, и для меня это было дикостью. Еще больше шокировала разве что ее манера разгуливать по дому в полупрозрачной майке без лифчика. Как ей только не стыдно было перед Анджело и Джакомо?! Они же мужчины. Их, кстати, расселили по разным комнатам – мужик спал в гостиной на диване, а мальчик в своей спальне.

После приезда я все ждала, когда же будут подарки. Думала, как только приеду в Италию, мне сразу много-много всего подарят. Всем детям из нашего детского дома итальянцы дарили целые чемоданы одежды, крутые красивые вещи, навороченные электронные игрушки. И я тоже всего этого ждала. А мне в итоге вручили десять пар трусов и куклу Барби. Ни в какие куклы я не играла – детские страхи переросли в отвращение – и понятия не имела, что с ней делать. Да и какие игрушки, когда мне уже одиннадцать лет, я вся такая взрослая и серьезная? Я стояла, смотрела на эту Барби и искренне не понимала, зачем она мне.

– Тебе что, не нравится? – Даниела надула губы.

Я так и не придумала, что ей ответить, чтобы она поняла. Просто молчала. А куклу они, обидевшись на меня, отдали своему шестилетнему сыну, который заинтересовался ею куда больше. Тут же стянул с бедняжки платье, трусы и стал изучать, как там все устроено. Посмотрел все, что хотел, потом снова надел на Барби одежду и взял ее с собой на прогулку. Ну, хоть кому-то она пригодилась! А мне через несколько дней привезли книгу о Гарри Поттере – «Узник Азкабана». Нашли единственный в городе магазин с русскими книгами и купили одну для меня. Тогда я первый раз в жизни самостоятельно прочитала книгу – не по школьной программе, не потому, что заставляли, а так, от нечего делать. До конца лета замусолила ее до дыр, прочитала шесть раз.

Так и шла моя итальянская жизнь. Каждое утро, как и в самой первой семье, начиналось со слез. Я даже просыпалась оттого, что уже плакала. Ревела из-за стресса и от обиды.

Через десять дней Даниела собрала в доме консилиум. И опять тот же День сурка!

– Что тебе здесь не нравится?

– Не знаю.

– Должны быть причины! Подумай.

Я не могла рассказать нормально, что со мной происходит, потому что боялась до смерти всех этих взрослых людей.

Обычные для многих детей вещи казались мне непреодолимым препятствием. Я просто не умела общаться с людьми, меня душил страх.

Как я могла объяснить, что не могу спать с чужой теткой в одной постели? Что мне противно любое случайное прикосновение к ней, как и ко всем остальным? Что я не могу никого ни о чем просить? Не умею вслух говорить о своих потребностях, даже самых простых! Если я хочу пить, то сижу молча и жду, когда мне дадут чашку с водой. Если хочу есть, жду, когда передо мной поставят тарелку. Если дома мне скучно, жду, когда поведут на улицу. Но порядки-то непонятные, и я каждый раз не понимаю, сколько еще нужно ждать! Во сколько у них завтрак, обед и ужин? Когда можно пить, а когда гулять? Это в детском доме четкое расписание: даже если небо упадет на землю, в час дня у сирот будет обед, а в шесть вечера – ужин. А в семье? Мне казалось, что там царит хаос. Я привыкла к системе, я умела жить только в ней.

После консилиума Анджело и Даниела поняли как минимум одну важную вещь – мне нужна отдельная комната. Они разобрали свою кладовку, нашли раскладушку, вместо матраса постелили на нее сложенное вдвое одеяло и таким образом решили вопрос. С этого дня мне стало гораздо легче. Но временами меня все равно еще бросало в слезы, и я по-прежнему ни о чем не разговаривала с людьми, у которых жила. По этому поводу они еще раз созвали консилиум! Ооох! Все началось сначала.

– Почему ты плохо себя ведешь?

– Я хорошо себя веду.

– Ты все время плачешь.

– Уже не плачу.

– Ты с ними не разговариваешь, а они хотят с тобой поговорить. И еще Даниела жалуется, что ты совсем не помогаешь ей по хозяйству.

– А как я должна помогать?

Я сидела и не могла понять, что им всем от меня нужно! В той комнате, где меня поселили, я всегда поддерживаю порядок. Чего еще от меня хотят?! Нужно приходить в их комнаты и там тоже убирать?

– Соня, – Татьяна Сергеевна попыталась объяснить, – ты должна помогать маме на кухне.

Маме?! Она мне не мать! И как, интересно, я могу помогать, если даже не знаю, что такое кухня в доме? Это место совсем не похоже на то, что я видела в детском доме.

– Что мне нужно делать? – пролепетала я, лишь бы скорее закончить тупой разговор.

– Ты должна пойти и сорвать с грядки огурец, помидор, собрать листовой салат, – объяснила Татьяна Сергеевна, – сделать то, что мама скажет.

– Хорошо.

– Ты точно все поняла?

– Да, поняла! – огрызнулась я.

Я надеялась, что они сразу после этого уедут, но взрослые все сидели и говорили между собой по-итальянски. Я их прекрасно понимала. Говорили они обо мне, о том, что я неблагодарная и ничего не ценю. А как я должна ценить?

Я не умела испытывать чувства и тем более их выражать. Не умела общаться с людьми и могла существовать только внутри себя.

– Давай сходи за помидорами, – распорядилась Даниела, как только за гостями закрылась дверь.

Я пошла в огород. Ходила-ходила, искала до умопомрачения. Я же раньше только в тарелке видела помидоры – в детском доме их давали нам по четвертинке. Как я должна была догадаться, как выглядит целый помидор, да еще и на ветке? Голову сломать можно! Но, наконец, нашла. И только в тот день, первый раз в жизни, обратила внимание на то, как они растут. До этого проходила мимо них и даже не представляла, что эти зеленые пахучие кусты с красными плодами как-то там связаны с едой. Все остальные овощи я тоже не видела никогда на грядках. Вот если бы Даниела провела меня один раз по своему огороду и все показала: «Вот помидоры так растут, их надо собирать так, выбирать такие. А это салат, его вот так вот рвут. Огурцы ищи под листиками, они прячутся там». Вот это было бы совершенно другое дело! Я бы, конечно, научилась, все поняла и помогала ей с удовольствием. Но она, наверное, думала, что я и так все это знаю. Просто капризничаю и ленюсь. Как будто ребенок рождается с готовыми представлениями о мире. Как будто, живя в городском детдоме, я могла видеть овощи-фрукты в огородах и садах. Я нарвала ей томатов как смогла, принесла, и она говорит: «Давай теперь пиццу готовить». И я про себя такая: «Блииин, это еще как?» Но кивнула, конечно, – надоели тупые комиссии каждую неделю и дурацкие придирки. Решила, что буду сразу на все соглашаться.

Даниела сама замесила тесто, сама раскатала его, сама уложила на противень, а я только сверху чем-то помазала, и все. Думаю: «Ну, ладно, если хотите, так можно и помогать». Хотя я все равно чувствовала себя бесполезной. Это была не помощь, а какая-то глупая игра. Потом, после ужина, она доверила мне поставить стаканы, тарелки, ложки и вилки в посудомоечную машину. И то я не сразу попала всеми этими предметами куда надо – для меня тот агрегат был чем-то сверхъестественным. А она-то думала, я все должна уметь по хозяйству, девочка все-таки. Одиннадцать лет как-никак.

Ей даже в голову не приходило, что быт сирот был совсем другим. Что у меня никогда в жизни не было мамы, которая могла бы научить меня элементарным вещам.

Даниела продолжала находить самые странные и провальные способы наладить со мной контакт. Однажды она взялась готовить суп только потому, что Александр Николаевич ей сказал: «В России люди каждый день едят суп». Она собрала все овощи, которые росли у нее на грядках, и после этого три дня что-то резала, тушила, варила в кастрюле. Измельчала, жарила, взбивала блендером. Старалась и мучилась трое суток! Все это время я наблюдала за ней и не понимала, что вообще творится. А потом она торжественно произнесла: «Я приготовила суп». Ага, суп. До этого никогда супов в их доме не было, в Италии их в принципе почти не едят. И вот она усадила всех за стол, постелила скатерть, положила приборы. И наступил торжественный момент. Она вынесла нечто. В белой тарелке колыхалось что-то страшное, цвета болотной жижи. Такое я видела только в детских фильмах про бабу-ягу, где она готовила зелье. Цвет и консистенция – не отличить. Даниела вспыхнула, как свечка, заметив выражение моего лица. Видимо, оно было слишком красноречиво!

– Вы едите это в Москве каждый день, поэтому ты сегодня тоже все съешь!

На варево невозможно было смотреть! Болотная тина, блевотина. И при этом пытаются убедить меня в том, что я всегда это ем и это вкусно?!

– Ешь. – В ее глазах читалось сразу столько чувств, что я не могла их понять. – Если съешь все до последней капли, следующим летом снова приедешь к нам в Италию!

Это был удар ниже пояса. Единственный аргумент, который мог меня убедить. Да, здесь не сахар, конечно, но лучше уж сюда, чем в лагерь с маньяками. Я взяла ложку и стала есть. Давилась, глотала мерзкую жижу пополам со слезами. Заедала «суп» хлебом – тоннами хлеба. Запивала водой. И после еще выпила целый стакан воды, чтобы хоть как-то заглушить отвратительный вкус. Муж и ребенок Даниелы, кстати, спокойно со своими порциями справились – то ли привыкли к такому, то ли боялись ей возразить.

А очень скоро, несмотря на съеденный суп, стало ясно, что это мое первое и последнее лето в их доме.

Однажды я решила покататься на велосипеде. У них был только взрослый – я спросила разрешения, и понеслось! Уже не падала, как два года назад, и в целом все хорошо получалось. И вот после очередных катаний я поставила велосипед у входа, причем проверила, что он хорошо стоит, не шатается. Но только я отошла на пару шагов, и велосипед – бааааамц! – упал на машину. Я даже не успела понять, что произошло, но Анджело уже подскочил и начал на меня орать. От страха половину слов я вообще не понимала, только сжималась в комок и жмурилась. Следом из дома вылетела Даниела и тоже стала орать – только не на меня, а на него за то, что он орет. Я слышала и понимала лишь обрывки.

– Как ты можешь?! Замолчи! Она только вылезла из своей депрессии! А ты опять все портишь!

Он переключился с меня на нее и стал орать еще громче. Она кричала в ответ. Тут выбежал их сын, попался под горячую руку – влетело заодно и ему. Он разревелся, убежал в дом, отец за ним. Мать за ними. А я думаю: «Что я буду стоять на улице, пойду тоже в дом. Это же я виновата. Пусть ругают меня, а не друг друга». Но только я вошла в гостиную, как Даниела – фьююююююю! – запустила в меня со всей силы кроссовками. Они больно ударили меня и отлетели. Уже во второй семье на меня поднимают руку! Сейчас-то я не сделала ничего плохого – пошла в дом за ними, все. Я убежала и спряталась: забилась в самый дальний темный угол. Так было всегда – не выносила криков, как только слышала их, замирала и пряталась. Срабатывал внутренний щелчок, и я уходила глубоко внутрь себя – туда, где безопасно, – переставала слышать, не могла ни на что реагировать. Потом я услышала, что они начали искать меня по всей территории. Нашли. Мы все поднялись на второй этаж, они усадили меня на диван и извинились за то, что вышли из себя и так сильно на меня накричали. Объяснили, что я сделала очень плохо, потому что ремонт машины стоит больших денег и эту вмятину придется теперь исправлять в автосервисе. Но я-то всего этого не знала! Вообще не понимала, из-за чего такой шум! Думала, все исправляется очень легко – одним нажатием пальца. Как вмятина на пластиковой бутылке. И мне было обидно, что из-за такой ерунды они так страшно кричат.

В итоге об этой вмятине на машине узнал весь город. Куда бы я ни пришла, в меня всюду тыкали пальцем: «Вооон та девочка, которая помяла машину». У них в Италии сарафанное радио работает как часы.

– Это же ты машину помяла, да? – Случайные прохожие делали страшные глаза.

– Да, – отвечала я, опустив голову.

– Нехорошооо, – сокрушались незнакомые люди.

С того момента я больше не желала выползать из своей раковины. Нам всем было плохо в одном доме, каждый страдал по-своему. И только раз в неделю атмосфера немного менялась – мы выезжали на море. Приезжали на целый день на каменистый пляж, где был природный лягушатник, огражденный огромными камнями. И я вырывалась на волю – никакие силы не могли вытащить меня из воды. Я придумывала себе кучу занятий: прыгала с камней, смотрела на дно сквозь маску, ловила крабиков, собирала ракушки, искала красивые камни. Время от времени выбегала и притаскивала им на подстилку свою добычу. Они замирали в надежде, что я останусь, посижу хотя бы немного, обсохну. Но я убегала и снова ныряла. Чувствовала: вот море – это мое! Только в нем я не лишняя. Конечно, когда мы приезжали домой, мне все высказывали, что нужно знать меру. Но я не особо-то реагировала. Кто они мне? Никто.

Единственным человеком, к которому я успела привязаться в Италии, – была бабушка, мама Даниелы. Нас с мальчишкой иногда отвозили к ней с ночевкой. И вот в первую же ночь она положила меня в детскую кроватку, накрыла одеялом и села рядом. Это было удивительно непривычно и в то же время приятно. От ее морщинистых рук пахло лавандой и еще какими-то травами, названий которых я не знала. Она ничего не говорила, просто сидела и улыбалась. Я видела ее спокойную мягкую улыбку и чувствовала защиту взрослого человека – эта бабушка казалась мне самым надежным и верным стражем. Мне стало так тепло, так хорошо, что я расслабилась и быстро уснула. Такое было со мной впервые – чтобы человек сидел со мной рядом, укладывал меня спать. И потом, каждый раз, когда я у нее ночевала, я ждала этих волшебных моментов. И бабушка не подводила, делала так всегда – сидела на моей кровати и ждала, пока я засну.

Однажды, это было ближе к концу лета, родители привезли меня к бабушке, а сами уехали. Только потом, в Москве, я узнала, что они были на общем собрании семей, на котором подписывались согласия и договоры на следующий год. Все приезжали с детьми, веселились, общались. Но Даниела сказала всем, что я заболела и поэтому не могу приехать. Конечно, она не стала ничего подписывать. Я думаю, после меня они в принципе никогда в жизни больше не возьмут детей – ни на каникулы, ни тем более навсегда.

В последний день перед отъездом мы поехали в большой гипермаркет. Конечно, я надеялась на подарки, одежду, модные вещи. Но они вместо этого купили мне кучу еды. Килограммы печенья, конфет, мармеладок, шоколадок, орешков – я до сих пор не понимаю зачем?! – и красную сумку ко всему этому в придачу. Конечно, когда я приехала в детский дом, пришлось делить «богатства» на всех. Мы с Олесей успели только пакет арахиса урвать и объелись им так, что я до сих пор не ем арахис. Другие дети привезли в Москву целые чемоданы новых классных вещей, а я – конфетки. Блин, мне тоже хотелось нарядов! Обидно. Тогда, вернувшись в Москву, я окончательно поняла, что больше никогда не поеду ни в одну семью. Мне это не надо.

Меня потом обвиняли все кому не лень: «Вот, ты сама такая-сякая, во всем виновата, остальные дети в Италии уживаются с семьями! Там все люди прекрасные. А ты…» Конечно, от таких слов я страдала. Чувствовала себя неполноценной.

Но, повзрослев, я смогла все самой себе объяснить. Дети, пусть даже сироты, совершенно разные. Реакции у них тоже разные. Кто-то раньше уже жил в семье или хотя бы ходил в гости к родственникам по выходным, поэтому знал, что это такое. А для меня семья был космосом, я не умела в нем выживать.

Зато итальянцы показали мне совершенно другую жизнь – я захотела иметь свой дом, свою землю, чтобы сажать морковку на грядке и огурцы в парнике. Я начала мечтать и поверила, что у меня все это обязательно будет. Представляла себе двухэтажный дом, обязательно с летней столовой на крыше, с огромной террасой. Тогда я не знала, для чего она мне, но уже рисовала в мыслях отдельную огромную комнату – не спальню и не гостиную – со стеклянными стенами, чтобы в ней был простор. И еще я мечтала о качелях во дворе или о диване-качалке. Представляла, что у меня тоже будут фруктовые деревья – особенно лимоны. Только не знала, можно ли их выращивать в России. В Италии-то они растут отлично, можно ведрами собирать. Остальное в голове было не очень четко. Но точно именно после Италии я поняла, что хочу большую семью. Чтобы четверо-пятеро детей, чтобы все жили дружно и, главное, чтобы был хороший надежный отец, который никогда ни на кого не поднимет руки. Такой как Марко. А еще я бы очень хотела, чтобы у моих детей была такая же бабушка, которая была у меня там. Но вот это уже не судьба.

Недавно я нашла в гугл-картах дом, в котором жила в Италии. И мне стало грустно. Я подумала, что, будь я более адекватным ребенком, может, что-нибудь у нас с ними и получилось бы. Но я, похоже, вызывала в людях дикие эмоции и реакции, которых они не ожидали сами от себя.

Теперь я уже знаю, что так бывает, когда ребенок пережил в детстве насилие: он начинает, сам того не замечая, провоцировать взрослых людей на крик, на то, чтобы они подняли на него руку.

Я не видела, чтобы в первой семье, где я жила, били дочь. А меня ударили. Я не видела, чтобы во второй семье применяли физические наказания к сыну. А на мне Даниела сорвалась. Мне до сих пор трудно поставить себя на место этих семей. Ребенок, который глубоко страдает и безутешно плачет, не может выйти из своего внутреннего убежища и скрывается ото всех, – совсем непростая задача. Они искали пути сближения как могли, а я не подпускала к себе. Теперь уже понимаю, что Даниеле очень хотелось быть полезной мне, стать ближе. Иногда она делала совсем неловкие и даже глупые попытки. Однажды, например, пошла вместе со мной в душ, предложила меня помыть. Но я на нее так сурово посмотрела, что она сразу все поняла и быстро вышла. Это нормально, входят мамы к одиннадцатилетним девочкам в ванную? Я не знаю. Но мне ее присутствие было неприятно физически. Что бы сделала я сама на месте той итальянки, чтобы мне, маленькой, помочь? Я точно перестала бы ждать проявлений счастья и радости. Признала бы право ребенка на плохое настроение. И оставила бы в покое до тех пор, пока девочка сама не привыкнет, не перестанет плакать и не захочет пойти на контакт. По крайней мере, уж точно не собирала бы беспрестанно консилиумы на тему «Она плохо себя ведет»!

Но если оглянуться назад – они же все условия для меня создали и старались как могли. Отношениям мешали мои собственные страхи и постоянное ощущение «я здесь лишняя». Ничего с ним сделать я не могла. Так было во всех семьях без исключения. А после Италии я вдобавок ко всему начала бояться, что могу разрушить чужую семью.

Они же все из-за меня ругались! Из-за меня кричали друг на друга. И в первой, и в последней семье я провоцировала множество ссор: отец на мать, мать на отца и все вместе на детей.

Я сделала вывод, что не подхожу для семьи. Что-то во мне не так, что-то разрушено. Если кто-то хотел приблизиться, я испытывала только страх.

В детском доме никому не было до меня дела, я могла оставаться невидимкой. И это была привычная жизнь. А в семье хотели понять, что я чувствую, почему мне плохо, от чего плачу. Это было невыносимо! Я больше никогда в своей жизни не пыталась попасть в семью. Раз и навсегда закрыла для себя этот вопрос.

Глава 20

Болезни

Все детство я не вылезала из больниц. Однажды специально подсчитала: с первого по одиннадцатый класс провела в больницах чуть больше пяти лет. В первом классе, например, болела каждые две недели и почти не училась. Только когда выросла, узнала, что так сказывается на организме стресс. В детском доме он был со мной постоянно. Зашкаливал и душил – не давал нормально дышать и спокойно спать. Я постоянно хотела к маме, ждала ее, но она так и не появилась. Бежать мне было некуда, и больницы стали единственным моим убежищем.

Поэтому в отличие от многих детей – особенно «домашних», я полюбила больницы. Там для меня был рай. Не потому, что врачи как-то особенно хорошо ко мне относились, не делали больно или ласково утешали – такого не было, – но зато там получалось хотя бы на время избавиться от стен детского дома и пожить другой жизнью. Представить себе, что я «домашний» ребенок, что, как и все, жду свою маму. Для меня больницы оказывались окошком в реальный мир, где жили все обычные семейные дети. Я каждый день видела мам, которые навещали своих детей. Наблюдала за ними. Мамы все были добренькими, не кричали на детей, не обзывали их, наоборот, жалели и приносили гостинцы. Конечно, и мне тоже внимания в больницах всегда перепадало больше, чем в детском доме.

Медсестры тоже тепло относились ко мне, я никогда не слышала от них ненавистных приказов: «Иди помойся», «Иди вымой руки», «Иди отсюда». Обычно мы – я и внешний мир – существовали отдельно, потому что никто не мог дать мне тепла и заботы. А вот в больницах это ощущение параллельных существований на время исчезало. Я брала от каждого взрослого по крупице. Лежала по сто раз в год, знала всех и бегала каждое утро на пост, счастливая: «Здравствуйте, здравствуйте!» Кто-то из медсестер конфетку принесет, кто-то витамин-кой угостит, кто-то яблочко даст или сок. Все уже знали, что я люблю, а чего не ем. Быстренько меняли мне в столовой гарнир, если была гречка, которую я ненавижу, и давали картошку. А еще порции всегда приносили добавочные – видят, осталось что-то после полдника, и сразу мне. Понимали, что гостинцев из дома у меня нет – другие-то дети все время что-то жуют, а я питаюсь только тем, что дадут в больнице. Но ни с кем из медсестер никаких особых отношений у меня не сложилось: они работали по сменам, часто менялись, и невозможно было с кем-то одним наладить контакт. Хотя они все были хорошие.

Не любил меня только лечащий врач. Даже не знаю почему, но он всегда ругался. Да и вообще ходил целями днями хмурый и был единственным, кого я побаивалась. И, как назло, каждый раз я попадала именно к нему в лапы – он делал бронхоскопию, которую я ненавидела. Если ничего не путаю, у меня была деформация легкого, и поэтому мои пневмонии не удавалось вылечить только таблетками. Нужно было постоянно наблюдать за процессом болезни. И вот этот врач засовывал мне в легкие через нос ужасные трубки, которые раздирали все изнутри. Я не давалась, брыкалась изо всех сил, а врач ругал меня последними словами. Когда он понял, что я слишком сильная и со мной не так-то просто справиться, кроме обычной местной анестезии, мне стали делать общий наркоз. Но постепенно наркоз перестал действовать, наверное, слишком часто его вводили. И, когда я подросла, меня во время бронхоскопии держали уже четыре мужика. Это было больно и страшно. Я теряла сознание во время процедуры, приходила в себя, а у меня трубка торчит из носа, еще одна трубка во рту, и невозможно дышать. От этого становилось совсем невыносимо, такой ужас охватывал – кажется, вот-вот умрешь. Так я до десяти лет и мучилась, а потом воспаления легких закончились, сменившись хроническим бронхитом.

Зато в больнице я общалась с детьми, которых встречала там каждый раз, – ложусь, и они лежат. Не могу сказать, чтобы мы дружили, – после той истории с Аней у меня никогда в жизни не было друзей ни в детском доме, ни где-то еще. Я уже обожглась. Но знакомые дети всегда делились со мной гостинцами, которые приносили им мамы. Они научили меня играть в шахматы. Показывали мне разные книжки. Я узнала, что есть книги не только с буквами, но и с интересными заданиями, ребусами, красочными картинками. Заинтересовалась благодаря иллюстрациям разными сказочными героями, на которых раньше и внимания-то не обращала – Колобком, Тремя Поросятами, Курочкой Рябой. А вот если картинок нет, значит, неинтересная книжка. Плохая. Даже не буду ее в руки брать.

А еще я полюбила раскраски. Они для меня стали великим счастьем – я сидела над ними до тех пор, пока не раскрашивала все до последней закорючки. Мне нравились движения рук по бумаге, нравился звук карандаша, я не поднимала головы от картинок часами. Страх перед бумагой окончательно пропал, и я стала понемногу, шаг за шагом, рисовать сама. Причем уже что-то конкретное, реалистичное, а не абстрактный «Китай».

В больницу я старалась сбежать всякий раз, как в детском доме становилось невыносимо. Иногда мне кажется, я и болела только для этого – чтобы как можно чаще оттуда уезжать. А когда немного подросла, стала большая и умная, додумалась напрашиваться в санаторий. И тоже сработало!

Началось все с одного неприятного случая. Однажды в четвертом классе мы собирались в очередной музей. Везти нас должна была старшая воспитательница, Людмила Дмитриевна, а она, нужно сказать, меня невзлюбила. Например, каждые выходные она по очереди брала наших детей к себе домой. Угощала их, подарки всякие дарила, а в понедельник приводила обратно в детдом – и до следующего раза, пока очередь не дойдет. Детей много, она одна, счастье такое выпадало редко, приходилось долго его ждать. И я, конечно, тоже ждала. Очень! Но меня она не взяла ни разу! Сначала я задавала себе вопрос: «Почему? Чем я отличаюсь от остальных?» Потом мне стало обидно. Я чувствовала себя ущербной и думала, что она не берет меня из-за того, что я писаю в кровать. А еще она постоянно меня ругала. При любом удобном случае устраивала «показательную порку».

Погода в тот «музейный» день была слякотной, и Людмила Дмитриевна велела мне надеть колготки. А у меня не оказалось чистых – все они были постираны и сушились на батарее. Тогда я надела лосины, носки, а сверху брюки. Но была еще одна трудность – из-за моего плоскостопия быстро портилась обувь, «молния» на ботинках перетиралась буквально за пару недель. То ли обувь для нас закупали низкого качества, то ли у меня ноги были совсем уж кривые, но стоило чуть-чуть поносить, и вода начинала затекать внутрь. А другую обувь никто так быстро не даст. В итоге из-за той поездки в несчастный музей ноги у меня промокли насквозь. На следующее утро просыпаюсь, а у меня – бах! – и температура под сорок.

– Где ты вчера была? – Любовь Алексеевна, главный врач в изоляторе, решила, на мою голову, провести расследование.

– Ездила с Людмилой Дмитриевной в музей. – Я, как обычно, со своей правдой: нет бы сообразить, куда ветер дует, и промолчать.

– У тебя ноги были сухие? – не отстает она.

– Нет, – говорю, – промокли.

– Почему?

Я объяснила как есть – что ботинки воду пропускают, «молния» перетерлась.

– Таааак, – она резко встала, – я все поняла!

Мне она дала лекарство, положила в изоляторе спать, а сама пошла отчитывать старшего воспитателя, почему у нее дети с мокрыми ногами по музеям ходят и кому это надо. Я отлежалась, температура у меня упала, и мне говорят: «Иди вместе со всеми обедать». Конечно, Людмила Дмитриевна уже ждала меня на пороге в столовую. Искры так и сыпались у нее из глаз.

– Аааа, – она уперла руки в бока, – предательница явииилаааась!

– Что?! – Я вытаращила на нее глаза.

– Как ты посмела обвинить меня в том, что промокла?! Я тебе велела колготки надеть, а ты?! Больше ни в какой музей не поедешь, в театр не пойдешь, ничего у тебя больше не будет, кроме твоего любимого изолятора!

Она кричала и кричала. Вылила на меня столько грязи, что мне стало физически плохо. В результате я так и не поела, убежала обратно в изолятор и там дала волю слезам. Я не понимала, в чем меня обвиняют, за что такие слова?! Ничего же страшного не произошло.

Любовь Алексеевна в изоляторе как могла старалась меня утешить: «Не беспокойся, не расстраивайся, ты будешь ездить». Говорила какую-то ерунду – ни капли не успокоила, только наоборот. Я ощущала обиду не потому, что якобы я не буду ездить в дурацкие музеи, которые нам всем и без того надоели, а потому, что меня унизили, оскорбили. Ничего эти взрослые не понимают. Я попросила врача: «Уйдите, пожалуйста», – и долго потом ревела, не могла никак успокоиться.

В тот раз я пролежала в изоляторе неделю, а когда вышла, наша воспитательница как назло заболела, и ее заменяла Людмила Дмитриевна. И вот тогда для меня наступили черные дни! Она стала делать вид, что меня просто не существует.

Домашнюю работу показать ей нельзя, потому что я для нее как будто больше не существую. Подойти к ней нельзя. Мало того! Она настроила всех детей в группе против меня и запретила им со мной разговаривать. Я стала изгоем. Молчала все время и сидела одна. Плакала целыми днями. Сама у себя проверяла уроки, сама себе ставила галочки – русский сделала, математику сделала, окружающий мир сделала. Мне было очень обидно. Из-за такого пустяка меня так сурово наказали! В который раз я убедилась в том, что у меня в детском доме нет и не может быть друзей.

Я свято верю, что дети дружат только тогда, когда их учат этому взрослые. Когда объясняют и показывают на личном примере, как надо поддерживать друг друга, как в трудные минуты помогать.

А что было у нас в детдоме?! Людмила Дмитриевна сама устроила эту травлю, руководила ею и намеренно держала меня в изоляции. Я страдала, но старалась быть хорошей изо всех сил: прекрасно себя вела, не получила ни единого замечания за целую неделю. И она наконец сдалась.

– Все, можешь со мной общаться, – милостиво разрешила она через неделю, – ты исправилась!

Я не стала ничего ей доказывать. Не сказала: «А вот вы не исправились!», хотя именно это крутилось у меня в голове. Просто поблагодарила и пошла по своим делам. Но это только внешне казалось, что я в порядке. Внутри чувствовала себя совершенно разбитой, практически мертвой от усталости и нервного напряжения. Неделя игнорирования и слез забрала остатки сил, которых и так не было после тяжелой болезни. Я еле передвигала ноги. И уж точно не смогла бы вытерпеть еще хотя бы несколько дней эту Людмилу Дмитриевну рядом с собой. Я хотела избавиться от них от всех! От злых людей, от глупых детей, от мерзких детдомовских стен – никого и ничего не желала здесь больше видеть. Замкнутый круг системы давил со всех сторон и не давал дышать. При этом я не хочу сказать, что люди у нас в детском доме были плохими – та же Людмила Дмитриевна, например, по-своему заботилась о нас, выхаживала меня в зимних лагерях, где я все время болела. За это я ей благодарна.

Но что-то странное происходило со взрослыми людьми в детском доме – многие из них словно забывали, что человек должен управлять своими эмоциями. Срывались из-за пустяков. От этого нам, детям, становилось совсем невыносимо.

– Отправьте меня в санаторий, пожалуйста? – попросила я Любовь Алексеевну.

– Хорошо, постараюсь что-нибудь сделать.

Вопрос решился. Любовь Алексеевна договорилась с санаторием, который был недалеко от нашего детского дома, и оформила мне путевку. Я приехала туда. Посмотрела на это учреждение, и у меня чуть истерика не случилась: то же здание, та же планировка, даже стены один в один! Все отличие только в том, что у нас во дворе футбольное поле, а у них на том же месте горка. «Проходи в столовую, это направо», – говорят мне, а я отвечаю: «Спасибо, знаю». У меня тут же отобрали средства гигиены – шампунь, гель, – оставили только зубную щетку, пасту и расческу. Вещи тоже забрали и положили их на полку в подвал. Не знаю, почему нельзя было держать одежду в тумбочке или в шкафу. Но, если требовалось переодеться, приходилось идти в подвал. А двери внутри здания были без ручек. Взрослые – врачи, медсестры, остальной персонал – носили с собой ложки, и этими ложками, засунув их в отверстия для ручек, открывали двери. Дети самостоятельно вообще никуда не могли попасть – ни в палату, ни в туалет, – нам специальных ложек-открывашек не выдавали.

Зато класс – в этом санатории шли занятия, как в школе, – принял меня хорошо. Там были сплошь мальчишки. Сначала никто даже не понял, что я из детского дома, и это было классно – пожить хотя бы немного обычным ребенком. Но счастье длилось недолго. В один прекрасный день у меня в ручке закончилась паста, стало нечем писать. Я подошла тихонько к учительнице на уроке.

– Простите, у меня ручка закончилась, – стараюсь говорить тихо, чтобы никто не слышал.

– Пусть мама новую привезет, – отвечает она в полный голос.

– У меня мамы нет, – шепчу еще тише в надежде, что она все поймет.

– Как?! Ты из детского дома?! – кричит она на весь класс.

Я стала красная как рак. Стою и думаю: «Блин. Зачем только я вообще к тебе подошла?» Потом она достала из стола ручку, тетрадку, протянула мне.

– На, возьми, деточка.

Вот к чему весь этот спектакль? Странные эти взрослые.

– Спасибо.

В санатории я дорвалась до своей давней мечты – подписывала тетрадки именем и фамилией, а не номером. И там же узнала, что не такая уж я тупая, как говорила наша учительница в детском доме, Людмила Ивановна. Она любила весь класс отчитывать: «Вы все тупые. Пойдете учиться в ПТУ. И тебя, Третий, тоже касается, чего улыбаешься? Программа для умственно отсталых детей по тебе плачет». Я ей верила. То, что говорят ребенку взрослые люди, – истина. Мне же не с чем было сравнить свои знания. А в санатории я поняла, что знаю программу не хуже, а лучше других! Я не идиотка, не умственно отсталая и в ПТУ не пойду. В детском доме от скуки постоянно сидела за учебниками. Уходила в них с головой – мне это было интереснее, чем участвовать в каких-то глупых мероприятиях или творить ерунду вместе с другими детьми. И вот в санатории меня захваливали: «Ты такая молодец, у тебя все так стройно в голове, очень хорошо объясняешь, все понимаешь». И я сидела думала: «Наверное, да, я не такая тупая». Пока другие дети делали одно упражнение, я успевала десять. Учительница стала приносить мне дополнительные книжки по математике, а я и рада. Четверть закончила прекрасно, всего с одной четверкой. А еще я там, наконец, поняла, что можно побыть ребенком. Осмелела, потому что никто на нас не кричал, не ругал. И я играла – пряталась под кроватями, бегала, шалила.

– Я бы тебя удочерила, – сказала мне однажды учительница.

– Не надо так говорить, – быстро прервала я ее.

Мне часто приходилось такое слышать – люди рассказывали мне, какая я хорошая, и при этом объясняли, почему не могут меня удочерить. Я не хотела всех этих разговоров. Тем более после Италии, где я убедилась, что мне все равно нельзя ни в какую семью.

– Да, – смутилась она, – я не первая?

– Не в этом дело.

– Ну да. Ну да, – постаралась сгладить неловкость она. – У вас же детский дом хороший. Замечательный! Вон как одевают вас. Все там есть.

– Да, у нас хорошо…

А потом привольная жизнь закончилась. Я вернулась из санатория в детский дом. Пришла в свой класс, подошла к учительнице, такая гордая, у меня же все пятерки в тетрадках!

– Давай сюда свои работы, – проворчала она сквозь зубы.

Я отдала Людмиле Ивановне тетради, а сама пошла дальше по своим делам. И, пока я ходила, она все пятерки в моих тетрадях из санатория исправила на тройки! Я там не очень аккуратно писала на уроках математики, не всегда цифры оказывались внутри клеточек – торопилась, хотела успеть больше. А она взяла, и из-за этого перечеркала все красной ручкой. Я потом сидела несколько дней и переписывала в слезах и соплях все тетрадки. Старалась в клеточки попадать. Только после этого она мне выставила оценки за четверть. По математике – пятерку. Там и правда все было правильно! А по некоторым другим предметам пятерки за четверть исправила на четверки. Вот зачем она это сделала? Я не знаю. Может, чтобы я не радовалась и не задирала нос. Хотя ни то ни другое мне как-то в голову не приходило.

Сейчас вспоминаю, что каждый раз после таких ситуаций мне хотелось сбежать из детского дома навсегда. О побеге я думала постоянно, только понимала, что деваться мне некуда.

Поэтому снова и снова подходила к Любови Алексеевне и просила отправить меня в санаторий. Только в любой другой – тот, с ложками вместо дверных ручек очень уж напоминал детский дом. И она, спасибо ей огромное, стала делать мне путевки в Красную Пахру, кардиоревматологический санаторий. По этой части у меня проблем вроде не было, но Любовь Алексеевна что-то приписывала, и меня брали. Вот там было круто, я даже уезжать не хотела! Здание интересное, деревянное – ничего общего с детским домом. В нем слышен был каждый скрип, каждое движение. И тоже поначалу никто не знал, что я из детского дома, опять пожила немного как обычный «домашний» ребенок. Выяснилось все только в родительский день, когда ко всем приехали мамы-папы, а ко мне – нет. Тогда меня все стали угощать, а я собирала гостинцы в пакет и потом привозила его в детский дом – там за пару минут все съедалось. И вот в этом санатории у меня завелись хорошие приятели, мы с ними стали договариваться, на какую четверть в следующий раз приезжать, чтобы опять оказаться вместе. Причем подстраивались они все под меня – знали, что мне сложнее в детском доме договориться, а им достаточно просто родителей попросить, и те оформят что нужно. Там я побывала раз пять.

Без этих «побегов» из детдомовской жизни – где все о тебе все знают, где любая сплетня разносится за пять минут и варишься в котле одних и тех же людей – я бы не выдержала, сошла с ума. У других детей были свои отдушины: они ходили в гости к родственникам по выходным, иногда уезжали к бабушкам-дедушкам на лето, иногда просто сбегали и бродяжничали, пока их не ловили и не возвращали назад. У меня не было никого. Нарушать порядок я не умела. Поэтому искала спасения в больницах и санаториях: все лучше, чем детский дом.

Глава 21

Имя

Когда мне исполнилось двенадцать лет, нас снова отправили в летний лагерь, он тоже был на море, но назывался «Горный». Как обычно, никого ни о чем не спрашивали и не предупреждали, вывезли, и все. Хочешь – не хочешь, а едешь куда сказали. Место это было очень странное: с одной стороны – горы, с другой – пустырь, и прямо посреди лагеря течет речка-вонючка, которая делит его на две половины. С одной стороны наш корпус – длинный одноэтажный барак, куда уместился весь наш детдом, а с другой – столовая и другие постройки. Дорога в столовую лежала, конечно, через речушку. И вонял этот водоем по-настоящему отвратительно – пока его перейдешь, весь аппетит пропадает.

В том лагере, кстати, я первый раз в жизни резала хлеб. Меня позвала воспитательница и говорит: «Нас сто человек, давай на всех резать хлеб. Ты умеешь?» Я пожала плечами и сказала: «Давайте». Взяла в руки нож. Стала этот несчастный хлеб пилить как могла. Куски получались кривыми, срезы – волнами. Меня же никто этому не учил, я не видела, как правильно надо делать. Воспитательница потом пришла, посмотрела на результаты моего труда и от души посмеялась, зато показала, как надо. А старшие девочки в это время чуть поодаль резали лук, и я не понимала, почему они сидят и все как одна льют слезы.

– А почему они плачут? – спрашиваю я воспитательницу.

И она опять давай смеяться, не может остановиться. Ржет надо мной, и все, ничего не объясняет.

– Птичку им жалко, – с трудом выдавливает сквозь смех.

Я смотрю, никакой птички даже в помине нет.

– Нет, ну серьеееезно?

– Подрастешь – узнаешь! – резюмировала она.

Мне до сих пор сложно понять, почему взрослые никогда ничего нам не объясняли. Неужели так трудно было рассказать о самых простых вещах, которые ребенок в семье знает с двух лет? «Птичку жалко» – и думай что хочешь. Я не знаю, как в детском доме научить ребят бытовым навыкам. Но хотя бы по-человечески отвечать на вопросы можно? Не отшучиваться. Не отмахиваться. Так я и жила в неведении, пока сама не начала резать лук, а это было уже гораздо позже, после выпуска. И каждое действие, над которым ребенок из семьи даже не задумывается, делает на автомате, мне лично давалось с большим трудом.

В лагере я с первого дня просыпалась с рассветом и, пока все спали, шла будто бы в туалет. Он находился на улице – домик такой деревянный с дыркой в полу. На самом деле я хотела посмотреть на павлинов – ранним утром они свободно разгуливали по территории. Яркие такие, красивые. Днем где-то прятались от детей, чтобы им хвосты не повыдирали, зато на рассвете можно было на них полюбоваться. И вот я замирала с открытым ртом, разглядывала каждое перышко. Однажды в такое утро за мной незаметно увязалась воспитательница Ольга Александровна – она спала в предбаннике перед нашей комнатой и следила за тем, чтобы я не писалась в кровать, а вставала в туалет.

– Сания Ринатовна!

Я вздрогнула и обернулась. На меня, хитро улыбаясь, смотрели озорные карие глаза воспитательницы. Я сначала даже не поняла и не расслышала, что она сказала.

– Санияяя Ринатовнаааа!

Я огляделась. Вокруг не было никого, к кому она могла обращаться, – только я и она. И Ольга Александровна смотрела прямо на меня. Только почему она дразнится, говорит какую-то ерунду?!

– Я Соня, – возмутилась я.

– Нет, не правда, – Ольга Александровна продолжала смотреть на меня и улыбаться, – ты – Сания Ринатовна.

– Откуда вы взяли это имя?

Я ничего не могла понять в незнакомом сочетании звуков. Таких странных, сильных и нездешних.

– Это твое настоящее имя, – наконец объяснила она, – у тебя в документах так написано.

– Блииин, в каких?!

Я чувствовала себя последней дурой. Как это так? Как человек может не знать собственного имени? Меня зовут Соня, что вообще эта сумасшедшая тетенька несет?! Она с самого начала показалась мне странной – шутит постоянно, ведет себя не как взрослая. А теперь вот еще и это.

– Пойдем покажу! – Она ничуть не смутилась.

Повела меня в корпус, открыла шкаф, достала папку и показала мои документы. Впервые в жизни я увидела свое свидетельство о рождении. В нем черным по белому было написано «Испергенова Сания Ринатовна». Я стояла смотрела на бумаги и не могла поверить в происходящее. Почему?! Почему мне раньше никто об этом не сказал?! Почему только в двенадцать лет от практически незнакомого человека я узнаю такие вещи?!

– Вот и будешь теперь Сания Ринатовна, – веселилась Ольга Александровна, не обращая внимания на мое состояние. А я готова была провалиться сквозь землю.

Мне не понравилось новое, в смысле настоящее, имя. Откуда оно только взялось на мою голову? Это надо было додуматься так ребенка назвать. За что мне еще и это?! Я с шести лет была Соней, везде и для всех. Даже понятия не имела о том, что на свете существует такое имя – Сания. А теперь выясняется, что я Сания?

Это был шок. Я словно в одно мгновение потеряла себя прежнюю, а замены пока не нашла. Стояла и думала: «Как же так? Как же так???»

– Сания Ринатовна! Сания Ринатовна!

Новое имя звучало в ушах как набат. Я ходила с его гулом в голове целыми днями. А Ольга Александровна словно не замечала моего состояния – мучила меня, дразнилась. Подкрадется сзади и шепчет на ухо:

– Сания Ринатовна!

Для меня это было издевательством.

– Хватит так меня называть!!!

– Не хватит! – улыбалась она. – Ты Сания Ринатов-на. Сания.

– Господи, ну что вы меня обзываете? Хватит! Меня не так зовут. Меня зовут Соня. Не называйте меня чужим именем!

– Это твое имя, Сания Ринатовна. Только так и буду тебя называть.

Все три недели, что длилась смена, она как будто специально злила меня: «Сания Ринатовна, Сания Ринатовна». А я бесилась и думала: «Ну почему? За что мне это все?! Господи, убери куда-нибудь эту чокнутую тетку от меня!»

– Почему она так тебя зовет? – спрашивали ребята.

– Не знаю, – отмахивалась я, – потому что она сумасшедшая!

– Аааа, ну да, – с этим, к счастью, все соглашались.

То ли из-за глупых шуток Ольги Александровны, то ли по другой причине, но тогда своего имени я так и не приняла. Даже слышать не хотела ни о какой Сании, отзывалась только на Соню. А потом, в четырнадцать лет, мне дали паспорт, и вот тут-то на мое настоящее имя, наконец, обратил внимание социальный отдел детского дома. Они спохватились, переписали все мои документы, в которых я раньше значилась как Соня. И с этого момента в официальных бумагах я стала Санией. Но и это не примирило меня со странным именем, данным мне при рождении. Я боялась его. Не знала, как к нему относиться – надо ли стыдиться, надо ли скрывать? Не чувствовала себя в тот период безвременья ни Соней, ни Санией. Словно снова стала никем. Как в доме ребенка. Это было ужасно!

А в конце девятого класса Людмила Михайловна, преподаватель ИЗО, та самая, которая заставляла меня смывать с руки родимые пятна, заполняла наши аттестаты. Эту работу всегда поручали ей, потому что у нее был красивый почерк. И тогда она узнала, как меня на самом деле зовут. Когда я вошла в очередной раз к ней в кабинет, она припечатала меня с порога:

– Здравствуй, Сания!

Я поднимаю на нее глаза. И вижу, что у нее аж щеки покраснели от ярости.

– Почему вы так официально?

И тут она как начнет возмущаться! Ее словно прорвало.

– Какой дурак, – кричала она, – мог такое прекрасное имя заменить на какую-то Соню? На эту плоскую, ни о чем не говорящую Соню? Дурацкую Соню без характера и без красок! Сания – это сильно, это мощно! Запомни это!

Она сверкала глазами, размахивала руками, бушевала так, что мне даже сделалась неловко. Я стояла, опустив глаза, и слушала ее. И благодаря ее злости на «дураков», исковеркавших мое прекрасное имя, благодаря ее искренним чувствам я начала испытывать какое-то странное удовольствие. Как будто мне досталось по наследству сокровище, с которым я по глупости своей не умела обращаться. Никто этому не научил. Я подумала о своей маме – это же она назвала меня так, подарила красивое имя, которое у меня потом отняли. Я все еще не хотела, чтобы меня называли Санией, мне это было непривычно, но Людмила Михайловна так яростно защищала мое имя, что я испытала за него гордость.

– Ты – Сания! Запомни. – Она вскинула к потолку подбородок.

– Хорошо, – кивнула я и робко повторила за ней: – Я – Сания.

Произнося эти слова, я перестала смотреть в пол. И почувствовала, как внутри меня что-то меняется: рождается уверенность, радость. Так и вышла из ее кабинета с гордо поднятой головой. Так и шла по корпусу, повторяя слова, в которых мне слышалась самая настоящая магия: «Я – Сания. Я – Сания».

Повзрослев, я всей душой полюбила свое имя. Оно красивое и подходит мне. Оно – тот дар, который оставила мне мама в момент моего появления на свет. В своем имени я чувствую ее любовь. Может, кому-то покажется, что этого слишком мало, но ничего другого у меня просто нет. И я ощущаю свое имя как огромное важное наследство: знание о себе и принятие себя.

Глава 22

ЛТО

После того «Горного» лагеря в Крыму нам предстоял переезд на другую базу. Так было всегда – одна смена в одном месте, другая в другом. Не знаю, какой в этом был смысл, но, видимо, так распределялся по разным детским оздоровительным лагерям государственный бюджет. А вместе с ним и мы – государственные дети. Ребят постарше, старшеклассников, после первый смены отдыха ждал ЛТО[1]. Нас всех, кто младше седьмого класса, должны были перевезти в новый детский лагерь.

И вот день X настал. Нас погрузили в автобусы и повезли. Руководила процессом наша «любимая» Райка – заместитель директора детского дома Раиса Ивановна. Она всегда на первую смену прилетала в Крым. И вот мы остановились в первом пункте назначения, у детского лагеря. Шофер говорит: «Пятые-шестые классы выходят!» Я, Олеська, Сашка – мы втроем были из пятого класса – вышли на улицу. Парни постарше тем временем сидели в соседней маршрутке. И тут Раиса Ивановна к нам как подскочит, как заорет: «Куда это вы пошли?! А ну, обратно в машину!» Мы, три девочки, стоим перепуганные, глаза по пять рублей. Не понимаем, куда нас дальше собираются везти. Но уже чувствуем, что беда. Раиса Ивановна тем временем вызвала из второго автобуса трех старших парней и отправила их в детский лагерь, а нас загнала обратно в автобус и объявила: «Вы едете в ЛТО».

И тут мы от страха чуть в штаны не наделали. Безо всякого преувеличения. Мы все уже знали, что такое дедовщина, и боялись ее до смерти. В «Горном лагере» я понимала, что нас не трогают только потому, что вокруг есть другие, «домашние» дети, чужие люди, не только «свои», детдомовские. Но и там уже случались разные тревожные моменты – если кто-то что-то крал, воспитатели поручали разобраться в этом старшим ребятам. Вора с подачи самих педагогов закрывали в комнате со «старшаками» и без посторонних глаз избивали. Такими были правила жизни. Внутренний закон. И больше всего меня бесило то, что его поддерживали все сотрудники без исключения. Они прекрасно знали, что происходит, и сами насаждали этот порядок. Но в детском лагере еще можно было как-то избежать печальной участи – хотя бы стараться все время быть на виду у других отдыхающих и чужих вожатых. А в ЛТО нас уж точно никто не защитит. Мы это прекрасно понимали.

В моей жизни был случай, когда дедовщина коснулась лично меня. Я еще никогда и никому о нем не рассказывала – слишком трудно вспоминать: словно падаю в прошлое и дышать становится нечем. Это случилось сразу после возвращения в Москву из того детского лагеря, где произошла страшная история с вором-маньяком. О ней, конечно, узнал весь детский дом, сплетни у нас разносили моментально. И все – от мала до велика – травили меня, называли «шлюхой». Ребенка восьми лет! Однажды я накрывала в столовой к обеду – была в платье, в колготках. Тогда еще носила платья и юбки. И тут в столовую вошли старшие девочки, им было лет по четырнадцать. Они о чем-то увлеченно болтали, но, увидев меня, тут же переключились.

– Ооо, маленькая развратница, – усмехнулась одна.

– Юная шлюшка, – подхватила другая.

– Тебе понравилось с ним? – Они стали приближаться. – Только честно?

– Это же круто, когда взрослый мужик лезет к тебе в трусы?

– Конечно, она хочет еще!

Они ржали как сумасшедшие, говорили всякую ерунду и окружали меня. Я чувствовала, что теряю сознание от страха, и понимала, что ничего не смогу сделать, чтобы себя защитить, – их слишком много. Они схватили меня за руки, за плечи. Кто-то дернул вниз «молнию» на спинке платья, чужие руки стали стаскивать одежду. За доли секунды я осталась без платья, потом они повалили меня на пол прямо в столовой и стали стаскивать колготки вместе с трусами. Я кричала и плакала, звала на помощь. А они только продолжали смеяться.

– Что это такое?! – обрушился на нас откуда-то сверху мощный голос. – Что здесь происходит?!

Девочки моментально отпустили меня и вскочили на ноги. Я осталась валяться почти раздетая на голом полу, закрывая лицо руками.

– Что вы себе позволяете?! – гремела женщина. – Как только совести на такое хватает???

Я по голосу узнала нашу медсестру Наталью. Она была высокая, светлая и суровая. Многие ее побаивались. Девочки стояли опустив головы, а я пришла в себя и стала натягивать болтавшиеся на щиколотках колготки. Кое-как смогла просунуть голову в ворот платья, вскочила и вся в слезах убежала из этой столовой вон.

Рассказала Наталья кому-то из воспитателей о том, что они сделали со мной, или ограничилась тем, что отругала их сама? Я не знаю. С тех пор, просыпаясь по утрам в детском доме, я всегда проверяла, на месте ли у меня трусы. И только тогда успокаивалась.

Позже, начав самостоятельную жизнь, я осознала, что в детском доме у меня никогда не было чувства безопасности. Не было уверенности, что со мной никто не сделает ничего плохого, пока я сплю. Кстати, я до сих пор не ношу платья. И юбки тоже. Только джинсы, штаны: без них чувствую себя беззащитной и голой.

Одним словом, мы с девчонками ехали в этот долбаный ЛТО и подвывали от ужаса, понимали, что нас там ждет.

Лагерь находился неподалеку от персиковых садов – что-то вроде длинной одноэтажной казармы, только разделенной изнутри фанерными перегородками на отдельные спальни. Как и предполагалось, мы с Оксаной и Сашей оказались самыми маленькими. И, конечно, нас с самого начала стали шпынять.

– Эй, – старшие девочки, которым поручили расселить всех по комнатам, – вы, мелкие, заселяетесь сюда.

Мы кивнули, удивились, что комната такая большая. И стали отмывать окна и полы, как нам велели. Убрались, застелили постельным бельем кровати. И тут снова приходят те же девочки.

– Нет, мы передумали! Вы переезжаете в другую комнату.

Мы молча идем туда. И все сначала – мыть окна, полы, стелить постели. Так нас несколько раз таскали с места на место, пока мы во всех спальнях старших девочек не убрались. В итоге нам троим выделили отдельную маленькую комнатку, но на мужской половине. Уже от этого одного можно было сойти с ума. Но нас поселили напротив комнаты Андрея Васильевича, который приехал с детьми в ЛТО из нашего детского дома. Он работал у нас в социальном отделе. Ему тогда было всего двадцать три года, совсем еще молодой. Но мы, дети, звали его Василичем. Благодаря ему мы в тот год познали все прелести жизни в ЛТО.

Трудовые задачи были такими – нужно было собирать персики. Конечно, не просто так, кто сколько хочет, а была установлена определенная жесткая норма: общая для всех, вне зависимости от того, сколько ребенку лет. Ее заранее определили, и все. И всех, кто не собирал эту самую норму, вечером перед ужином отправляли в комнату к Василичу на воспитательные работы. Это в его обязанности входило выполнение нормативов. Как он достигал цели? Бил. Ставил ребенка спиной к стене, надевал боксерские перчатки и бил человека, как грушу. Он избивал всех – и старших мальчиков, и младших. Знал, куда наносить удары, чтобы не было видно кровоподтеков и синяков. Но при этом взрослый мужик прикладывал детей по-настоящему, в полную силу, иногда до потери сознания. Настолько жестоко, что стены в домике тряслись и ходили ходуном.

Во время этих экзекуций мы с девочками втроем сидели на одной кровати и плакали от страха. Я закрывала уши руками, пыталась спрятать голову в колени, но звуки – даже не звуки, гул, который шел по всему бараку, сотрясал меня изнутри. Это происходило каждый день. Всегда кто-то не собирал норму. Всегда Андрей Васильевич избивал кого-то в своей спальне. И мы никому не могли об этом рассказать. Я уже знала, что будет, если я снова, как в том случае с вором-маньяком, открою рот. Понимала, что не смогу ничего сделать против него – станет только хуже, – а когда он начнет меня бить, я просто умру на месте, и все.

Оказалось, что он сам – выпускник нашего детского дома и его точно так же били в детстве другие старшие дети. Наверное, что-то сломалось в нем еще тогда, и он решил таким образом доказывать свою значимость или мстить. Но самое страшное заключалось в другом – о его «воспитательных методах» знали все, кто работал в нашем детском доме. Воспитатели, психологи, заместитель директора – все сотрудники, кроме директора, были в курсе того, что происходит. Только держали рот на замке. С ним никто ничего не мог сделать. Он плотно общался с Райкой, был под ее личной защитой, а против Райки не шел никто. И Василич чувствовал свою полную безнаказанность, устанавливал порядки, от которых любому нормальному человеку становилось не по себе. Он всех втягивал в дедовщину, заставлял старших бить младших, и это касалось не только мальчиков – девочки у нас тоже никогда не были исключением. Андрей Васильевич и для них придумывал наказания. Однажды в лагере три девочки, три Наташи, своровали у старших девушек сигареты. И тогда было решено, что каждый член «Совета старейшин» – в него входили все, кто ездил в ЛТО четвертый, пятый год подряд и больше, – ударит каждую воровку по три раза линейкой по рукам. Их заставили вытянуть вперед ладони и били, передавая линейку по кругу. Хорошо, что я не входила ни в какой совет и меня не заставили этого делать. Я бы никогда не смогла. Наказанные долго потом ходили с опухшими, покрытыми ссадинами руками. Это был мир выпускника детского дома, дорвавшегося до власти, его стихия и его представления о законе.

Я не знаю, почему у такого прекрасного и порядочного директора, как наш Виктор Яковлевич, был такой поганый заместитель, как Райка, которая покрывала всякую мразь вроде Василича. Даже думать об этом не хочу. Мне слишком тяжело задаваться таким вопросом. Я и сегодня на тысячу процентов уверена, что директор ничего не знал, вся информация останавливалась на Райке.

И никто из воспитателей, психологов и тем более детей ничего не мог поделать с дедовщиной – против стада не пойдешь. Система жила по своим внутренним законам, которые передавались из поколения в поколение.

В тот год в лагере я тряслась все время, как осиновый лист. Была на нервах и из-за зашкаливающего стресса писалась в постель каждую ночь. Конечно, я знала, что взрослые заметят это, и тогда мне не поздоровится, поэтому поднималась с первыми лучами солнца, осторожно собирала простыню со своей клеенки – я с ней к тому времени уже не расставалась – и шла стирать. Горячей воды утром в лагере не было, приходилось возиться в ледяной. С горячей водой вообще было сложно, ее давали только по вечерам. А поскольку мылись мы по старшинству – сначала воспитатели, потом старшеклассники и так далее – нам, самым младшим, ее почти никогда и не доставалось. Чистое постельное белье после стирки я вешала на веревку на улице. Матрас тоже вытаскивала на солнце и сушила. К тому времени, как просыпались остальные, все почти высыхало – я снова стелила постель и ложилась, делая вид, что все в порядке.

Только несколько лет спустя, когда я уже подросла, узнала от самого Андрея Васильевича, что меня в то лето от дедовщины спасло лишь то, что я была слишком маленькой. Он боялся трогать меня потому, что мог случайно прибить. Он меня тогда почти не замечал – ходит какой-то детский сад вокруг, ну и пусть.

Зато на второй год он меня заметил. Однажды ранним утром застал за стиркой белья. Заспанный, с едва приоткрытыми глазами, он шел в туалет.

– Ооо, енот-полоскун! Что стираем?

– Белье. – Я старалась на него не смотреть.

– Аааа, – усмехнулся он, – любишь стирать?

– Обожаю, – огрызнулась я, желая скорее от него избавиться.

– Слууушай, – он вдруг проснулся, в глазах промелькнула мысль, – а давай ты и мои вещи будешь стирать! Тебе же нравится.

– Блиииин.

– Значит, договорились! – обрадовался он. – Я щас!

Через минуту приволок из своей комнаты ворох грязной одежды – видимо, не стирал с самого приезда в лагерь. Делать было нечего. Я снова пошла за водой.

С того дня, кроме сбора урожая, у меня появилась в лагере вторая работа – обстирывать Андрея Васильевича. Но если за собранные персики нам еще что-то платили, небольшие, но все же деньги, прачкой я работала, конечно, бесплатно. И все-таки такая форма дедовщины устраивала меня гораздо больше, чем побои. Справедливости ради нужно сказать, что после стирки он иногда покупал мне мороженое. А позже, когда у меня появился свой мобильный телефон, если я просила, пополнял счет. Но зато дал мне обидную кличку Соня Али.

А в первый год Андрей Васильевич еще не додумался меня эксплуатировать, зато нашел другой способ поиздеваться. Это было в «королевскую» ночь – в двадцатых числах августа, за несколько дней до нашего отъезда в Москву. Никому не позволялось спать – все наедались, напивались и встречали рассвет. Но я-то каждый день вставала в четыре утра, а в девять вечера уже просто падала с ног от усталости. Какие мне гулянья? Тем более я их не любила. А тут еще к концу лета у меня начался страшный конъюнктивит. Глаза гноились, по утрам с трудом могла их открыть. Конечно, я ушла в свою комнату и уснула. А проснулась оттого, что все лицо у меня горит. Жгло щеки и лоб, подбородок и шею, а главное – глаза! И я не мгла их открыть. Стала плакать, кричать, звать на помощь. К счастью, прибежала воспитательница, повела меня, слепую, в туалет, умыла, почистила мне глаза. Оказывается, у меня по всему лицу была размазана зубная паста пополам с гноем. Этот великовозрастный придурок играл ночью у нас в комнате с девочками в карты, увидел, что я уснула, и решил «пошутить». Подогрел зубную пасту и намазал мне лицо. Пока спала, я размазала ее по глазам – они чесались, и я их терла во сне. Василича тогда очень жестко отчитали. И с тех пор меня по ночам никогда не трогали, несмотря на праздники и гулянья. Я всегда спала.

То лето в ЛТО я запомнила на всю жизнь. Пахала как проклятая, стараясь вырабатывать норму, хотя поначалу для меня это было слишком трудно. Но я поняла, что должна любой ценой добиться уважения к себе, должна сделать так, чтобы меня не смели трогать – никто и никогда. Эта установка осталась у меня в голове навсегда. Я поняла, что такое труд. А еще благодаря ЛТО узнала, что значат деньги. Там были специальные дни, когда нам выдавали зарплату. И на следующее утро всех везли в город, чтобы тратить эти деньги. Давали время – например, с десяти до трех. И все расходились, кто куда, причем воспитатели разбегались первыми. А я оставалась одна. Стояла у фонаря в Севастополе, около которого нас высадили, и понимала, что лучше мне далеко от этого места не уходить, иначе потеряюсь. У меня вообще всегда было плохо с ориентированием на местности, я не запоминала окрестностей, не могла находить дорогу. И вот в тот раз я пять часов подряд ходила вокруг этого фонаря, потому что боялась потеряться. Только в следующий выезд в город немного осмелела, стала ходить вдоль набережной туда-сюда. Рассудила, что вдоль моря одна дорога и теряться тут негде. Когда все собирались в автобусе – я вздыхала с облегчением, – начинались расспросы, кто что купил.

– Соня, а ты что себе купила? – поинтересовалась воспитательница.

– Ничего.

– Почему?!

– Так получилось…

И я ходила потом, прятала деньги, чтобы их не своровали. Воровство у нас в детском доме было всегда, поэтому сохранить свои собственные деньги оказывалось сверхзадачей. Я везде таскала их с собой, клала в карман одежды, а одежду – в сумку, с которой не расставалась. Конечно, это были копейки, но меня они наполняли гордостью. Я не тратилась, как другие дети, на чипсы, газировку и прочую ерунду, я с самого начала решила копить. Когда приехала в детский дом, отдала все заработанное на хранение воспитателю и стала мечтать о своем будущем. О том времени, когда я, наконец, выйду на свободу из детского дома и начну жить.

Глава 23

Труд

Следующие шесть лет своей жизни каждое лето я ездила только в ЛТО. Казарма, в которой мы жили в первые годы, постепенно развалилась. Нам сказали, что там уже нельзя размещать детей, и стали возить нас в другой трудовой лагерь, еще ближе к Севастополю.

Единственная из всего детского дома была в летнем трудовом лагере семь раз подряд: такого ни с кем еще не случалось, потому что брали в ЛТО только с четырнадцати лет. И максимум у ребят получалось по четыре-пять лет трудовой практики. Я одна стала исключением. Конечно, это был не мой осознанный выбор – нас ни о чем не спрашивали, заранее не предупреждали: всех сажали в поезд и везли. Но в отличие от остальных я хотела работать. Все годы пахала как лошадь, и собирала по две и по три нормы уже не из-за страха наказания, а ради зарплаты. Мне нужны были деньги, и я стремилась зарабатывать.

Благодаря жизни в итальянских семьях я поняла, что, когда выйду в восемнадцать лет, мне нужно будет очень много всего. Никто же не даст с собой из детского дома посуду, постельное белье, вилки, ложки и всю остальную утварь. Я откладывала каждую копейку все семь лет – и заработанное, и те карманные, которые были положены нам в детском доме, – и отдавала их воспитателям на хранение. Иногда просила их что-то мне купить. Говорила, например: «Купите мне, пожалуйста, постельное белье. А то я не знаю, какое хорошее, какой ходовой размер. Только мне голубого цвета!» Воспитательница ехала, покупала и привозила два комплекта – одно голубое, одно персиковое, – ей казалось, что так будет лучше. И я расстраивалась: «Блиин, персиковое-то зачем?» Жалела, что она потратила мои деньги на то, что мне было не нужно. Так этот персиковый комплект у меня и лежал несколько лет, а потом я подарила его подруге. Но все равно воспитатели очень помогали, спасибо им за это.

С двенадцати лет я уже совсем не жила настоящим. Дни пролетали мимо, не запоминаясь. Я терпела и, стиснув зубы, ждала окончания срока заключения – мечтала о том дне, когда мне исполнится восемнадцать лет.

Погружалась в себя и постоянно рисовала в голове, какая у меня будет квартира, какой я сделаю там ремонт, какую мебель куплю, что из вещей мне пригодится, а что будет не нужно. Этот образ, деталь за деталью, выстраивался в голове и стал таким реалистичным, что я могла мысленно путешествовать по собственному дому, жить в этом параллельном, придуманном мною мире. Конечно, представление о квартире у меня было тогда фантазийным, я же никогда в жизни не бывала ни у кого в гостях. Знала только, что мне как сироте выдадут от государства социальное жилье – именно однокомнатную квартиру. Но что это такое и как должно выглядеть, я понятия не имела! Мне казалось, что если «однокомнатная», то это действительно просто одна комната, никаких стен больше нет. И в этом пространстве все необходимое как раз и стоит: унитаз, ванная, кухня, мойка, плита, тут же кровать, тумбочка, шкаф. Так что до шестнадцати лет у меня было забавное представление о квартирах. А в шестнадцать посчастливилось первый раз в жизни побывать в гостях – меня пригласила девочка из санатория, с которой я общалась. В этом возрасте нам уже разрешали выходить из детского дома самостоятельно, только нужно было заявление написать. И я старалась всегда куда-нибудь уйти по выходным, потому что оставалась фактически одна в детском доме – все куда-то сматывались. Кто к родственникам, кто к родителям, кто бабушек-дедушек навещать. Меня боялись отпускать, знали, что я плохо ориентируюсь, но я объясняла, что до метро мы сто раз ездили всем классом, я знаю, на какой троллейбус сесть. В метро тоже была не раз, а на нужной станции меня встретят. Воспитатели все равно просили звонить им, докладывать, как доехала. Я, конечно, звонила. И старалась обратно вовремя приезжать, не опаздывать – всегда к семи вечера, как положено, возвращалась, чтобы потом еще отпустили.

И вот я пришла в гости. А таааам! Столько разных маленьких комнат, дверей, помещений, хотя называется это все «однокомнатная». Я просто обалдела от счастья! Поняла, что и у меня будет так.

– А разве туалет по документам не считается отдельной комнатой? – мучила я подругу. – Он же за своей дверью.

– Ну нет, не считается.

– И кухня не считается?! – Меня поразило, какая она большая – при желании можно поставить диван и ночью спать. – Это же целая комната!

– Ну, вот так. – По-моему, она подумала, что я совсем дикая, элементарных вещей не знаю. Но мне это было все равно, я хотела разобраться, как и что в квартире устроено.

Я ходила из помещения в помещение и думала: «Оооо, шикарно!» А после стала еще усерднее копить – поняла, сколько всего придется после выпуска покупать. Один только холодильник чего стоит. А в него же еще продукты надо класть: шесть раз в день никто уже не будет в столовой кормить. Никаких чипсов, никакой жвачки, никаких – тем более – пива и сигарет в моей жизни не было. Только покупки для будущего.

Большинство выпускников детских домов не умеют копить деньги, для них главное – получить что-то прямо сейчас, истратить все до последней копейки. Я думаю, на меня именно ЛТО очень хорошо повлиял за семь лет – я привыкла к труду и узнала цену деньгам.

Жаль, эту практику потом отменили, детей из детских домов перестали вывозить в трудовые лагеря. Поэтому каждое лето великовозрастные сироты, которые в свои пятнадцать-семнадцать лет уже и курят, и пьют, и делают все остальное, торчат в детских лагерях. От безделья они начинают выдумывать всякую ерунду – напиваются, воруют, устраивают оргии, а работать в итоге не приучен никто. Это все сразу после моего выпуска началось – Гоша[2] в своей книге все как есть рассказал, он как раз на шесть лет младше меня и за всю жизнь в детском доме ни дня не работал.

Сегодня я благодарна себе за стойкость тех лет. Помогла моя способность жить в параллельном мире, рисовать в голове другую реальность и прятаться в ней. И, конечно, огромную роль сыграло все, что я видела за пределами детского дома, – итальянские семьи, больницы, лагеря. Я брала кирпичик за кирпичиком эти знания и благодаря своему воображению строила из них собственное будущее. В отличие от многих других детских домов наш благодаря директору был очень открытым. Мы видели реальную жизнь «за забором», иногда прикасались к ней, и это оказалось важно для будущего.

Несмотря на то что я трудилась, огромных накоплений, как у других сирот, которые получали пенсии по потере кормильца или алименты, у меня не было. Моя мама была живой, просто считалась пропавшей – ее четырнадцать лет искали. Соответственно и алиментов за эти годы не было никаких. Но я про такие деньги – которые могли свалиться с неба – не думала. Рассчитывала только на себя.

Постепенно я стала в ЛТО чуть ли не самым опытным человеком, старожилом. Мне начали поручать, помимо основной работы, присмотр за младшими девочками. Насмотревшись на Василича, я поняла, что никогда не буду поддерживать дедовщину. И жила по этому принципу. Помню, в последний год в ЛТО я оказалась самой старшей, причем разница с остальными была существенной – несколько лет. Конечно, мне поручили присмотр за младшими, и я с ними работала, воспитывала как могла, при этом не запуская механизмов дедовщины. Никого не унижала, не била. Если они что-то воровали по мелочи – это у нас делали практически все и всегда, – сидела и подолгу с ними разговаривала. Однажды увидела, что у девочек откуда-то вдруг появилась одежда, которая стоила явно больше того, что они заработали и могли потратить. Пришлось принимать меры. Собрала их всех в комнате и строго сказала:

– Сейчас берем новые вещи и везем обратно – туда, откуда взяли!

– Соня, не надо, – они привычно давили на жалость, – нам просто носить нечего. Мы больше не будем!

– Так не пойдет, – стояла я на своем, – натворили дел – придется отвечать.

Они ныли, умоляли, но я все равно собрала их и повела на остановку. Совести у них хватило только дойти до дверей автобуса, который ехал в город, дальше они плакали и умоляли.

– Соня, не наааадо, – они уже хлюпали носом, – нам будет стыдно!

– Стыдно воровать, а не возвращать.

– А вдруг вызовут полицию?

– Значит, будете перед полицией отвечать!

– Соня, ну пожааалуйста, мы никогда в жизни так больше не будем! Это в последний рааааз!

В тот раз мы не поехали «сдаваться», но я их предупредила, что это первый-последний случай. Больше такого не допущу. С тех пор после поездки в город всегда проверяла у них сумки. И они больше не пытались воровать, вели себя прилично. С момента переезда в новый лагерь – он был совсем близко от Севастополя – мы, дети, уже ездили в город одни, без воспитателей и сопровождающих. Садишься в маршрутку, пять минут пути – и на месте. Младших поручили старшим, а взрослые жили своей жизнью. По-другому в лагерях на моем веку никогда и не было, с самого начала сложилась такая традиция. Если кто провинился, вызывали «старшаков» и говорили: «Поговорите-ка вот с этим. Он нарушил то-то и то-то». А как старшие могут поговорить? Только кулаками. Другим способам их не научили. Получается, процесс дедовщины запускали сами воспитатели. И вот это бесило. Дети жили своей жизнью, устанавливали порядки, каждый в меру своей испорченности, а воспитатели вообще оказались не нужны. Они включались, только когда возникали ситуации, в которых нельзя было обойтись без официальных документов. Например, в больницу своих девочек я не могла отвезти, потому что без документов нас бы не приняли, а все бумаги хранились как раз у воспитателей. Был такой случай: мою одноклассницу Олесю укусило какое-то насекомое. И нога у нее в месте укуса опухла. Воспитатели отправили нас с ней в изолятор, там говорят: «Ничего страшного, обычный укус, скоро пройдет. Идите отсюда!» А на следующий день у нее вся нога распухла и стала как бревно. Вот тут уже взрослые проснулись – девочку повезли на «Скорой» в больницу. Оказалось, у ребенка гематома огромная, сказали, что если бы еще один день подождали, то она осталась бы без ноги, пришлось бы ампутировать. Олесю положили в больницу. Потом мы с ребятами ездили к ней почти каждый день, навещали. Тут уже и воспитательница сопровождала нас, куда ей деваться.

А в обычных обстоятельствах педагоги наши не очень-то себя утруждали. Одна из них, например, все время сидела у себя в комнате и смотрела бесконечные сериалы. У нее был портативный DVD, и она с ним не расставалась. Выходила только на обед, завтрак и ужин. Ну и ночью обходы делала иногда – следила за нами, чтобы не сбежали и что-нибудь не натворили. Другая по будням, когда мы работали, ездила вместе с нами на сбор урожая. Контролировала нас там. Она не работала в садах, просто за нами следила. То есть воспитатели были с нами как сопровождающие, но в вопросы воспитания не влезали.

Мы должны были разбираться сами. И у меня в голове была такая установка, что если воспитатели этого не делают, то мне нужно подавать младшим детям пример самой. Показывать им, что хорошо, а что плохо, как надо себя вести, а как нельзя. Детям-сиротам всегда очень трудно справляться с собой, не зная общепринятых принципов. Самую простую вещь – «воровать нельзя» – невозможно было до них донести. Это как привычка, как развлечение – дети постоянно ходили и воровали в ларьках. Увидели что-то, понравилось, взяли. Ложки, вилки, сувениры, футболки. Надо – не надо, вообще все подряд. Один отвлекает, а остальные берут.

Когда я много лет спустя стала изучать этот вопрос, то выяснила, что воровство – одно из прямых следствий нарушения привязанности. Дети все время хотят пополнить недостающий ресурс. Заменяют отношения с близким взрослым, которых у них нет, материальными благами. Не знаю, почему лично у меня при всех остальных нарушениях – уход в себя, страх отношений, недоверие к людям, ненависть к тактильному контакту – была твердая внутренняя мораль. Наверное, из-за убеждения «моя мама хорошая, и я тоже хорошая», с которым я все время жила. Я всегда сверялась с образом мамы, который был в моей голове, и думала, как правильно поступить.

А с девочками приходилось устраивать долгие беседы, делать внушения. Я пыталась их образумить.

– Просто представьте, – говорила я, – придут эти продавцы к нам на работу и станут забирать у вас из ведер собранные персики. Или еще хуже – черешню. Вы весь день работали, с ног валитесь, а результата ноль.

– Не, ну это другое!

– То же самое! – старалась я донести суть. – Вы собирали-собирали, мучились на жаре, а у вас взяли и все украли. И надо заново собирать! Плохо, обидно?

– Да.

– Вот и им также! Только этим тетенькам в ларьках не чипсы и жвачки надо покупать себе, как вам, а детей своих кормить. И если вы что-то украли, денег они за работу не получат! Будут возмещать хозяевам ущерб.

– Аааа, теперь понятно, – тянули они, опуская глаза.

– Еще раз что-то такое себе позволите, в город больше никогда не повезу.

Они на меня не обижались. Мы хорошо ладили, обходились без побоев с моей стороны и без ненависти с их.

И вот однажды, уже в конце лета, воспитатели собрали очередную линейку. Выстроили всех, и первым слово взял Василич. Ему к тому времени исполнилось уже тридцать лет, взрослый мужчина, но ничего в его «воспитательных методах» не поменялось.

– Соня, – он повернулся ко мне, – ты у нас тут кто? Последний из могикан?

– В каком смысле?

– В прямом! – Он подошел ко мне вплотную. – Семь лет уже ездишь, порядки в лагерях знаешь, все своими глазами видела.

– И что?

– Ты почему, – он скривил рот, – не воспитываешь девочек?

– Я этим и занимаюсь постоянно! Разговариваю с ними, подаю пример, – и только тут до меня начало доходить, что он имеет в виду.

– Не воспитываешь, как надо. – Он сделал страшные глаза.

– Ты имеешь в виду, – меня трясло от него, – я должна их бить? Я не буду их бить! Я не буду бить никого и никогда.

И тут на меня стали орать все педагоги сразу. Сначала повысил голос и перешел на крик Василич, потом к нему присоединились остальные воспитатели, стали на меня наезжать. От одной из них я в принципе такого не ожидала – она казалась мне хорошим добрым человеком.

Я потом много размышляла об этом. Почему взрослые в той ситуации не встали на мою защиту? И пришла к выводу, что не было у нас там ни хороших, ни плохих воспитателей: все оказались двуличными и поддерживали самую жестокую систему дедовщины. Взрослым не было дела до того, как мы общаемся между собой. Их не интересовало, кем мы вырастем после их «методов». Главное, чтобы здесь и сейчас дети ходили шелковые, не смели даже пикнуть. Чтобы от воспитателей не требовалось никаких усилий. Они не были нам родителями, не болели за нас душой.

– Почему ты их не воспитываешь, как надо?

– Они по-другому не понимают!

– С этими можно только силой!

Я стояла, слушала это все, и слезы сами покатились из глаз – настолько это было обидно. Я всеми силами удерживала девочек от нехороших проступков, старалась, как могла, и главное, у меня получалось! Я справилась: не дала никому разбежаться, не позволила воровать, напиваться, драться. Пресекала всякую дедовщину на корню – в моей группе никто ни с кем физическими методами отношения не выяснял. Даже «спортивных» наказаний не применяла – из разряда «беги двести кругов» или «сто раз приседай», как делали все «старшаки» в детском доме. Мне удалось объяснить своим подопечным, что воровать плохо. Что огрызаться на людей не стоит: всегда есть более действенные способы договориться с ними. И за это меня сейчас поливали грязью?! Унижали меня, причем на глазах моих же девочек! Конечно же, я расплакалась. Развернулась и просто ушла с линейки, которую собрали для того, чтобы устроить мне «публичную порку». Вернулась в комнату и лежала там до тех пор, пока детей не отпустили. После этого мои девочки на цыпочках пробрались ко мне. Двое сели на краешек моей кровати, как воробышки. Остальные толпились вокруг.

– Соня, не плачь, пожалуйста!

– Мы исправимся, Соня.

Они говорили наперебой, а я слышала в их голосах слезы. Они жалели меня и были на моей стороне.

– Мы будем вести себя как ты скажешь.

– Не плачь только, мы же ничего плохого не сделали.

– Верю, – я как могла улыбнулась, – вы у меня хорошие.

После этого все десять дней до отъезда из лагеря мои девочки вели себя идеально. Никто ни разу не получил даже замечания. Не ссорились между собой. И даже воровать перестали. Наверное, поняли, через что мне приходилось проходить, чтобы уберечь их от побоев и физических наказаний. Как непросто было идти против системы, которая сложилась давным-давно и не менялась десятилетиями.

– Ты только не переживай, – они то и дело подходили ко мне, – мы всем докажем, что мы хорошие!

В итоге даже воспитатели стали ко мне подходить с комплиментами нашей группе – те самые, которые орали во время линейки, что я обязана своих подопечных бить.

– Соня, что это ты с ними сделала? Они у тебя просто шелковые.

– Я ничего с ними не делала, – говорю, – а вот вы со мной сделали!

Но они не понимали меня. Пожимали плечами, дескать, подумаешь, накричали, большое дело, и дальше шли своей дорогой.

Наши педагоги, люди, чьей профессией было воспитание детей и забота о них, не сознавали самых простых вещей: все дети управляемы, если нормально с ними разговаривать. Если не кричать, не оскорблять и не бить, они рано или поздно пойдут на контакт. Уважение нужно каждому ребенку, неважно, сколько ему лет – пять или семнадцать.

Я находила язык с самыми сложными подростками, а взрослые не понимали, как у меня это получается. Просто сгружали мне год за годом самых непослушных, на пике подросткового кризиса – в тринадцать-четырнадцать лет. Тех, с кем не могли справиться сами. Но кого бы мне ни давали, у нас в итоге был самый адекватный отряд во всем лагере. Я работала с девочками бок о бок, и они видели, как нужно относиться к труду. Жалела их, когда они болели. Помогала, когда им было сложно. И они отвечали мне тем же. А воспитатели с детьми не справлялись, потому что не хотели вникать, не желали тратить на нас свои силы. Зачем? Когда можно смотреть фильмы и купаться в море. Легче переложить на кого-то ответственность. Так они и делали.

Даже повзрослев, не могу простить им ту позорную линейку. После нее осталась уверенность, что взрослые в отличие от детей не исправляются никогда. Вот их перевоспитывать уже точно поздно!

Глава 24

Воспитательница

Из ЛТО я всегда возвращалась с температурой под сорок. И в первый раз так было, и в последний, и всегда. Уже в поезде мне стало плохо и начиналась страшная ангина. Я не понимала, что происходит – болезнь набрасывалась, как зверь. Может быть, организм протестовал против возвращения в детский дом? Может быть, это была защитная реакция против среды, в которую мне не хотелось снова погружаться? В первый год температура поднялась до сорока двух, воспитатели в итоге не спали всю ночь – бегали по вагону, меняли влажные тряпки на моей голове. Спасибо им за это. Естественно, сразу по приезде я слегла, меня поместили в изолятор. Там-то я познакомилась со своей новой воспитательницей – в шестом классе нас опять передали другому человеку. Алие Имировне. Она сама пришла меня навестить. Входит, я на нее смотрю и понимаю, что эта женщина мне не нравится. Невозможно даже объяснить почему – неприятно, и все. Хотя во внешности ее не было ничего отталкивающего, просто она не вызывала доверия. Восточная маленькая женщина с темными волосами, полненькая, ходила как пингвинчик – тын-тын-тын-тын, – широко расставляя ноги.

– Кто здесь Соня? – спрашивает она медовым голосом.

Я на нее смотрю и думаю: «Блиииин, послал бог такую воспитательницу!» Но делать нечего, конечно, откликаюсь:

– Я.

– Очень хорошо, – говорит она и смотрит на меня пронизывающим взглядом, – давай знакомиться, я твоя новая воспитательница!

Поначалу она старалась быть очень доброй. Многое разрешала нам и хотела понравиться. Даже раздала всем детям на руки карманные деньги – раньше мы только вместе с воспитателями ходили в магазины, что-то там покупали, а теперь вот появилась новая традиция. Пришлось и мне эти карманные деньги взять, хотя они были мне не нужны. Отказаться я не могла – не умела говорить «нет». Дает взрослый человек, надо брать, иначе невежливо.

– Сходите купите себе что-нибудь в магазине! – предлагала Алия Имировна.

А я уже понимала, что не хочу ничего покупать, хочу копить. Но куда эти деньги в группе денешь? Положила однажды на зеркало, пришла – хоп, а моих денег на месте уже нет. В следующий раз спрятала подальше, в ежедневник. Открываю его на следующий день, и там тоже пусто. Деньги пропадали всегда. Конечно, их воровали мои товарищи – те, с кем я вместе жила в одной группе и училась в одном классе. Но что я могла с этим поделать? Я была для них ровесницей, а не «старшаком», они меня не стали бы даже слушать. И главный вопрос был в том, куда девать эти деньги, чтобы их сохранить. В итоге я осмелела, подошла к воспитательнице и попросила денег мне больше не выдавать. Пусть лежат у нее. Она, на мое счастье, согласилась. И первое время все шло довольно гладко. Я даже подумала, что, может быть, все обойдется. Сможем ужиться.

Но первая неприятная история случилась в день рождения Алии Имировны. В марте. Все дети поздравили ее, а я нет. Кто-то купил ей шоколадку на карманные деньги, кто-то открытку, кто-то цветок, только я одна – ничего. У меня же не было денег, я их не брала. Подарить мне было нечего – в тумбочке лежит расческа, зубная щетка, зубная паста и тетрадки. Какие подарки? Я постаралась не попадаться ей на глаза в этот день, но все равно разборок в итоге избежать не удалось. Вызывает она меня вечером к себе и говорит:

– Соня, ты единственная из всего класса меня не поздравила!

И я стою перед ней, опустив голову. Мне стыдно, но я не знаю, что говорить. Судорожно соображаю, что можно ей подарить, и думаю: «Может, доску ей принести с моим выжиганием? Возьмет она такой подарок? Нет, наверное. Зачем он ей? Она же взрослый человек».

– Простите, пожалуйста.

Я извинилась, сделала виноватое лицо и пошла дальше своей дорогой. Но эта ситуация была только началом истории. Дальше стало намного хуже. Она начала цепляться ко мне на каждом шагу, а после шестого класса еще и поехала с нами в ЛТО – ходила там за мной по пятам, приставала с расспросами.

– Соня, а что ты скажешь, если к вам в группу придет молодая воспитательница? – спросила как-то Алия Имировна.

– Не знаю. – Я вообще не понимала, куда она клонит.

– Ты же будешь рада?

– Да. – А что я еще ей скажу?

– Почему ты тогда сейчас не радостная? – прицепилась она.

Я стою и думаю, а зачем вообще меня об этом спрашивать? Что я могу в этой ситуации изменить? Если придет – значит, придет, я-то ничего не могу с этим поделать. Какой достанется воспитатель, с таким и придется жить. И только потом до меня дошел смысл этого разговора – оказывается, она собиралась привести на работу в детский дом свою дочку, причем в нашу же группу. Как очень скоро выяснилось, яблоко от яблони недалеко падает. Они обе были обидчивые, конфликтные, вечно всем недовольные и слились для меня в единое целое под одним общим именем «Имировны». И все-таки старшая Имировна меня доставала больше.

Причем самые неприятные стычки возникали у нас по праздникам. Помню, на очередное Восьмое марта мы от всей группы нарисовали для нее открытку, но подарили ее только вечером, а не утром. Ох, что тут началось! Она взяла эту открытку, как будто ей протянули лягушку, и, скривив лицо, разорвала ее на мелкие кусочки. Разноцветные клочки – обрывки лепестков, листьев травы, солнца и неба, падали на пол из ее рук, а мы стояли в шоке и не понимали, что происходит.

– Мне не нужны ваши подачки, – она стала красная от гнева, – поздравлять нужно было утром!

– Почему?! – спросил какой-то смельчак.

– Потомуууу что! – Она уже кричала. – Вы меня утром видели и ничего не сказали! Это неуважение ко мне! Поздравляют утром, запомнили, утроооом!!!

От ее крика бешено застучало сердце, в голове запрыгали мысли: «Ну, как мы утром могли поздравить? Не было половины детей, ждали, когда все соберутся». Это был выходной, все уходили по домам, к родственникам. Я же не могла быть единоличницей, поздравить только от себя. И эти злосчастные открытки, которые я рисовала и которые мы дарили от всего класса, преследовали нас много лет. Мы дарили, она рвала. Мы дарили, она рвала. Мы взрослели, открытки становились больше и лучше, а она все рвала.

И вот однажды, кажется, это было в девятом классе, получилось так, что незадолго до Восьмого марта я попала в больницу. В детский дом вернулась только шестого марта. Приехала – и сразу побежала к девчонкам.

– Вы открытки воспитателям нарисовали?!

– Только Имировнам.

– Хорошо! Побегу тогда остальным рисовать.

А я же не знала, что именно они нарисовали Алие Имировне. Понятия не имела. Пришла к Людмиле Михайловне, как обычно, попросила листы формата А3 – думаю, не маленькие уже, надо делать открытку побольше. Сложила его пополам, наклеила цветов, тут обвела, там нарисовала. Вполне прилично получилось. И мы ту воспитательницу, которая у нас Восьмого марта работала, день в день поздравили, вручили открытку. Но она почему-то не забрала ее домой – оставила на столе в кухне. Может, забыла, а может, не считала чем-то ценным. И первое, что увидела Алия Имировна, когда пришла на работу после выходного, – была эта открытка.

И вот настало время поздравлять ее саму. Девочки протягивают ей то, что подготовили, и я в это мгновение чувствую, как земля уходит у меня из-под ног – эта открытка оказалась в два раза меньше моей, да еще с каким-то бледным детским рисунком. И вот я стою, втянув голову в плечи, жду бури. Конечно же, она разразилась. Имировна с обидой берет эту несчастную открытку, рвет ее демонстративно на тысячу кусочков и бросает бумажки в воздух. И тут, в этот самый момент, у меня просто срывает крышу: я начинаю орать. Причем первый раз в жизни матом.

– Да вы офигели, – кричу я так, что горло горит, – меня уже это …! Какого черта вы все… сравниваете! Вы… взрослый человек!

Она стоит и хлопает в шоке глазами, не может вставить ни слова.

– Да пошли вы… со своими обидами! Невозможно… так жить! Вы воспитатель тут… или кто?! Что за сцены… каждый раз?!

Ору не могу остановиться. Мат-перемат.

– Да вы меня вообще… бесите! Идите на…!

Послала ее и стрелой, в чем была, вылетела из корпуса, забежала в лес и стала орать на деревья. Уже не могла остановиться – от постоянного напряжения, от вечного стресса у меня сорвало крышу.

– Она меня бесит! – кричала я. – Да сколько можно?! Я ее ненавижу! Зачем она вообще у нас тут работает? Да еще привела сюда свою дочку, такую же сволочь, как и сама!

Я орала и орала, орала и орала. А Имировна, видимо, слушала все эти дикие крики через открытую форточку. Потом, когда я сделала первую паузу, чтобы перевести дух, она высунулась в окно.

– Соня, поднимись ко мне, пожалуйста.

– Я подумаю! – бросила я в ответ.

И вместо того, чтобы вернуться в здание, побежала наматывать круги вокруг детского дома. Пока бегала, немного пришла в себя. Поднялась наверх. И тогда услышала первые в своей жизни извинения от взрослого человека:

– Я хотела попросить у тебя прощения. – Она смотрела на меня какими-то странными, влажными глазами. – Извини меня, пожалуйста. Я была не права.

– Это все?

– Да.

– Тогда я пошла!

И снова убежала на улицу, мне нужно было на воздух. Я услышала ее извинения, но тогда, в тот момент, им не поверила. Понимала, что еще будут с ее стороны и непонятные наплывы эмоций, и необъяснимые претензии. Она с самого начала относилась ко мне не как к остальным, и я никак не могла понять, что именно сделала не так. В чем моя вина?

Тогда мне и в голову не приходило, что внутри взрослого человека бурлят собственные эмоции. Кто и когда говорил с нами о чувствах? Кто учил распознавать радость или грусть, веселье или отчаяние, удовольствие или боль? Не было ничего. Я не могла назвать собственных переживаний и, как слепая, не обращала внимания на чувства других. Окружающие люди никогда не казались мне расстроенными или, наоборот, счастливыми. Испуганными или, наоборот, спокойными. Мне, откровенно говоря, было на них на всех наплевать. Годы невнимания к моим собственным чувствам вернулись в подростковом возрасте бумерангом безразличия. Я просто делила людей на две категории – добрые и злые. Злые орут потому, что они так устроены. Добрые разговаривают с детьми ласково по природе своей. Вот и все. Только сегодня, пройдя гигантский путь, я понимаю, что не все так просто и у каждого человека есть свои переживания. Спустя годы с большим трудом, но я учусь их распознавать.

Глава 25

Ревность

Имировна в моей картине мира была самым злым человеком. Я мечтала о том дне, когда от нее смогу избавиться. Но куда там! Порой мне не везло настолько, что она не просто проводила с нами учебный год, но и ехала на все лето в лагерь. И там тоже умудрялась строить мне козни.

Однажды вечером после отбоя я вышла из корпуса в туалет. А она вдруг остановила меня на половине пути и начала орать: «Почему ты до сих пор не в кровати?! Все уже спят. Что ты тут шляешься?!» Я стою слушаю это все, заливаюсь от обиды горючими слезами, разворачиваюсь и иду обратно в комнату. За что она на меня накричала? Я ничего плохого не сделала! Никого не обидела. Ничего не украла. За что она со мной так? Я не могла сказать взрослому человеку: «Мне нужно в туалет». Это было стыдно. Но все же и так понятно! Куда еще я могу идти после отбоя? Она воспитатель и должна это понимать. Потом была еще одна дурацкая ситуация, когда Имировна забрала у меня воду, которую я принесла из столовой для медсестры. Целую пятилитровую бутыль – тащила ее по жаре для медсанчасти. А Имировна вошла и без спросу уволокла ее к себе в комнату со словами: «Мне нужна эта вода». Конечно, опять я проглотила все молча. И буквально тем же вечером, когда все ушли на дискотеку, а я легла спать, Имировна ворвалась в нашу комнату и начала на меня орать. У меня из глаз тут же покатились слезы, потому что я не понимала – за что? Что я ей сделала плохого?! В итоге я в истерике, а она вылетает из комнаты и хлопает дверью так, что та чуть не слетает с петель. После этого я пошла к медсестре, для которой носила воду, и взяла у нее успокоительное – без этого уже ни выйти из истерики, ни уснуть не могла. На следующее утро всем назло я не поехала на работу – думаю, обойдетесь сегодня без моих тридцати ведер персиков! Делайте нормы сами. Лежу в кровати, смотрю в потолок, и тут вдруг воспитательница, с которой я жила в одной комнате, ни с того ни с сего мне говорит:

– Соня, тебе нужно потерпеть.

– Что потерпеть? – не поняла я.

– Просто потерпи, делай вид, что ничего не замечаешь. Алия Имировна делает это все не со зла.

– А с чего?! – Внутри меня все мгновенно взорвалось. – Я не могу больше ее терпеть! Почему она приходит, творит что вздумается, потом на меня же орет?! Почему она сама не взяла воду из столовой? Почему не разрешает мне ходить в туалет? Почему унижает ни за что? Я тоже человек!

– Да, я все понимаю, – она старательно морщила лоб, пытаясь подобрать подходящие слова, – но как бы тебе это объяснить.

– Хоть как-нибудь объясните!

– Алия Имировна ревнует тебя.

– Что?!

Воспитательница увидела ошарашенное выражение моего лица.

– Ты все эти года не замечала, что она к тебе неравнодушна?!

– Нет…

Я потом долго сидела и думала: «Вот счастья-то привалило!» И только в тот момент стала кое-что понимать в поведении Алии Имировны. Она действительно оказывала мне знаки внимания, я просто не придавала им значения. Например, она часто говорила ребятам: «Все идут убираться, а Соня пусть отдыхает». Выходя на улицу, предостерегала меня: «Соня, завяжи шарф получше, горло, не дай бог, простудишь…»

Этим моментам я придала значение уже после выхода из детдома – поняла, что она действительно пыталась пробиться ко мне, хотела стать чуточку ближе. Старалась дать мне то, чего я не умела взять. И когда не получалось по-хорошему, срывалась, начинала орать от бессилия. Парадокс, но воспитателей тоже не учили обращаться с сиротами! Их просто бросали на произвол того внутреннего ада, в котором мы жили и надеялись, что они сами сообразят, что делать. Но воспитатели не справлялись. Они быстро выгорали и переставали нам сопереживать. У них у самих не было ни знаний, ни профессиональной поддержки. Только много лет спустя я это поняла, и меня поразила такая простая и, казалось бы, очевидная мысль.

В девятом классе после того случая с моей истерикой Имировна стала осторожнее относиться ко мне. А я старалась избегать ее как могла – ходила на все дополнительные кружки в детском доме, лишь бы только не оставаться в группе и не сталкиваться с ней. Занималась ИЗО, волейболом, гитарой, плела на коклюшках. И после целого года такого «хождения по кругу», уже в десятом классе, произошло еще одно событие. В тот день я убиралась в детском доме. Все ребята разъехались по домам, а меня попросили: «Сонь, ну ты же уберешься за нас? Все равно остаешься на выходные в детдоме». Конечно, уберусь. Что мне, сложно? Все равно делать нечего, идти некуда, а Имировну я видеть не хочу. Лучше заняться делом. Пока мыла столовую и коридоры, наступил вечер. До игровой добралась уже ближе к девяти. Как раз заканчивала мыть полы в это время. Стояла в известной позе, собирала мусор тряпкой, и тут входит Имировна:

– Соня, у меня есть к тебе разговор.

– Я вас слушаю. – А сама думаю: «Что случилось? Ничего плохого я вроде не делала».

– Соня, я хочу тебя удочерить.

И тут повисла такая пауза, что зазвенела тишина. Я готова была провалиться сквозь землю.

– Вы шутите? – говорю.

– Нет, я серьезно. – Она стоит передо мной вся такая притихшая, мнется. – Ты у меня дома не будешь убираться, ничего делать не потребуется.

Я повернулась к ней и посмотрела прямо в глаза:

– Нет, Алия Имировна. Извините, но нет.

– Почему? – Она стояла такая растерянная, что я ее не узнавала: куда только подевались громоподобный голос и железная самоуверенность?

– Я хочу выжить эти полтора года, которые мне тут остались. Я не хочу ни к кому в семью. У меня есть собственная мама, и нет ни малейшего желания идти к вам.

Я не щадила ее чувств – сказала как есть. Она опустила голову и ушла. Ничего не ответила и больше никогда к тому разговору не возвращалась. Было мне ее жалко? Нет. Я даже не думала об этом. Не думала, что обидела ее своим отказом и причинила боль.

Оглядываясь, вижу ревность. Наверное, она хотела, чтобы я одна, только от себя, дарила ей свои открытки? Чтобы откликалась на ее попытки приблизиться ко мне? Чтобы ценила то внимание, которое она пыталась мне дать? Сама она, наверное, сказала бы, что любила меня как собственного ребенка – где-то так и было, временами я ощущала ее желание мне помочь, но при этом отвергала ее. И у Алии Имировны, видимо, из-за этого появилось чувство обиды. Вся ее забота стала уродливой, похожей на издевательство.

Последняя крупная ссора между нами, пока я еще была в детском доме, произошла в последнее лето в ЛТО. В тот день я складывала в коробки груши – гостинцы воспитателям детского дома и директору. Коробок было много, работала я одна. Собирала, не глядя на надписи, что кому: всем отбирала одинаково крепкие, зеленые, такие, которые гарантированно доедут до Москвы. В итоге пропустила завтрак, чтобы успеть все за один день, потом не пошла на обед. Уже ближе к вечеру, устав до смерти, поняла, что если не схожу сейчас в душ, то умру. Попросила одного парнишку, выпускника нашего детдома, мне помочь – собрать последние две коробки. Он согласился.

И вот я помылась, возвращаюсь из душа, подхожу к домику, в котором работала, и вижу, что воспитательница машет мне руками, сигналит изо всех сил: «Не ходи! Там опасно». Я останавливаюсь за домом и слышу, как кричит Имировна.

– Вот, Испергенова, как обычно, своей Эсланде Борисовне лучшее собрала, директору тоже отборные, а мне самое говно положила!

Она кричала на весь лагерь как потерпевшая. Я постояла немного, послушала и пошла, давясь от смеха, переодеваться в свою комнату. Подумала только, что она, как всегда, в своем амплуа – я еще ничего плохого не успела сделать, а она уже на меня кричит! Я спокойно переоделась, повесила полотенце сушиться, вернулась к грушам и тут только поняла, в чем дело. Тот парень, которого я попросила помочь, видимо, не знал, какие груши надо класть в дорогу. И собрал в оставшиеся две коробки самые яркие, красные, сочные. Такие, что и сутки не продержатся в пути: их надо либо сразу есть, либо они превратятся в кисель. Оказалась, что одна из этих коробок была для Алии Имировны!

– Ты почему мне самое говно положила?! – закричала она на меня с порога.

– Алия Имировна, – попыталась я, наконец, объяснить, – эти коробки не я собирала! Попросила другого человека помочь. Я понимаю, что вы все тут сытые, чистые и довольные, а я целый день, не вставая, работала. И мне нужно было хотя бы помыться.

– Нет, это ты! Ты специально это сделала! – продолжала она орать. – Потому что ненавидишь меня!

Я даже не стала ей отвечать. Просто смешно было это слушать. Уже давно следовало понять, что я не хочу к ней ни в дочки, ни во внучки, и успокоиться. Смириться. Уехали мы из лагеря в ссоре – она не разговаривала со мной из-за этих груш.

А три года спустя я сама приехала к Алие Имировне в детский дом – хотела кое о чем ее расспросить. Ну и решила заодно извиниться, хотя виноватой себя не чувствовала. Зашла поздоровалась и говорю:

– Мне нужно с вами кое-что обсудить. Можете уделить мне минуту?

А она со мной не разговаривает. Три года прошло, а она помнит про эти груши и молчит! Детский сад. Я стала ее упрашивать, наконец она согласилась – вышла следом за мной в коридор. Но с обиженным видом, отвернувшись от меня. У нее была такая манера – когда обижалась, то отворачивалась от человека, устраивала нам, детям, бойкот и подолгу молчала.

– Я приехала, – говорю, – чтобы извиниться перед вами. Уже выросла, мозги встали на место, хочу сказать вам спасибо за все. Но вы тоже не правы. Не нужно было так ревновать ко всем.

Я ей сказала в тот день всю правду – что никогда ей полностью не доверяла. Что из-за криков и истерик у меня было отвращение и к ней самой, и к ее дочери. Я просто сидела напротив нее и все это высказывала, потому что понимала – дальше с этим жить не смогу. Мне требовалось все это из себя вытащить и отпустить, чтобы свободно двигаться вперед.

Она слушала-слушала и потом вдруг спросила:

– Соня, а ты почему все время улыбаешься?

– А что такого? – Я не поняла, к чему это она.

– Я тебя раньше такой никогда не видела!

– И не могли видеть, – заулыбалась я еще шире, – мне было не до улыбок, пока жила в детском доме.

Мы о многом тогда поговорили. А еще я расспросила ее про маму – ради этого, собственно, и пришла. А она потом ходила и хвасталась всему детскому дому, что я приезжала извиняться.

Но суть не в этом, а в том, что мне после того открытого разговора стало намного легче. Я больше не чувствовала обиды. Не мне ее судить. И я пришла к важному для себя выводу: она оказалась виновата передо мной лишь в том, что не была взрослым человеком и не думала, что делает. Я понимаю, у женщины есть потребность давать любовь и заботу, возможно, из этого рождается ревность, но я-то ничего такого в своей жизни не знала! Ей нужно было сесть и все мне рассказать о своих чувствах, попробовать их объяснить. А не мучить придирками и скандалами. Может, тогда и я смогла бы ей что-то сказать в ответ. Может, со временем перестала бы ее ненавидеть.

Взрослые в детском доме никогда не использовали главный ключ к сердцу ребенка – открытость. Разговоров по душам у нас не было ни с Имировной, ни с кем-то из педагогов. Воспитатели просто отдавали приказы. Я их выполняла. И была уверена, что взрослый никогда не станет слушать ребенка.

Глава 26

Мама

Говорят, то, что происходит с ребенком в раннем детстве, дает о себе знать в подростковом возрасте. Этот период, как буря, переворачивает все внутри. И потом уже из накопленного и как следует перемешанного опыта появляется новая взрослая личность. Если повезет. Если будет из чего эту личность собрать. Подросток должен взрослеть и отделяться от родителей. Но как взрослеть, если ты еще не был ребенком? Если никто не брал тебя на ручки, не пел тебе колыбельных, не откликался на плач? От кого отделяться, если родителей как не было, так и нет – ни мамы, ни папы? Тогда вместо нормального взросления начинается совершенно другое – возвращение в детство. У меня, по крайней мере, получилось именно так.

До четырнадцати лет я каким-то чудом держалась и старалась не показывать окружающим своих мыслей о маме. Зато потом забыла обо всех, кроме нее. Мне нужна была только она. Я мечтала о маме. Я постоянно хотела к ней. И при этом я даже не знала, где ее искать.

Мама родила меня и оставила в роддоме, не написав ни официального отказа, ни разрешения на усыновление. Я «подвисла» на много лет: мамин ребенок, который в жизни не видел маму. И, только когда я училась в седьмом классе, маму смогли найти. Конечно, я ничего не знала об этом. Понятия не имела, что социальному отделу удалось выяснить ее адрес и даже телефон, – нам таких вещей никогда не говорили. Считалось, что ребенок спокойно живет и не помнит ни о каких родителях, тем более если они его не воспитывали.

Не знаю, как остальные дети – мы таких вещей не обсуждали, это слишком личное, – но я думала о маме каждый день. И сейчас, уже став взрослой, уверена, что самая большая ошибка – ждать, что ребенок может выбросить свои корни и свое прошлое. Нет! Без знаний о том, откуда ты взялся, кто ты такой, невозможно жить.

И вот однажды, безо всякой подготовки, меня вызвали в социальный отдел. Там сидел незнакомый мужчина – мне объяснили, что это адвокат, – и он устроил мне допрос:

– Как тебя зовут?

– Соня. – Странно, что ему не сказали.

– Фамилия?

– Испергенова.

– Таааак, – он что-то отметил в своих бумагах. – Скажи, твоя мама тебе привозит подарки?

– Что?! – Сердце бешено заколотилось, я стала вглядываться в него, пытаясь понять, что именно он знает о маме.

– Повторяю вопрос, – он продолжал смотреть в документы, – твоя мама привозит тебе подарки?

– Нет, – прошептала я едва слышно.

Весь детский дом знает, что я никогда в жизни не видела свою маму. Что ко мне, единственной из всех детей, никто не приходит. К чему этот унизительный разговор?

– Она тебя навещает? – прозвучал новый вопрос.

– Нет.

– Ты когда-нибудь видела свою маму?

– Нет.

– Знаешь, где она живет?

– Нет, не знаю.

Еще и еще, миллион жутких вопросов. Каждый входил в меня словно отравленная игла. Но никому не было дела до моих чувств. Мужчина смотрел только в бумаги, каждый раз отмечая что-то после моего очередного «Нет». Нет. Нет. Нет. «Я ничего не знаю! – хотелось мне крикнуть. – Разве вы не понимаете?» Но я молчала, только сжимала кулаки и впивалась ногтями в ладони, чтобы выдержать эту пытку. Мысли мешались в голове, прыгали и мешали спокойно дышать. Я сидела перед ним беспомощная и хватала ртом воздух, почти теряя сознание. Он спросил все, что ему было нужно, и ушел. А я – нет. Как я могла упустить такой шанс?! Ему явно было что-то известно про мою маму. Это я, а не он должна была задавать вопросы о ней, это мне, а не ему нужно было найти ответы! Где она? Жива ли, здорова? Есть ли у нее дети, семья? Все ли у нее в порядке? А если да, почему она до сих пор не нашла меня? Я ни о чем его не спросила. Дура. Дура!

Вопросы, которые всегда бродили в моей голове, вспыхнули с того момента как пожар. Мысль о том, что мама нашлась, не давала покоя. Я думала о ней непрерывно, двадцать четыре часа в сутки. Мне не было дела до других взрослых и тем более до детей, которые жили рядом. Я хотела только одного – встретиться с мамой. Я ушла глубоко в себя, потому что это был единственный способ оказаться с ней рядом. Только там, в собственной душе, я могла говорить с мамой часами. Она рассказывала мне о своей жизни, а я ей – о своей. Я подолгу смотрела в ее глаза – свои глаза – и только в эти минуты могла дышать.

Сегодня уверена, что именно благодаря этому убежищу в собственном воображении я и спасалась. Благодаря фантазиям выжила. А когда «возвращалась» в детский дом из параллельного мира, когда меня грубо выдергивали оттуда, хотелось одного – умереть.

После визита адвоката состоялся суд. Я не была на нем, знаю только одно: в заключении суда написано, что в 2007 году маму лишили в отношении меня родительских прав и назначили алименты в мою пользу. Детский дом оформил сберегательную книжку, и на нее стали поступать деньги от мамы. Я не знала, сколько она платит, не знала, как часто, меня это не волновало. Никакие деньги мне были от нее не нужны. Нужна была только она сама! Я физически ощущала неразрывную связь с ней и все глубже уходила в себя – только для того, чтобы быть с мамой наедине.

В то время я жила на грани нервного срыва. Постоянно хотела к маме и не могла больше ждать. Я и так слишком долго ждала! Ее не было рядом, когда я делала первые шаги, произносила первые слова и первый раз шла в школу. Ее не было, когда меня били ремнем, клали голую под кровать и насильно раздевали. От осознания этого накатывали страшные истерики – я убегала в спальню, падала лицом в подушку и рыдала по нескольку часов подряд. «Хочуууу к маме, – тихо скулила я сквозь слезы, – маааамааа!» Ложилась вечером в кровать и снова рыдала, потому что не могла больше жить без нее. Мое терпение кончилось.

Воспитатели не знали, что со мной делать. Я видела, что Алия Имировна переживает, хочет чем-то помочь, но ее заботы меня не трогали. Она меня раздражала. Я убивалась по маме, убивалась по собственному потерянному детству. Как чувствовать себя ребенком, если у тебя нет и никогда не было родителей?! У меня срывало крышу от этих мыслей, я была на грани помешательства. И тогда Алия Имировна пошла в соцотдел, взяла там мое дело, выписала из него телефон моей матери и отдала его мне.

Оказывается, все было так просто? А мне никто ничего не говорил… Я взяла номер мамы и спрятала его как великую драгоценность. Каждый день начинался с того, что я собиралась звонить маме. Подходила к телефонному аппарату, даже протягивала к нему руку, но потом в страхе отдергивала ее. Я не могла. Алия Имировна снова меня пожалела – набрала номер сама. Я стояла рядом и слышала в трубке длинные гудки, которые пронзали меня насквозь.

– Алло!

Женский голос из другого мира заставил вздрогнуть. Я не узнала его. Это она?!

– Здравствуйте, – Алия Имировна говорила уверенно, я, дрожа поблизости, завидовала ее спокойствию, – вас беспокоит воспитатель из детского дома.

– Да? – Голос заволновался.

Алия Имировна представилась и сразу стала рассказывать обо мне. Она называла меня «ваша дочка». Говорила, какая я хорошая. Какая умница и красавица. Учусь лучше всех. Трудолюбивая, добрая… На том конце провода молчали. Не прерывали, но и не произносили ни слова. Молчала и я – стояла рядом с воспитательницей и продолжала дрожать так, будто по мне пустили электрический ток. Алия Имировна, не прерывая своего монолога, оторвала трубку от уха и показала жестом, что хочет передать ее мне. Я отчаянно замотала головой. Нет. Нет!!! Я не могла. Невысказанные слова застряли в горле и мешали дышать. Я замахала руками, давая понять, что трубку не возьму. Алия Имировна выкрутилась сама – попрощалась и закончила разговор, пообещав еще позвонить. Хотя никто ее об этом не просил.

Она действительно звонила маме еще несколько раз. Все разговоры проходили по одной и той же схеме – мама молча слушала рассказы Алии Имировны обо мне, а я дрожала и боялась взять трубку. Это продолжалось несколько лет. И только однажды, в день своего шестнадцатилетия, я твердо решила, что поговорю с мамой сама. Алия Имировна снова согласилась помочь – набрала номер мамы, поздоровалась и передала трубку мне. Я вцепилась в нее мертвой хваткой, прижала к уху, и… словно окаменела. Тело меня не слушалось. Я не могла произнести ни звука, не могла пошевелиться. Только слезы катились из глаз. На том конце провода тоже молчали. Мертвая тишина длилась всего несколько секунд, но это было одним из самых тяжелых испытаний в моей жизни. Наконец я смогла оторвать трубку от уха и вернуть ее воспитательнице. Это был полный провал! Я убежала в комнату, упала на кровать и рыдала много часов подряд.

Я не смогла! Ничего не смогла сказать. Столько лет мечтала о том, чтобы поговорить с мамой, но даже рта не получилось раскрыть. А ведь только это желание я загадывала каждый день рождения, каждый праздник: всякий раз, когда задувала свечи или слышала бой курантов. И каждый день просила Бога об одном: «Пожалуйста, Господи, помоги! Я так хочу услышать ее и увидеть, пожалуйста, пусть она придет!» Я надеялась, что Бог услышит мои молитвы. Или, может, мой внутренний голос дойдет до матери, и она, наконец, очнется. Но что я знала о ней? Только то, что выдумала сама. А еще – то, что увидела в фильмах. Тогда по телевизору шел сериал «Дочки-матери», и там был момент, когда дочь попадает под машину, а мать сразу же это чувствует! Она мистическим образом знает, что ее ребенок в беде. Совершенно по-глупому я перенесла ту ситуацию на себя. Сидела и думала, что моя мама тоже чувствует, что происходит со мной. Знает, как мне плохо. Но почему же она не приходит? Почему молчит? Эти вопросы рвали меня на части.

– Соня, – я почувствовала, как Алия Имировна осторожно присела на краешек моей кровати, – чего ты хочешь?

– Ничего, – буркнула я сквозь слезы.

– Подумай, – она говорила ласково, не пыталась давить, – о чем ты мечтаешь?

Я молчала.

– Мне больно видеть твои слезы, – воспитательница тяжело вздохнула, – ты даже не представляешь. Я выполню любое твое желание, поверь.

– Пожалуйста, – я вытерла слезы кулаками и повернулась к ней, – найдите фотографию моей мамы. Я очень хочу ее увидеть.

– Ты уверена?

Я не поняла ее чувств, но видела, как изменилось ее лицо – правда, всего лишь на мгновение. Она быстро взяла себя в руки.

Только теперь я могу понять, как тяжело Алие Имировне было такое слышать. Она, живой человек, пыталась пробиться ко мне, она по-своему меня любила, а я словно невидимой пуповиной была привязана к родной матери, которую создавала из песчинок информации внутри себя.

– Хорошо. – Мне показалось или в ее голосе тоже стояли слезы? – Пойду узнаю, можно ли где-то найти фотографию.

Она ничего мне не принесла. Зато минут через тридцать к нам на этаж поднялась сотрудница соцотдела, нашла меня и торжественно вручила маленькую черно-белую бумажную фотографию, вырезанную из ксерокопии паспорта. Я взглянула на нее. Посмотрела еще раз. И вдруг, не в силах удержаться, запрокинула голову к потолку и громко захохотала. Еще слезы не высохли у меня на глазах, еще руки дрожали от недавней истерики, а я смотрела на фотографию и смеялась. Кто эта женщина?! Она была совсем не похожа ни на меня, ни на тот образ матери, который жил в моей голове.

Я только в тот самый момент поняла, в чем дело! Там, в воображении, моей матерью была я сама, только уже взрослая. Добрая, ласковая, мудрая, но именно Я. Моя воображаемая мама была мной самой! Так вот, за кого я цеплялась все эти годы – за будущую себя.

Я всегда представляла маму высокой, статной, не очень худой, но с красивой фигурой, длинными волосами и темными выразительными глазами. Они были подведены аккуратными стрелками, а густые богатые волосы уложены в высокую прическу. А здесь, на этом снимке. Что это такое вообще? Длинные волосы с густой челкой – откуда челка-то взялась?! – левый глаз косит, асимметричные губы и совсем не пропечатанные брови. Выглядит так, как будто их вовсе нет. Зато глаза жирно подведены, кажется, только это с созданной моим воображением картинкой и совпадало. А так… Другой нос, другой взгляд, другие скулы, неожиданные черты лица – мне казалось, ничего общего со мной в ней просто нет. Кто эта женщина? У меня из глаз продолжали литься слезы, а я все смеялась и смеялась. Смеялась над разбившейся вдребезги иллюзией, над чужой женщиной на фото.

– Ну что, ты довольна? – Ошарашенная моей реакцией сотрудница соцотдела так и стояла рядом: может быть, колебалась, не нужно ли вызвать врача.

– Да, – поспешила я ее успокоить, – все хорошо. Спасибо!

С того дня я стала постепенно менять картинку в своей голове. Мысленно «переодела» маму из джинсов и водолазок в строгие брюки, блузку и пиджак. Но то, что она выглядела не так, как я себе представляла, в моем отношении к ней не изменило ничего. Я по-прежнему хотела к маме, как годовалый малыш. Я любила ее одну и мечтала только о ней. Физически ощущала: мне как воздух нужна эта встреча. Пока она не произойдет, пока не увижу маму в реальности, у меня внутри так и будет бушевать буря.

Я никого не могла впустить в свою жизнь, все внутри меня было занято МАМОЙ.

После экзаменов в девятом классе я собралась с духом, чтобы написать ей письмо. Долго расспрашивала психолога в детском доме, о чем можно рассказать маме. «Спроси, какая у них в городе погода, какие у них есть памятники. Расскажи о себе», – посоветовала она. Так я и сделала, потому что о главном писать боялась.

«Дорогая мама, здравствуй. У меня все хорошо, я окончила девятый класс с отличием и собираюсь учиться дальше. На лето поеду в очередной трудовой лагерь, чтобы заработать. Мы там каждый год собираем персики, яблоки, груши. А как твои дела? Какая у вас погода и памятники культуры?»

Долго думала, достаточно ли написала? Можно ли запечатывать и отправлять? Несколько дней я это письмо переписывала, что-то добавляла и исправляла. А потом решилась пойти на почту – там, около входа, висел специальный ящик, куда нужно было опускать письма. Я бросила свое письмо, сделала один шаг в сторону, и тут, прямо за моей спиной, со страшным грохотом разбилась вдребезги стеклянная бутылка. Кто-то бросил ее на асфальт с верхнего этажа.

– Аааааааа!

Я обернулась и увидела зеленые осколки. Испуганные прохожие остановились возле меня. Помню, мимо шли бабушки. Они застыли и вытаращили глаза. Потом одна из них произнесла:

– Ты, внучка, в рубашке родилась!

А я стояла и пока еще не понимала, чего именно смогла избежать. Если бы не успела сделать тот единственный шаг в сторону от почтового ящика, меня бы просто убило бутылкой. «Как же так? А если бы меня прибило сегодня бутылкой? Я бы никогда так и не получила ответа на свое письмо. Умерла, не встретившись с мамой? Наверное, это какой-то знак?» Но я не знала, что он означает, и стала ждать ответа от мамы.

Глава 27

Призвание

Я долго прокручивала в голове, что именно она мне ответит. Как отреагирует на то, что я круглая отличница по итогам девятого класса? Она же и сама училась в академии, для нее должно быть важно, что у нее способная дочь. В то, что я действительно умная, окончательно поверила благодаря нашему директору – во время вручения аттестатов он меня очень сильно выделил. Несколько минут говорил о том, какая я молодец, какая способная и талантливая. Я стояла, гордая, и думала о маме – как же она обрадуется, когда узнает! Вот только аттестат, который мне выдали, оказался не красным, а зеленым. Из-за этого я расстроилась: как маме такой показать? Тем более зеленый цвет я терпеть не могла, поэтому сразу подумала: «Блин, может, я его перекрашу? Иначе какой толк в пятерках, если аттестат зеленый?» И тут по дороге в комнату случайно услышала разговор, который изменил мое отношение к учебе. Алия Имировна стояла на лестнице со старшим воспитателем, Натальей Ивановной.

– Соне нужно идти на золотую медаль, – поучала она, – пусть возьмет с собой в лагерь книги и занимается летом.

– Да-да, – поддакивала Алия Имировна, – конечно. Будем заниматься.

И у меня вдруг внутри поднялся протест. Хотите золотую медаль?! Чтобы вас всех похвалили и сказали, какие вы молодцы, как хорошо меня воспитали?! Не дождетесь! Никаких книг и никакой медали. Если я ради кого и старалась, то ради мамы! Если за кем и тянулась, то только за ней.

В десятом классе назло воспитателям я специально съехала с «отлично» на «хорошо» по многим предметам. А чтобы не уйти, как обычно, в учебники с головой, занимала себя всем, чем могла. Но больше всего рисовала.

С карандашом или кисточкой в руках я всегда успокаивалась и приходила пусть в хрупкое, но равновесие. Мне нравилось раскрашивать, нравилось писать картины и оставлять свои чувства на бумаге. В этом я черпала силы.

Кабинет Людмилы Михайловны был тогда единственным во всем детском доме уголком, где я могла спокойно сидеть и делать то, что мне нравится. Где меня никто не тыкал, не цеплял и не приставал каждые пять секунд с приказами: «Иди сделай. Иди подмети. Иди убери» или еще хуже: «Почему ты грустная? Соня, опять без настроения?» Я приходила и погружалась в работу. Людмила Михайловна не вмешивалась, но помогала, когда я просила что-то мне подсказать: «А как тут надо делать правильно? А как там?» Иногда мы занимались чем-то новым – она показывала, как писать на шелке, на картоне, на дереве. Учила новым приемам. И я, сама того не понимая, постепенно осваивала разные техники – повторяла за учителем, пробовала сама. По профессии Людмила Михайловна была учителем географии, а не изобразительного искусства, но при этом рисовала она потрясающе, ей это было дано от Бога. Поэтому я и тянулась к ней. Конечно, давно забылся тот детский страх, который охватил меня при нашей первой встрече – я уже совершенно иначе ее воспринимала.

Ничего особенного в моих картинах тогда еще не было, по крайней мере, Людмила Михайловна ничего такого не замечала. Она гораздо больше занималась другой моей одноклассницей – ее картины возили на выставки от детского дома. Я и сама в глубине души была уверена, что не умею рисовать. Просто теперь мне это нравилось больше жизни, и все. Я делала бесконечные попытки перенести на бумагу то, что жило у меня внутри, – мои надежды на будущее. Природу, простор, океаны, водопады, реки. Затерянные среди деревьев дома и замки. Уходящие в дальнее плавание корабли. Свой собственный дом на берегу моря.

С самого детства я думала картинами – представляла яркие красочные образы. Постепенно, не сразу, но начала доверять их бумаге. Смелость проявлялась во мне крошечными шажочками, капля за каплей. И только в семнадцать лет я отважилась по-настоящему писать. Мне нравилось создавать миры. В эти моменты я ощущала себя нужной.

А потом произошел случай, который вернул меня на землю. Я в который раз убедилась: пока живешь в детском доме, ничего своего, сокровенного, нельзя показывать людям. Все и всегда нужно скрывать.

В десятом классе мы с Людмилой Михайловной готовились к выставке – нас предупредили, что планируется галерея за пределами детского дома. Для меня это была первая в жизни возможность показать свои картины, послушать, что о них говорят. Мы отбирали работы, которые будем там выставлять, думали, что именно возьмем, составляли список. Мне хотелось показать самое лучшее – то, что я планировала забрать из детского дома с собой, во взрослую жизнь. Особенно была дорога мне картина «Корабль».

И вот в разгар этой подготовки к нам в группу пришла секретарь.

– Соня, ты и еще ты, – она показала на двух моих одноклассников, – вам сейчас нужно красиво одеться. Вы едете на мероприятие вместе с директором.

Мы сделали как велели – такие ситуации были не редкостью, меня как примерную ученицу постоянно куда-нибудь отправляли «представлять детский дом» – оделись, вышли во двор и сели в машину к директору. Он сам был за рулем, рядом сидела Райка, заместитель, и мы вместе поехали в центр Москвы – кажется, в дом Шереметева. Несколько сотен метров в конце маршрута ехали два часа: в центре образовалась страшная пробка. Наконец добрались до кованой ограды, и нам как особо важным гостям помогли запарковаться на специально подготовленной для этого площадке.

Мы прошли по дорожке, поднялись по лестнице на крыльцо с колоннами и вошли в огромный зал, полный людей. И вдруг эти люди все обернулись ко мне! И стали улыбаться как старой знакомой. Я невольно сжалась под чужими настырными взглядами.

– Здравствуй, Соня! – Незнакомый человек кивнул мне.

– Добрый вечер, Соня! – помахала рукой дама.

– Ооо, какие люди! – подскочил распорядитель. – Соня, добро пожаловать!

Я как будто попала в заколдованный мир. Со мной все здоровались, подходили, улыбались, пытались пожать руку. А я не понимала, что происходит. Откуда все эти люди знают меня? Я вижу их первый раз в жизни!

Меня взяли под локоток, проводили к креслам в первом ряду.

– Вот, сюда, садитесь, пожалуйста!

И только в этот момент я заметила, что все мои картины, которые раньше висели в кабинете Людмилы Михайловны и должны были в скором времени отправиться на выставку, оказались на стенах в этом огромном зале. Все образы, которые возникали у меня в голове, а потом робко перемещались на бумагу, предстали вдруг перед огромной толпой. Пейзажи, которые я придумала. Замки, которые вообразила. Море, которое появлялось внутри, стоило закрыть глаза. И корабль – мой корабль – который я полюбила как часть себя и уже видела в своем доме. Он стал моей путеводной звездой, он помогал мне возводить внутри себя будущее. Я знала: когда я выйду из детского дома, то буду не одна. Со мной будет этот корабль!

А теперь он лежал на столе. Один. Я начала смутно догадываться, зачем он здесь, и у меня сердце упало в пятки в одно мгновение! Я почувствовала такой ужас и холод в груди, словно начала стремительно падать откуда-то с опасной высоты и уже знала, что разобьюсь.

В центр зала, к столу, вышла полная тетка и начала объявлять цены.

– Лот «Корабль». Начальная цена – две тысячи рублей!

Что?! Я ушам своим не могла поверить. Мое будущее, мой дом с этой картиной на стене хотят кому-то отдать?! За мою мечту просят жалкие две тысячи рублей?!

– Три тысячи! – раздался мужской голос сзади.

– Четыре тысячи! – перекрыл его женский.

Я хотела вскочить с места и крикнуть: «Отдайте мне! Я заплачу!!!» Но мне было страшно, я не могла выставить и себя, и директора посмешищем в этой толпе.

– Четыре пятьсот! – торопился третий голос.

– Даю пять! – выкрикнул женский, который давал четыре.

В зале повисла тишина. Я зажмурилась в надежде, что все это сейчас пропадет, рассеется как туман. Окажется просто дурным сном, а я вернусь с детский дом, в свою кровать. Но нет. Нетерпеливый гул вокруг меня начал нарастать.

– Лот «Корабль» уходит за пять тысяч рублей. Продано!

Я открыла глаза и увидела, что тетенька, которая продавала картины, смотрит на меня с довольным прищуром: «Смотри, мол, берут!» А у меня в это время сердце обливалось кровью. Мой корабль и мои мечты уплывали от меня за несчастные пять тысяч рублей. Почему со мной так поступили? Не спросили разрешения! Даже не предупредили. Да, я знаю, что дети не люди, нас не нужно спрашивать ни о чем! Но как мне вытерпеть эту боль? Я никогда в жизни больше не увижу свои работы, над которыми сидела дни напролет с любовью и трепетом. Они не будут согревать меня и ободрять завтра, когда я выйду из этой ненавистной тюрьмы и стану жить одна. Они для меня как окно в другую жизнь. Как маяк…

После аукциона, когда все мои картины до одной были проданы, ко мне подошла пожилая женщина и тихонько, на ушко, сказала: «Не знаю, получишь ли ты деньги за свои картины, поэтому возьми хотя бы это». Она незаметно вложила мне в ладонь сложенную вчетверо бумажку. Засовывая купюру в карман, я заметила, что это пятьсот рублей. А дальше не помню ничего. В ушах стало горячо, перед глазами поплыл туман. Мне было плохо от обиды, от незнакомых людей, от духоты. Краем уха я услышала, что за мои картины выручили сто двадцать одну тысячу рублей…

В детский дом мы вернулись поздно, ближе к полуночи. У входа в групповую меня встретила наша вторая воспитательница, дочь Имировны: «Ну как? – с интересом спросила она. – Хорошо все прошло?!» А я стою перед ней, покачиваюсь из стороны в сторону и не понимаю, о чем она говорит. Что прошло? Что она знает об этом кошмаре, в который меня окунули с головой?!

Я выпила свой кефир – ужина, конечно, нам никто не оставил – и легла спать. Долго крутилась из стороны в сторону и раскачивалась, свернувшись калачиком. Как в детстве, в доме ребенка. Я думала, за что мне это все?! У меня забрали самое ценное и даже не спросили, можно ли так со мной поступать. Это все равно что взять и вырвать у человека сердце. А эти деньги? Конечно, они достанутся не мне. Мне столько не заработать никогда, даже если я буду работать без еды и без сна все лето напролет.

На следующее утро, разбитая и опустошенная, я пошла к Людмиле Михайловне. Она должна была все объяснить! Почему разрешила без моего ведома вынести из класса картины? Почему позволила накануне выставки их продать? Я решительно открыла дверь, перешагнула порог и увидела ее. Никогда раньше я не видела ее в таком состоянии – она сидела за учительским столом, бессильно опустив голову на руки, и, кажется, плакала.

– Сания? – спросила она, не поднимая головы.

– Да.

– Я ничего не знала! – Она с трудом оторвала голову от стола и посмотрела на меня с растерянностью и болью. Ее глаза блестели от слез.

– Как? – Я застыла.

– Прихожу сегодня утром, а кабинет разоренный, пустой, – она говорила так, словно сама не могла поверить, – голые стены. А выставка? Как же так?

– У вас не спросили? – От одного ее вида вся моя боль вернулась.

– Я ничего не знала, – повторяла она как заведенная. – Нам нужны все эти работы! Как их вернуть?!

Бессилие и отчаяние потопили меня. Нам всегда твердили: «Ты должен», «Ты должен», «Ты должен». «Ты должен защищать честь детдома», «ты должен учиться», «ты должен так одеваться», «ты должен убираться», «ты должен молчать», «ты должен слушаться взрослых», «ты должен быть как все»! Мы еще только родились, а уже были должны всем вокруг. Но ладно мы: дети-сироты – не люди. А почему с ней, взрослым человеком, педагогом, поступили вот так?! Она должна была иметь право голоса! Она же человек!

Теперь уже понимаю – сама система устроена так, что ей все равно – взрослый перед ней или ребенок. Если есть интересы системы, все отправятся в топку.

Людмила Михайловна не пошла никуда разбираться. Мы обе молча проглотили обиду. А вырученные на аукционе деньги Райка поделила между всеми классами – на какие-то «общие нужды» – и остатки раздала наличными детям, которых выбрала сама. Одной девочке дала пять тысяч за то, что она читает на конкурсах стихи, другой дала пять тысяч за выступление с танцами, еще кого-то отметила. А мне досталось только три тысячи рублей. Я не знаю, как принимались решения – наверное, их стихи и танцы были круче моих картин. Я не могу судить. Я поняла одно: только Райка могла организовать эту подлую историю. Кто бы посмел вывезти картины без спроса, договориться об их продаже, забрать все деньги? Директор точно об этом не знал, да он бы никогда так с нами не поступил.

Мне не с кем было поговорить о своих чувствах, не у кого было спросить: «Кто это сделал и почему?» У Райки – себе дороже. Имировна сама ничего не знала. Людмила Михайловна тем более. Пойти к директору я даже помыслить себе не могла. Где директор и где я! Кому жаловаться? Зачем? Все равно же ничего не изменится. Система живет по своим законам, она перемелет всех, кто мешает ей катиться по заданному маршруту.

Единственным человеком, с которым я смогла обсудить ситуацию, – был психолог детского дома – Эсланда Борисовна. Я рассказала ей обо всем, что произошло, сказала, что мне жалко моих картин. А она произнесла в ответ фразу, которая показалась мне тогда неуместной и странной: «Делай добро и кидай его в воду». Я потом неделю думала об этих словах и не понимала их. Что за добро я кинула и в какую воду? Почему добро другим людям должно причинять столько боли мне? Это мне нужны были мои картины, это я любила их и хотела сохранить. Как так – все отдай?!

Но постепенно у меня в голове многое пришло в порядок. Я запомнила фразу «делай добро и кидай его в воду», а со временем она сровняла почву моих обид. Придала всему случившемуся хоть какой-то смысл.

И мы с Людмилой Михайловной стали готовиться к выставке с нуля. Конечно, уже не было никакого настроения. Конечно, делали все на скорую руку, да и времени совсем не осталось. Но жизнь шла своим чередом.

Глава 28

Профессия

Однажды утром в конце десятого класса я, как всегда в субботу, сидела в кабинете ИЗО. Преподаватель пошла зачем-то к завучу, а через некоторое время они вернулись вдвоем, сели напротив меня, и Людмила Михайловна спросила: «Сания, а ты не хочешь пойти в какой-нибудь художественный колледж или институт?» Я не ответила тогда, но серьезно задумалась. В тот же день полистала проспект, в котором были описаны все колледжи и институты Москвы, – он лежал у нас среди книжек в групповой. Эту информацию готовили специально для нас. А потом решила записаться на курсы – лишь бы в детдоме не сидеть – и стала ездить на дни открытых дверей во все профильные учебные заведения. Сама, скажу откровенно, никогда бы не решилась пойти на художника. По-прежнему не считала, что у меня есть какой-то особый талант. Хотя после аукциона все-таки изменила отношение к своим картинам – видела, что людям они понравились, значит, в них было что-то ценное не только для меня. Но сама собиралась в медицинский, возможно, в Сеченова: очень любила химию и биологию. По этим предметам у нас была прекрасная учительница.

Спасибо Людмиле Михайловне, она вселила в меня уверенность. Я обошла несколько учебных заведений и в итоге попала в колледж номер тридцать шесть имени Фаберже. Вошла и буквально за секунду почувствовала – вот оно! Место моей мечты! Мне все и сразу понравилось. Атмосфера, рисунки, огромный музей студенческих работ. Я как будто попала в другой мир – новый, свободный – и тут же сказала себе: «Хочу!» Это было желание такой силы, что не могу его передать. До этого единственное, чего я по-настоящему хотела, – увидеть маму. А тут загорелась идеей учиться. Почувствовала, что пазл внутри сошелся.

За моим первым осознанным желанием стояла огромная работа одного важного для меня человека. Он появился в моей жизни давно, но только в девятом классе я впервые почувствовала, что начинаю постепенно привязываться и доверять. И меня это – на удивление – не испугало. Следом за доверием пришли первые в жизни отношения. Они развивались медленно, но стали для меня надеждой. Стали первыми уроками чувств и желаний.

Я обязательно о них расскажу.

Итак, я записалась на курсы. На живопись, на рисунок – и стала приезжать в колледж четыре раза в неделю. А чтобы не сидеть в детдоме оставшиеся дни, не находиться в одном помещении с Имировной, которая бесила меня все больше, пошла еще в один колледж на подготовительные курсы по математике и русскому языку, хотя мне это совсем не требовалось. Уже тогда понимала, что хорошо сдам ЕГЭ. Но подготовка была бесплатной – для меня самый походящий вариант, – и весь одиннадцатый класс, шесть дней в неделю, я уезжала после школьных уроков из детского дома.

Кстати, именно в то время я, наконец, стала Санией. Пришла на первое занятие в колледж Фаберже, меня там спросили: «Как тебя зовут?» – и я без тени сомнения ответила: «Я – Сания». Хотела выйти в новую жизнь новым человеком: сильным, напористым, решительным. Я никогда раньше такой не была, а вот мое имя – было. В нем, как в драгоценной шкатулке, хранились чистота и мощь, талант и вера в себя. Я решила, что стану привыкать к своему настоящему имени, как бы это ни было трудно спустя семнадцать лет. Но оно «село» на меня идеально, словно влитое и очень быстро – всего за несколько дней. Я нравилась себе в новом обличье и чувствовала уверенность. Когда в детском доме по старой привычке кто-нибудь называл меня Соней, я раздражалась. И старалась сделать все возможное, чтобы как можно реже появляться там. Сознательно избегала и воспитателей, и детей.

Приходила в группу после седьмого урока, быстро переодевалась и ехала на курсы. На обед мне времени не хватало. В колледж я приезжала к четырем, в семь курсы заканчивались, и я ехала в детский дом. Ужин у нас был в шесть, и никто, конечно, не ждал до восьми или девяти вечера, чтобы меня накормить. За редким исключением, никого в это время на кухне уже и не было. О том, голодная я или нет, сотрудники не думали – в детдоме жило около ста шестидесяти детей, не будут же они за каждым следить. И мамы, чтобы переживала «покушала – не покушала», там не было. Я брала из своих денег по сто рублей через день и покупала в ларьке рядом с колледжем любимую шоколадку за пятьдесят рублей. Весь день жила на одной этой шоколадке, и мне было нормально. Я настолько сильно хотела вырваться из детдомовских стен, что не замечала ни голода, ни усталости. Вся моя жизнь оказалась сосредоточена в будущем, в настоящем меня просто не было. Я приходила поздно вечером, вычеркивала в самодельном календаре еще один день жизни в детском доме, считала, сколько осталось до выхода, падала в кровать и сразу же засыпала – сил не оставалось вообще. Но это было здорово! Я летала.

Когда приходила в колледж на рисунок и живопись, испытывала невероятные чувства – вставала за мольберт и понимала: вот это – мое! Это настоящая жизнь! Удивительное ощущение, словно в меня входит что-то новое и я в этом останусь. Конечно, мне многому предстояло научиться. В то время в моей палитре не хватало многих цветов – как я не умела испытывать радость, восторг, счастье, а тем более любовь, так и мое зрение не улавливало многих красок. Это оказалось удивительным образом взаимосвязано. Передо мной, например, ставили коричневую вазу и говорили: «Ты видишь, вот здесь на этой вазе фиолетовый цвет?» Но я его не видела в упор, никакого фиолетового! Коричневый и коричневый.

Я ушла в творчество и занялась саморазвитием – вовремя почувствовала, что мне необходимо работать над собой. Педагоги в колледже подсказывали мне, что я должна увидеть. Впервые в жизни у меня появились учителя, которые ни за что не ругали, зато всегда хвалили. И это помогало мне расцветать! Например, я сидела писала, ко мне подходили и очень ласково говорили:

– Переверни мольберт.

– Зачем?

– Ну, переверни. Сама увидишь.

– Что я увижу?

– Что у тебя предметы не стоят, – преподавательница говорила и дружески улыбалась, – они у тебя навалены.

Я переворачивала мольберт, смотрела и поражалась: «О, ни фига себе! Правда, все предметы завалены». И моментально все менялось в голове. Или в другой раз они советовали: «Посмотри внимательнее на полотно. Прищурь глазки». Нас никогда не ругали в колледже: «Да что вы делаете, все не так», не называли обидными словами, а давали возможность самим увидеть, в чем ошибка. На фоне того, как нас в детдоме все время тюкали: «Это неправильно, это не то, все вы бестолочи», – в колледже был рай. И педагоги обязательно отмечали, когда выходило удачно: «О, Сания, у тебя уже неплохо получается!» Их постоянное участие сводилось к поддержке и тактичным советам:

– Отойди немного, пожалуйста.

– Посмотри вот с этой стороны.

– Пойди отдохни немного, ты устала. И обязательно что-нибудь съешь.

И правда – отойдешь, вернешься и видишь свою работу уже другими глазами. Сам понимаешь, что не так. И кайфуешь от самого процесса! Нет никакого стресса. Не ждешь, что тебя отругают. Просто работаешь и получаешь невероятное наслаждение! Педагоги не насаждали своего мнения, они разрешали: «Рисуйте, как видите». Но всегда давали замечательные советы, как лучше смотреть и как точнее воспринимать. Учили развивать важные для художника качества. Подсказали мне, что нужно ставить перед собой стакан кефира и внимательно рассматривать все, что отражается в нем. Белый кефир создает хорошую основу для стекла, в нем ясно проявляются цвета и детали. По утрам я тренировалась. Как обычно, вставала раньше всех в детском доме, шла в столовую, накрывала на столы и ждала, пока остальные придут на завтрак. А чтобы не терять времени даром, наливала себе кефир, садилась и смотрела в стакан. Наблюдала за всем, что в нем отражается, – тарелки, ложки, чашки, искусственные цветы на стенах, люди в разноцветных одеждах. День за днем развивала в себе чувство света и цвета. И потом каждый раз, приходя на живопись, понимала, что вижу больше, и больше, и больше. Научилась отделять отражения, различать в одном цвете нюансы других цветов, видеть свет. Это было фантастикой! Я шла вперед семимильными шагами.

На художественные курсы ходила целый год, мне там безумно нравилось. Я до сих пор общаюсь с преподавателями по живописи и по графике, они замечательные люди. И помню, что они всегда очень хорошо ко мне относились. Хотя не только ко мне – они в принципе ко всем своим студентам относились так. Это была другая вселенная. Я никому не говорила, что живу в детском доме, никто и не спрашивал. Наверное, многие замечали, что мне трудно материально, но тактично молчали. Хотя у меня было не восемь карандашей твердости, а всего четыре. Акварель дешевая. Кисточки не самые лучшие. Я все это покупала на собственные деньги, которые до этого много лет подряд хранила Алия Имировна, а их у меня, понятно, было немного. Брала каждый раз по чуть-чуть и покупала. А Людмила Михайловна дарила мне бумагу. И еще я приходила к ней делать домашние задания. И она сидела рядом, смотрела, иногда удивлялась: «Ммм, мммм. Вот, значит, как!» Она же не училась никогда на художника, ей все казалось интересным. А я была такая гордая и довольная. Мне льстило, что я начинаю узнавать что-то, чего не знает даже мой первый учитель живописи.

К тому времени, кроме Людмилы Михайловны, в детском доме появился еще один человек, которому я доверяла, – Эсланда Борисовна, наш психолог. К ней в кабинет я приносила свой тубус, открывала его, раскладывала работы. И она тоже хвалила меня, смотрела внимательно и всегда говорила: «Здорово! Здорово!» Ее дочка хорошо рисовала, я видела ее работы и поэтому считала, что она тоже разбирается в живописи.

Одобрение педагогов колледжа, а еще Людмилы Михайловны и Эсланды Борисовны, стало моей опорой – я все больше хотела учиться и двигаться вперед. Благодаря им начала чувствовать себя живой и нужной кому-то.

Все реже и реже я плакала теперь о маме. Все реже ругала себя за глупость и никчемность. Такие приступы еще случались со мной, но я постепенно училась контролировать себя и вытаскивать из депрессии за уши.

Меня захватило главное дело в жизни. Оно окрыляло, и только через него я начала находить контакт с внешним миром. Это было волшебно!

Но так вышло, что накануне вступительных экзаменов в колледж мы с детским домом уехали в Германию. Отказаться было нельзя, на меня заранее, еще зимой, оформили все документы. Я же не знала, что даты поездки совпадут с экзаменами! Мы уже ездили туда несколько раз – нас приглашало русское сообщество во Франкфурте. Люди таким вот образом помогали сиротам: показывали нам свою страну. В будние дни мы жили все вместе и ездили на экскурсии по прекрасным средневековым замкам. А на выходные нас разбирали по домам члены сообщества, и мы проводили время с семьями. Мне очень понравилась Германия. Потрясающая архитектура. Красивая природа. До сих пор она меня вдохновляет: мечтаю когда-нибудь снова увидеть прекрасные замки этой страны. Только теперь, конечно, мне уже не так просто туда поехать – слишком дорого.

Это в детском доме за нас все оплачивали. Большинство взрослых вообще были уверены, что отсутствие тепла и любви сиротам можно компенсировать деньгами. Но сейчас не об этом.

После возвращения из Германии нас стали готовить к приезду президента – говорили, что на Последний звонок он прибудет именно в наш детдом. Некоторое время из детского дома меня просто не отпускали – у нас каждый день шли репетиции. И вот все сроки уже прошли, я хожу расстроенная и не знаю, что дальше делать. Президент отменился, с репетициями от нас отстали. Хорошо, в последний момент додумалась позвонить одному из своих преподавателей в колледже – Ольге Сергеевне.

– Меня из детского дома не отпускали, – объяснила я, а сама чуть не плачу. – Что теперь делать?!

– Приезжай сегодня со всеми своими работами, – велела она, – я сама выберу из них экзаменационные.

Она так спокойно это сказала, как будто ничего непоправимого не произошло!

– Как это? – Я только открыла рот.

– Ты, главное, приезжай, – Ольга Сергеевна улыбнулась в трубку, – и можешь считать, что поступила!

Я, конечно, тут же полетела в колледж – уже ни на кого не обращала внимания. Привезла ей все работы, она поставила на лучших из них экзаменационные печати, вывела оценки и сказала: «Все, можешь ехать. Ждем тебя в сентябре!» Я не знала, как благодарить. Была на седьмом небе от счастья! Даже не представляла раньше, что на свете бывают такие люди, которые в любой ситуации помогут и спасут.

В детском доме я никому ничего не сказала. Директор, наверное, думал, что я готовлюсь поступать в МГУ или Бауманку: все данные для этого есть. Не сомневаюсь – ему заранее доложили, что Испергенова должна поступить в высшее учебное заведение. А я выбрала какой-то там колледж, да еще профессию дизайнера. Кисточкой решила махать.

Помню, через два месяца учебы в колледже я пришла в детский дом и встретила в коридоре директора.

– О, Соня! Ну как дела? Как в университете?

– В каком университете?! – растерялась я. – Я же в колледж пошла.

– Как это в колледж?! – Он замер, стоит, глаза квадратные. – В какой еще колледж?

– На дизайнера учиться пошла.

– С твоими-то способностями… – начал он, но я уже представляла себе, что последует за этими словами.

– Все будет хорошо!

Я улыбнулась ему и пошла дальше своей дорогой.

Глава 29

Взрослый

Этих отношений ничто в моей жизни не предвещало. Больше того – первые несколько лет я не замечала Эсланду Борисовну: она была для меня одним из многочисленных и безликих детдомовских взрослых. А потом, постепенно, Эсланда Борисовна стала самым дорогим для меня человеком.

Со временем я догадалась, в чем был ее секрет. В отличие от всех женщин, которые пытались грубо пробиться ко мне, не понимая, что этим меня только пугают, Эсланда Борисовна никогда не навязывалась, не давила, но при этом «держала открытой дверь». Она тонко чувствовала, что именно это мне нужно.

– Какой еще психолог? – До пятого класса мы видели только студентов психфака и были от них, мягко говоря, не в восторге.

– Такой, – воспитательница не стала вдаваться в подробности, – сегодня у вас по расписанию психолог. Идемте!

«Кто это вообще такой?» – недоумевала я, пока нас вели по длинным коридорам в дальнее крыло – мимо медсанчасти, туда, где малый спортзал. «Наверное, это очередной кружок», – решила я. Наконец нас завели в уютный кабинет, усадили. Мне там сразу понравилось: очень приятное освещение, точечный, но мягкий свет. Хозяйкой кабинета оказалась темноволосая невысокая женщина с восточными чертами лица, смешливая и подвижная. Меня ее активность даже немного смущала. Мы разместились всей группой, и Эсланда Борисовна дала нам тесты. Наверно, что-то на социализацию, но тогда я этого совсем не понимала. В задании были смешные вопросы: «Что ты любишь?» И дальше нужно поставить галочку напротив слов «сыр», «колбаса», «ветчина», «бекон», еще какая-то ерунда с непонятными названиями. Я тогда вообще не поняла, для чего это задание. Как это, что я люблю? Что дадут, то и ем. В итоге просто выбирала названия, которые знаю. Колбаса – знаю. Нам «докторскую» дают. А что такое бекон или ветчина, без понятия, и тогда как я могу их выбрать? После этого теста мы немного порисовали, потом еще на вопросы все вместе отвечали, и все. Занятие закончилось. Во второй раз я попала к ней примерно через полгода – возможно, моих одноклассников и водили чаще, но я-то постоянно болела.

А летом после пятого класса Эсланда Борисовна так же, как и я, оказалась в ЛТО. В качестве одного из сопровождающих от детского дома. И я опять не обратила на нее никакого внимания – ну, тетенька и тетенька. Очередная. Как все. Был только один момент, когда мы немного пообщались – ходили вместе по берегу и собирали камушки. И то я сама ничего не запомнила, Эсланда Борисовна рассказала мне об этом через много лет: «Я вижу, ты ходишь и ходишь по пляжу одна. Маленькая такая. Я и предложила разноцветные камушки собирать – беленькие в одну баночку, серенькие – в другую». Так мы и делали. Молча.

И только потом, в шестом или седьмом классе, к Эсланде Борисовне стала ходить Кристина, с которой мы немного общались. Она заметила, что я вечно сижу одна на лестнице и скучаю: у нас тогда все дети курили, кроме меня, и они выходили для этого на улицу. А мне выходить было незачем, но и в классе сидеть не хотелось всю большую перемену, целых пятнадцать минут. Вот я и провожала их курить, а сама оставалась на лестнице.

– Пойдем к Эсланде Борисовне! – предложила Кристина.

– Кто это? – Я даже не вспомнила, о ком речь. – Я такую не знаю.

– Не важно. – Кристина уже тянула меня за собой. – Все равно пошли!

Она притащила меня к кабинету Эсланды Борисовны, который по-прежнему находился за малым спортивным залом и куда было не достучаться – десять дверей. Пришлось бежать вокруг детдома через улицу и стучать в окно. Кристинка кричала: «Впустите нас!» Только так она нас и услышала. Открыла дверь.

Мы вошли, я села в кресло в углу, а Кристина – на стул около стола психолога. Кристина стала болтать с Эсландой Борисовной, а я молча сидела в кресле. Они не говорили ни о чем серьезном – так, рассказывали друг другу какую-то ерунду, что нового происходит, – а я просто слушала. Меня никто не трогал. Молча пришла, молча ушла. Как будто так и надо. Но с тех пор я стала ходить с Кристиной к Эсланде Борисовне каждый день. Ждала Кристину после второго завтрака и мы бежали к психологу. Постепенно Эсланда Борисовна так же молча стала давать мне задания. Сначала предлагала их только Кристине – какие-то там ребусы, тесты, задания. А я сижу смотрю, как она отвечает, и мне тоже хочется! Эсланда Борисовна догадалась об этом по выражению моего лица, стала и мне тоже протягивать листы, и я, довольная, щелкала эти задания, как семечки. Приносила ей уже решенные, и она мне давала следующие. И так, не произнося ни слова, за компанию с Кристиной, я ходила к психологу целых два года. Только в восьмом или девятом классе, даже не помню точно, когда именно, я случайно оказалась в ее кабинете одна – Кристина, как обычно, привела меня и ушла по своим делам. Я хотела уйти вместе с ней, но Эсланда Борисовна меня остановила.

– Посиди со мной, – попросила она, – расскажи, как у тебя дела?

Это был шок. Какие еще дела? Меня никто не спрашивал о таком. Какая им всем разница, что там у меня за дела? Это касается меня одной.

– Какие дела? – Я ерзала в кресле и думала, как бы исчезнуть.

– Ну, расскажи хоть о чем-нибудь. Как в лагерь съездила?

– Лагерь как лагерь, – буркнула я в ответ, – все нормально.

Как всегда, я стеснялась взрослого человека и не могла говорить.

– Ты можешь рассказывать мне, не бойся!

А я сижу и думаю – как это, не бойся? В детдоме даже у стен есть уши! Рассказать, как в лагере я писалась в кровать каждую ночь, хотя мне уже пятнадцать лет? Как учила своих подопечных девочек не воровать, а они все равно это делали? Как спала во время всеобщих попоек и кутежа? Кто-нибудь обязательно подслушает, потом разнесет повсюду, и снова меня сделают посмешищем, станут обзывать, издеваться. Спасибо, нет! Я промолчала. Посидела еще немного, взяла новое задание и ушла.

А на следующий день все-таки пришла к ней снова. Привычка. Потом еще и еще. Постепенно я стала спокойнее относиться к Эсланде Борисовне, хотя и не подпускала ее к себе очень долго.

Я боялась, что она начнет проявлять заботу, станет приближаться ко мне. Было страшно, что и она в какой-то момент подойдет и скажет: «Я бы тебя удочерила», и мне снова будет тяжело и неловко.

Но Эсланда Борисовна ничего такого не говорила и в свою семью не звала. Хотя оказывала маленькие знаки внимания. Могла, например, ни с того ни с сего предложить конфету. Угостить. И я – ррраз, сразу же закрывалась. Брала, конечно, сладости – не могла сказать «нет» взрослому человеку, – но мои ощущения в такие моменты мне совершенно не нравились. Я не хотела, чтобы подачки повторялись. Я боялась, что из-за этой несчастной конфеты буду ей должна. А отдавать-то мне нечем!

Прошло много времени, прежде чем я поняла: отношения между людьми – это не материальный обмен: «ты – мне, я – тебе». Что во взаимодействии есть нечто большее и совсем другое. Но у меня в голове пульсировало только одно: «Нечем отдать! Нечем отдать!» Приходилось уговаривать себя: «Ничего страшного, это всего лишь конфета. Она не так уж дорого стоит». И все равно было стыдно. Я не привыкла к заботе. Я по-прежнему боялась близости, не умела и не хотела привязываться. Любое сближение казалось мне очень опасным. Я доверяла только самой себе и надеялась на себя.

Но однажды мне все-таки пришлось обратиться к Эсланде Борисовне за помощью. Так получилось, что у меня не осталось ни джинсов, ни брюк – я из всего после лета выросла. На складе мне попытались всучить штаны либо на два размера меньше, либо на три размера больше. Я же постоянно болела и получала одежду последней – по принципу «что осталось». Долго собиралась с духом, а потом от безысходности пришла к Эсланде Борисовне.

– У меня нет штанов, – говорю, а сама смотрю в пол и краснею.

– Каких еще штанов?

– Носить, – уже шепчу.

– Как это нет?!

– Ну, вот так.

И Эсланда Борисовна на следующий день принесла мне из дома две пары черных брюк, которые я потом носила еще три года. Никто в детском доме, кстати, не заметил, что у меня появились новые вещи, которых на складе мне не выдавали. Не особо-то следили за этим. Зато я еще долго чувствовала неловкость.

Она поддерживала меня. Хвалила. Утешала, когда было трудно. И месяц за месяцем, год за годом каким-то непостижимым образом я привязалась к ней. Только вот с моей тоской по маме сделать она ничего не могла. Зато после того, как я сдала все экзамены в девятом классе на «отлично», глаза Эсланды Борисовны светились от гордости и счастья. Я думала: «Ух ты, за меня радуются! Я молодец!» И за спиной вырастали крылья.

В тот год перед отъездом в ЛТО она обещала, что приедет на вокзал меня проводить. А я все время боялась – вдруг нет? Вдруг не сможет, передумает или с работы не отпустят? Последние годы я уезжала на вокзал раньше всех для того, чтобы вместе со старшими девочками вымыть вагоны, в которых нам предстояло ехать на юг. Мы приезжали за два часа до отправления поезда и мыли с хлоркой стены, полки и пол. И все это время я боялась, что Эсланда Борисовна не придет. Или что меня уже не выпустят из поезда, чтобы с ней попрощаться. Но она пришла! И мы стояли на платформе, говорили о чем-то и улыбались друг другу. А потом, уже в поезде, я прилипла носом к стеклу и увидела ее одинокую фигуру на платформе. Она махала мне рукой. Сама не зная почему, я вдруг расплакалась. Поезд начал отъезжать, колеса стучали, вагоны покачивались, а у меня случилась самая настоящая истерика. Было такое ощущение, что мое тело уезжает, а важная частичка моей души остается в Москве. Я потом долго не могла успокоиться.

Эсланду Борисовну за мои слезы потом отругали, сказали, чтобы никогда больше не смела приезжать меня провожать, потому что я «неадекватно реагирую». «Ты ее травмируешь, – убеждали опытные педагоги детского дома, – это ребенку во вред!» К счастью, Эсланда Борисова никого не слушала и с того дня стала провожать меня каждый раз, когда я уезжала. Как психолог она точно знала, что именно для меня лучше. Я бы не смогла больше пережить даже крохотного предательства без окончательной потери веры в себя и в других людей. А так я почувствовала себя нужной и ценной. Благодаря Эсланде Борисовне я наконец начала испытывать новые эмоции, связанные с другим человеком, – не только обиду и боль.

Она пробудила меня от спячки, каплю за каплей вливая в меня жизнь. Это была не любовь, ничего подобного! Тогда еще я не умела любить. Не умела сочувствовать и сопереживать. Откуда в ребенке возьмутся чувства, которых никто и никогда не испытывал по отношению к нему? Откуда взяться любви к другому человеку у того, кто не знал любви своей матери?

Глава 30

Отношения

После возвращения из лагеря, в десятом классе, я стала бегать к Эсланде Борисовне каждый день. И это еще больше возмущало педагогов со стажем. Дошло до того, что Наталья Ивановна, старший воспитатель в нашем корпусе, взялась раз и навсегда решить этот вопрос.

– Соня, зайди ко мне в кабинет, – приказала она и скрылась за дверью.

Это означало одно – будут ругать. Конечно, я испугалась и никак не могла понять за что? В отличие от остальных детей я не пила и не курила, матом не ругалась, ничего плохого не делала. В лагере распорядок не нарушала. Но Наталья Ивановна выглядела сурово. Она закрыла за мной дверь своего кабинета на ключ и начала объяснять.

– Соня, ты понимаешь, что у Эсланды Борисовны много работы? На нее одну сто шестьдесят детей!

У меня от этого предисловия сердце стало изо всех сил колотиться о ребра. Чуть не выскочило из груди.

– Ты понимаешь, что ты в детском доме не единственная? Психолог не должен заниматься только тобой!

Она говорила, а я от волнения не могла даже шевелить пересохшими губами. Только кивала.

– Я тебе запрещаю ходить к Эсланде Борисовне. – Она неожиданно шлепнула ладонью по столу. – Ты меня слышишь? Ты обязана находиться со своим классом, в своей группе. Заниматься общими делами.

Но почему?! Я не могла понять. Чем я должна заниматься? Пить вместе со своими одноклассниками? Курить? Воровать вещи из магазинов? Прятаться с мальчиками в укромных уголках? Мне все это было неинтересно! На все кружки, которые только были в детском доме, я ходила и так.

– Если я тебя еще раз увижу у Эсланды Борисовны, – Наталья Ивановна сверкнула глазами, – буду серьезно разговаривать уже с ней!

Для меня это была катастрофа. Куда мне теперь девать себя в свободное время? Чем занять? А главное, как вытерпеть эту невыносимую детдомовскую жизнь, если у меня отнимают единственное пространство, в котором я могу хотя бы на короткое время почувствовать себя в безопасности? После уроков я теперь всегда ходила к Эсланде Борисовне, чтобы перевести дух и хоть немного нормально поспать. Она включала мне музыку в своей комнате релаксации, выключала свет, и я спокойно спала там несколько часов подряд. Удивительно, но в десятом классе мне как воздух нужен был этот «тихий час». Единственный глубокий и безопасный сон в детском доме. Никто не трогал меня, не шугал. Не доставал и не гонял с места на место. Я знала, что Эсланда Борисовна не позволит меня беспокоить – скажет, что я на процедуре и входить нельзя.

Это было первое место в моей жизни, где я чувствовала себя в абсолютной безопасности. Это был первый взрослый, который сознательно оберегал меня и защищал. Не будь психологического кабинета и самой Эсланды Борисовны, я бы не пережила страшного подросткового кризиса, который, словно в воронку, засасывал меня в тоску по маме. Если бы не этот «тихий час» и возможность отключаться от внешнего мира, я бы запросто оказалась в психушке. Но никто из сотрудников детского дома, кроме одного-единственного психолога, этого не понимал.

После того разговора с Натальей Ивановной я проплакала, сидя на лестнице, несколько часов. И пару дней держалась изо всех сил – не ходила к Эсланде Борисовне. Пока она не нашла меня сама.

– Соня, что случилось? Почему ты больше ко мне не ходишь?

Я смотрела на нее – сердце бешено колотилось – и не могла ничего объяснить. Понимала, что нельзя говорить Эсланде Борисовне о том, что мне запретили. В конце концов, я не выдержала и просто расплакалась. Как всегда.

– Зайди ко мне завтра, – ласково попросила она.

А как я могу зайти, если меня увидят? Я ничего не ответила. А наутро решила пойти не одна, а в компании еще четырех ребят, которые тоже ходили к ней с девятого класса. Подумала, что если мы будем вместе, то ничего страшного. Не станут ругать. И после этого опять все наладилось.

А через пару недель Наталья Ивановна снова вызвала меня к себе в кабинет. Там уже сидела моя воспитательница, дочь Алии Имировны. И вот они опять – теперь уже вдвоем – стали мне объяснять, что я мешаю Эсланде Борисовне работать, что она интеллигентный человек и не может напрямую об этом сказать. Что я бессовестная и не понимаю простых вещей. Минут сорок они вдалбливали мне в голову всю эту ерунду, а я опять стояла и молчала, опустив голову.

Мне и сейчас трудно понять, почему они хотели отнять у меня то единственное, что позволяло мне выжить? Почему так стремились перекрыть единственный источник кислорода, которым стала для меня Эсланда Борисовна? Почему система детского дома не позволяет ребенку получить то, что нужно ему больше всего на свете, – отношения со своим собственным взрослым?! Единственная из всех, Эсланда Борисовна не лезла мне в душу, не выпытывала, почему я плачу, не врывалась в мой мир со своим уставом – просто ждала, пока я созрею, пока смогу прийти и о чем-то ее попросить. Она была готова ждать сколько нужно и при этом быть рядом. Мне понадобилось несколько лет для того, чтобы привыкнуть к ней. Слишком сильно оказались разболтаны человеческие настройки внутри меня. Слишком грубо нарушена детская привязанность. Взрослые всю жизнь причиняли мне только боль – сначала били, применяли физическое насилие, потом ругали и унижали – насиловали морально.

Я снова перестала ходить к Эсланде Борисовне, но на этот раз она моментально меня отыскала – поймала и остановила около туалета. Приперла к стене.

– Соня, почему ты не приходишь ко мне?!

– Наталья Ивановна запретила, – разревелась я мгновенно, – говорит, что я вас отвлекаю от дел.

– Плевать я хотела на то, что она говорит! – Первый раз в жизни я видела, чтобы она так злилась. – Ходи ко мне, как ходила! Если еще раз вызовет тебя, скажи, что все вопросы ко мне!

– Как я скажу? – У меня от ужаса расширились глаза. – Я не смогу…

– Хорошо! Ничего ей не говори. Просто приходи! Запомни, я тебе не запрещаю. Ты не мешаешь мне работать ни в коем случае. Не переживай ни о чем. Ты не лишняя. Ты хорошая! Самая лучшая девочка!

Она все говорила и говорила, старалась, чтобы я не считала себя ненужной, плохой, чтобы не держала на нее обиды. Проговорила все подробно, в деталях, так, как было понятно мне. И я услышала, что не должна мучиться сомнениями и угрызениями совести, что я не делаю ничего плохого и имею право находиться рядом с ней, когда сама этого хочу.

После того разговора я стала гораздо смелее. Даже научилась посылать куда подальше – случай с Ими-ровной стал тому подтверждением. Теперь я не дрожала как осиновый лист от постоянного страха, что меня станут ругать. Я, наконец, дала себе волю – приходила к воспитателю и говорила: «Мой распорядок будет таким: после ИЗО я у психолога». И во всех этих переменах была заслуга взрослого, который, наконец, появился рядом со мной. Я знала и чувствовала, что Эсланда Борисовна на моей стороне, что она защитит.

Этого чувства безопасности оказалось достаточно для того, чтобы я подняла голову и начала говорить.

Конечно, все воспитатели считали, что я сорвалась с цепи: система по-своему сопротивлялась превращению робкой бессловесной овечки в человека с собственным мнением.

В детском доме не знали, что делать с личностями, там было место только для стада. Молчаливая покорная Соня была гораздо комфортнее поднявшей голову Сании. Не думаю, что кто-то анализировал причинно-следственные связи, но воспитатели видели, что тесное общение с кем-то из взрослых «плохо» влияет на ребенка, он «распоясывается». И потому существовало негласное правило – ни у кого из взрослых не должно быть личных отношений ни с кем из детей. Так же как в доме ребенка персонал не брал младенцев на руки, «чтобы не привыкали», так и в детском доме никто из детей не должен был привязываться ни к кому из взрослых.

Воспитательницы – все как одна – взялись вразумлять нас: с высоты личного опыта, многолетнего педагогического стажа и абсолютного непонимания главной потребности ребенка.

– Ко мне тоже пристала однажды девочка, – делилась своей историей очередная воспитательница, хотя мы об этом ее не просили, – такая же, как Соня!

– И как?

– Ходила-ходила, а после выпуска исчезла.

– Очень интересно. – Я видела, что спокойствие дается Эсланде Борисовне нелегко.

– Соня, ты понимаешь, что, когда ты выйдешь из детского дома, ты можешь уже не прийти к Эсланде Борисовне? – поворачивалась она ко мне.

– Я все понимаю, спасибо.

– А ты понимаешь, что Эсланда Борисовна будет страдать?

Я слушала и терпела, невольно сжимая кулаки. Больше других «переживали» за нас воспитательницы, которые десятилетиями работали в детском доме, – самые опытные педагоги. И все они внушали Эсланде Борисовне, что сироты – существа неблагодарные, сколько в них ни вкладывай, все равно добро забывают. А тогда зачем тратить силы и нервы на них?

– Да-да, – кивали мы в ответ на эти откровения, – все понятно.

К счастью, мы обе знали правду. Эсланда Борисовна – потому, что была хорошим психологом. А я – потому что на собственной шкуре чувствовала положительные перемены, которые со мной происходили.

Если бы не свой взрослый человек, не мягкая поддержка мудрой и терпеливой женщины, я бы никогда не рискнула раскрыться миру навстречу. Не осмелилась бы поверить в себя и свое призвание. Не стала бы художником.

После одиннадцатого класса я решила в последний раз поехать в ЛТО – только потому, что тем летом туда ехала Эсланда Борисовна. На этот раз она уезжала первой, вместе с детьми, а я должна была присоединиться к ним в конце июня, после выпускных экзаменов. Я стояла перед отъезжающим поездом на вокзале и снова плакала. Не понимала, почему мой организм так себя ведет, но слезы сами лились, и остановить их я не могла. Поезд скрылся из виду, и я как в тумане спустилась в метро. В тысячный раз проехала по привычному маршруту, только ноги от трамвая до детского дома на этот раз не шли. Кое-как я доплелась до ворот и не смогла войти. Долго стояла перед калиткой, пыталась ее открыть, но, как только протягивала руку, у меня начиналась истерика. Я отворачивалась от ворот и уходила в лес, гуляла там до изнеможения, потом снова пыталась войти, и опять с тем же результатом – слезы градом, меня трясет. Четыре часа подряд я мучилась и только потом с огромным трудом смогла успокоиться и войти. Хотя все равно продолжала всхлипывать, а слезы еще текли. Наверное, организм сопротивлялся – умом я понимала, что нужно еще две недели прожить в детском доме, чтобы сдать выпускные экзамены. Но тело протестовало и не хотело туда возвращаться. Эсланда Борисовна уехала, мой единственный островок безопасности исчез. Как вытерпеть эти стены еще целых четырнадцать дней?!

К счастью, я вынесла и это. Экзамены остались позади. В колледж меня приняли. Теперь со спокойной душой можно было ехать в лагерь – к Эсланде Борисовне. Как же я радовалась нашей встрече! Летала несколько дней как на крыльях. Только счастье длилось недолго – всех детей в лагере, все двести человек, умудрились отравить в столовой. Конечно, я была среди них. Со всей округи съехались «Скорые», но мест на всех не хватало. Нас запихивали в машины по пять, по шесть человек – кого рвет без остановки, у кого понос, у кого все вместе и сразу. Меня тоже положили на носилки и собрались погрузить в машину, я плачу, потому что хочу побыть с Эсландой Борисовной, ради нее и приехала сюда! Но, конечно, нас разлучили.

Мы ехали в этой «Скорой» как селедки в бочке – страшные кочки, трясет, на кого-то опрокинулся тазик, который нам выдали, чтобы нас выворачивало в него. Детьми с отравлением забили все местные больницы – и детские, и взрослые. Привозили и тут же клали под капельницы. Явилось телевидение, следователи, куча народу…

В больнице мы провалялись пять дней. А потом за пострадавшими детьми приехали автобусы в сопровождении местной полиции и повезли всех мимо лагеря в аэропорт. Домашние дети возвращались к родителям. А нам, детдомовским, ехать было некуда – летом детский дом не работает. И вот каким-то хитрым способом, в обход полиции, нас погрузили на отдельную маршрутку и доставили назад, в ЛТО. Сказали, что мы должны незаметно просочиться внутрь, потому что пресса стоит у входа, и забрать свои вещи. Нам предстояла отправка в другой лагерь на карантин – на отдельную от всех отдыхающих территорию. И вот нас, все сорок человек из детского дома, на двадцать один день заперли в отдельном здании – высоченный забор и полоска берега длиной двадцать пять шагов. Это и было все наше пространство на три недели. С ума от безделья можно было сойти! Но рядом со мной была Эсланда Борисовна, и все остальное не имело значения.

Глава 31

Дом

После возвращения из ЛТО, в августе 2011 года, началась моя самостоятельная жизнь. В тот день, когда я ушла из детского дома, у меня за спиной выросли крылья – и воздух стал другим, и все вокруг заиграло новыми красками.

Не знаю, как это объяснить, но с первой же ночи дома я перестала писаться в кровать – раз и навсегда. На протяжении восемнадцати лет у меня был энурез, который никто не брался лечить – врачи не могли даже поставить диагноз. Меня отправляли на обследования в больницы, брали анализы, наблюдали, а в итоге оказывалось, что все в абсолютном порядке. Почки работают как часы. Значит, все это было на нервной почве? От постоянного страха и стресса? Я еще стелила ночью клеенку на свой новый диван, думала: а вдруг? Но неделя проходила за неделей, месяц за месяцем, и ничего!

У меня больше не было энуреза. Излечился не только он, я вообще перестала болеть. С восемнадцати лет я забыла не только о пневмонии, которой мучилась в детстве каждый год, но и о насморке. Все эти бронхиты и воспаления легких сняло как рукой! Максимум – могу подхватить насморк осенью или весной. Может, с выходом из детского дома в болезнях просто отпала необходимость и организм это почувствовал? Раньше больницы и санатории становились моим убежищем, а теперь мне незачем было сбегать. У меня словно переключили что-то внутри, и иммунная система стала работать иначе. Проблемы остались только с зубами, вот с ними мучаюсь до сих пор: нет ни одного здорового, за время жизни в детдоме они все разрушились. Причем похожая история не только у меня, а у всех выпускников детских домов, которых я знаю.

Позже я прочитала, что так влияет на ребенка стресс. Сама жизнь в детском доме. Организм устает от напряжения и постепенно разрушается изнутри.

Зато квартиру, которая положена мне как сироте от государства, дали очень быстро – едва только исполнилось восемнадцать лет. Спасибо за это большое. В Москве в отличие других регионов и городов, где сироты ждут жилья годами, а где-то и по сорок-пятьдесят лет, – все очень четко. В ноябре, за две недели до дня рождения, меня пригласили на просмотр. Я сразу подписала согласие, и уже в феврале квартира была оформлена на меня по договору социального найма. Я доучивалась в школе в детском доме, продолжала жить там и параллельно занималась квартирой. Обычно мы ходили туда с Эсландой Борисовной вместе, одна я боялась. Постепенно с ее помощью поменяла дверь, выбрала необходимые вещи и мебель. Странно, но тут уж старший воспитатель Наталья Ивановна против участия Эсланды Борисовны не возражала – наоборот, радовалась, что я не одна и не надо мне в помощь выделять какого-то воспитателя, снимая его с работы. Конечно, отправлять меня решать вопросы самостоятельно, просто снабдив деньгами – с восемнадцати лет я могла снимать средства со счета, на который приходили алименты от мамы, – было опасно. Я не понимала, что и как устроено за пределами детского дома. Боялась чужих людей, терялась, когда требовалось принять решение. Да и просто без присмотра могла попасть в беду.

Сироты часто становятся жертвами мошенников и авантюристов, мы – легкая добыча для преступного мира. Просто не умеем за себя постоять.

Один раз ко мне по вызову на замер двери пришел совершенно пьяный мужик. Я была в ужасе! Хорошо, Эсланда Борисовна, как всегда, оказалась рядом. Она очень тактичная женщина, дождалась, пока он закончит свою «работу», и потом говорит: «Ну, все, пойдемте, я вас провожу». А если бы я была одна? Да еще с деньгами. Я бы не смогла его выставить.

Кстати, к совершеннолетию у меня на книжке оказалась довольно значительная сумма – мама каждый месяц платила хорошие алименты, и в итоге получилось около полумиллиона. Я была единственным ребенком во всем детском доме, кто не потерял и не истратил свои накопления. Обычно дети добирались до сберегательных книжек, и деньги сразу утекали сквозь пальцы, буквально за пару дней. Дорвавшись до свободы после многих лет заточения, сироты покупали дорогую одежду, мобильные телефоны, фотоаппараты, еще какую-то ерунду; ходили по клубам и ресторанам, кормили-поили толпу «друзей». Телефоны терялись, фотоаппараты разбивались, одежду воровали свои же, и «друзья» исчезали, как только заканчивались деньги. Но я всегда относилась к накоплениям по-другому – прекрасно понимала, что надеяться больше не на что, пока окончу учебу и начну зарабатывать, нужно будет на эти деньги жить. Я брала книжку в соцотделе только по необходимости и снимала деньги исключительно на обстановку квартиры. Всегда предупреждала сотрудников, на что буду тратить. То на дверь, то на кухонную мебель, то на шкаф. Только однажды они что-то там не поняли и накричали на меня за «растрату», а я сидела под лестницей и плакала. Но в одиннадцатом классе уже было достаточно спокойно – ко мне перестали цепляться. Многие сотрудники детского дома, наоборот, помогали.

В соседней группе работала воспитательница, Марина Юрьевна, которая тоже ходила со мной, помогала покупать мебель. Эсланду Борисовну мне не всегда было удобно просить: у нее своя семья, дети, почему она должна тратить личное время и водить меня по магазинам? А с Мариной Юрьевной все как-то легко получалось. У нее был выпускник, с которым она продолжала общаться, Славик. И я попросила этого Славика собрать мне мебель в кухне, пока я буду в ЛТО. Они с Мариной Юрьевной несколько дней летом на это потратили. Приехали и все для меня собрали. Вот таких людей, конечно, запоминаешь на всю жизнь. Спасибо им большое! Ни в какие должностные инструкции и обязанности воспитателя другой группы я со своей мебелью не входила. Но она оказалась человеком с большой буквы, помогала мне просто так. Даже Наталья Ивановна подключалась к сложным вопросам, и от нее я получала поддержку. Одна только Алия Имировна продолжала все делать наоборот – вместо того чтобы помогать, ходила и ревновала меня то к Эсланде Борисовне, то к Марине Юрьевне. Строила козни. Спрашивается зачем? Взрослый, казалось бы, человек.

К концу лета квартира была почти готова. Я потихоньку перевозила вещи. К тому моменту, как поехала в ЛТО, в детском доме уже ничего не осталось – все хранилось в квартире в коробках, и они были подписаны – что, где и в каком количестве лежит. Я понимала, что за лето забуду, что и куда сложила, поэтому подстраховалась. По возвращении предстояло решить только один вопрос – диван. Я его выиграла за рисунок – в детском доме весной проводили конкурс для выпускников от мебельной компании, разыгрывали мебель. И мой диван должны были летом привезти в детский дом. Так и вышло. Наталья Ивановна очень мне помогла – нашла машину, диван мне доставили в квартиру и даже собрали. Огромное ей спасибо!

У меня появился ДОМ.

Господи, как же это было удивительно! Моя собственная комната. Мой личный туалет. Никаких людей вокруг – настоящий рай! Я словно заново родилась и должна была учиться всему с нуля. Есть одной. Готовить самой. Самой за себя отвечать. Днем мне было волшебно! А вот вечером становилось страшно. Помню, первые две-три недели я боялась засыпать одна в квартире. Осень выдалась холодной, все время дул ветер, и я слышала, как шатаются и скрипят деревянные окна. Мне казалось, они вот-вот выпадут! Тогда я звонила Эсланде Борисовне и разговаривала с ней. Каждый вечер она укладывала меня спать по телефону – что-то рассказывала до тех пор, пока я не вырубалась. Это могло продолжаться час или два. Не знаю, как реагировали на это ее домашние, но она ни разу не сказала мне, что не может говорить, что занята. Ни разу не прервала разговор прежде, чем я усну. Все это продолжалось недели три, пока я не привыкла понемногу оставаться ночью одна.

А еще я боялась ходить за продуктами в магазин. Заходила и не могла ни о чем спросить. «Взвесьте мне, пожалуйста, двести граммов сыра»? – да вы что, это невозможно! Если где-то были прилавки с продавцами, я сразу уходила в другой магазин. Искала тот, где молча взял и пошел. Люди меня пугали.

И, конечно, я совершенно не умела готовить. Только беляши, и все – этому научила Алия Имировна. Но на одних беляшах долго не проживешь, а никакой другой практики не было. В детском доме нас кормили шесть раз в день, даже думать о щах-борщах не приходилось: еда всегда на столе. И только после выпуска я поняла, как же это плохо – не можешь в итоге элементарную яичницу себе пожарить. Сейчас дети по-прежнему не готовят в детских домах, могут только в кулинарных мастер-классах участие принимать. Пиццу, например, делать. Но разве это подготовка к самостоятельной жизни? Одну пиццу не будешь есть триста шестьдесят пять дней в году. Нужно готовить и суп, и второе, и салаты. Все уметь. Но такой повседневной практики ни в одном детском доме нет. Ребенок там об этом не думает. А потом оказывается в очень сложной ситуации.

Первая моя встреча с газовой плитой, например, была как свидание с драконом. Я совершенно не понимала, как ее включать и что с ней делать. А есть-то хочется! И вот стоит эта плита, к которой неизвестно, с какой стороны подойти. Смотрю на нее, как баран на новые ворота, и понимаю, что снова придется Эсланде Борисовне звонить. Она объяснила по телефону, что газовую плиту нужно включать с помощью спичек – поворачиваешь ручку, раздается такой звук «шшшшшш», в это время подносишь спичку к конфорке, и огонь загорается. Хорошо! Подхожу к плите, поворачиваю ручку, и никакого «шшшш» не происходит. Думаю, что же это такое?! Начинаю все осматривать – оказывается, шланг, который подает к плите газ, был даже не прикручен. Я его сама прикрутила. Потом только узнала, что так нельзя, что все эти манипуляции должен проводить газовщик. Снова повернула ручку – опять ничего. Потом вижу, торчит штука под вентиль на трубе. Я догадалась, что ее, наверное, нужно открыть. А вентиля-то нет – опять же газовщик должен газ открывать. Я притащила плоскогубцы, стала крутить туда-сюда. Ничего. Я уже ругаюсь на чем свет стоит, но голод – не тетка. Продолжаю крутить. И в какой-то момент услышала, наконец, что идет газ! Вот это «шшшшш». Пока брала спички, пока чиркала, пока подносила, видимо, газа уже накопилось слишком много, и он вокруг моих рук как вспыхнул! Руки я себе тогда опалила, конечно, но все равно считала, что для первого раза неплохо справилась. Поставила варить макароны. Они наполовину сварились, и я, такая радостная, что сама еду приготовила, ела их полусырыми. А потом Эсланда Борисовна сказала мне, что есть такие специальные автоматические зажигалки для газовых плит – подносишь, щелкаешь, вылетает искра, и огонь загорается. Я долго искала такую штуку, каждый раз мучилась с этим драконом-плитой, но потом, наконец, нашла и купила. Это было счастье!

Постепенно вопрос с едой наладился. На завтрак я делала себе бутерброды. Обедала в колледже. А вечером ела салаты. Приходила домой поздно, около десяти вечера, и на еду уже особо времени не оставалось. Да и денег, если честно, было совсем немного. В колледже как ребенку-сироте мне платили стипендию – двенадцать тысяч. Половина уходила на то, чтобы купить карандаши, ластики, бумагу, краски. На оставшиеся шесть тысяч я питалась. Конечно, от тех пятисот тысяч, алиментов мамы, у меня после покупки мебели еще остались деньги, около четырехсот тысяч. Но я заказала новые пластиковые окна и балкон, это тоже обошлось примерно в сто тысяч. Оставшиеся деньги хранила на «черный день» – понимала, что в любой момент могу остаться без копейки, если придется что-то, кроме еды, купить. Так и выходило. Потихоньку я их использовала, за пять лет они ушли. Но я как могла старалась их беречь – прекрасно понимала, что закончится колледж, а с ним стипендия, и наступит момент, когда мне нужно будет искать себе работу, но не факт, что я сразу ее найду.

Конечно, бережливости я научилась благодаря собственным заработкам в ЛТО. Как и многому другому. Там все-таки была более-менее реальная жизнь – встаешь в 5 утра, едешь на работу, до 12 собираешь фрукты, только потом уже немного моря и отдыха. Полного обслуживания, как в детдоме, там уже не было: даже сантехника не вызовешь. Поэтому я сама научилась разбирать сифон, если он засорялся, чистить его, собирать обратно. Я знала, как и что устроено, где и что подкрутить. Эти знания потом очень пригодились в своей квартире.

Для меня главной сложностью после выпуска стало хождение по инстанциям. У нас был очень хороший детский дом, выпускникам помогали до двадцати трех лет. Нам говорили, какие бумаги относить в колледж, в ЖЭК, в пенсионный фонд, в Мосэнерго, Мосгаз и так далее, чтобы получать стипендию и льготы по квартплате. В то время еще не было МФЦ, приходилось бегать по всем этим конторам. А для меня было ужасом войти в незнакомое помещение и к кому-то обратиться. Немыслимо! Я помню, пришла в ЖЭК и стою, не понимаю, куда мне надо. А там двадцать окон, нет электронной очереди, и люди все какие-то злые – ни у кого ничего не спросить. Стала читать, что над окошками написано. Смотрю, какие-то адреса. Только тогда до меня дошло, что окошки по адресам распределены, и я начала искать свой. Но каждый раз это был жуткий стресс.

Колледж я окончила успешно, три года учебы прошли на одном дыхании, но вот найти работу по своей специальности не смогла. Ходила на собеседования в разные дизайн-студии, и там выяснялось, что у меня нет нужного набора программ. Я не жалела о своем выборе, учеба в колледже окрылила меня, но все-таки нужно было получить и высшее образование – директор детского дома оказался прав. Стала искать институт, но такой, чтобы параллельно работать. Мне почему-то думалось, что если меня в двадцать один год на работу не берут, то в двадцать пять лет не возьмут и подавно – по причине преклонного возраста. Я думала о вечернем отделении. Конечно, в первую очередь мне пришла в голову Тимирязевская академия. Та, где училась мама. Но цены на обучение были слишком высокими, я бы не потянула. Тогда по совету педагогов из колледжа я подала документы в Институт леса – там дешевле. Выбрала специальность «ландшафтная архитектура». Правда, чтобы поступить, мне пришлось снова сдавать ЕГЭ – в то время результаты действовали только два года. Я сдала все четыре экзамена на хорошие баллы и поступила. Теперь мне предстояло учиться еще четыре года, уже платно. Стипендии, само собой, на внебюджетном отделении не было, на работу меня по-прежнему никуда не брали, и я жила на то, что осталось от алиментов. Правда, эти деньги стремительно заканчивались. Требовалось что-то срочно делать.

И снова помогла Эсланда Борисовна! Я уверена, что, если бы не она, я бы, несмотря на свое огромное желание выйти из детского дома, так и не адаптировалась бы к жизни за стенами учреждения. Я никого не знала, кроме нее. У меня не было ни родных, ни друзей. То, что помогало мне выжить и не сойти с ума раньше – уход глубоко в себя, – теперь, наоборот, оказывалось препятствием.

Удивительно, но один-единственный взрослый человек создал вокруг меня целый мир.

Все связи и знакомства появлялись через Эсланду Борисовну, все знания о мире приходили от нее. Когда стало понятно, что сама я никуда не устроюсь, именно она стала искать мне работу. Обзванивала знакомых, с которыми пересекалась по детскому дому или по личным каналам, спрашивала, есть ли что-нибудь для молодой талантливой художницы. Один из таких звонков Эсланда Борисовна сделала в «Арифметику добра». Наш детский дом тогда сотрудничал с фондом по программе семейного устройства – в «Арифметике» готовили и направляли в детский дом кандидатов в приемные родители для подростков. Они первые этим целенаправленно занялись, до них я даже не знала, что в природе бывают семьи, которые готовы принимать больших детей, ребят старше двенадцати лет. Эсланда Борисовна рассказала обо мне Диане Машковой, они как раз по этому вопросу постоянно общались, и попросила о работе или хотя бы подработке в фонде. Дальше я не очень хорошо помню, как все было, но через некоторое время меня пригласили в фонд, и там я встретилась с Наилей Новожиловой, председателем правления «Арифметики добра». Мы поговорили. Наиля спросила, где я учусь, внимательно меня выслушала. И предложила интересную творческую работу – создавать сувениры для благотворительных мероприятий. Мы обсудили условия, и я начала расписывать елочные игрушки к новогодним ярмаркам. До этого ничего подобного не делала, а тут села попробовала, и мне самой так понравилось! Даже отдавать жалко стало – такими классными они получились. Я принесла готовые шары в фонд, и все стали охать-ахать, бегали с ними, как дети, показывали друг другу. Конечно, было приятно! И после этой, пробной, работы Наиля предложила мне постоянный оклад.

Благодаря фонду я смогла получить высшее образование – если бы не зарплата, мне бы уже нечем было платить за учебу. «Арифметика» оказалась для меня лучшим местом работы – любимое дело, свободный график и коллеги, которые не ждали, что я сразу откроюсь и пойду на контакт. Они многое понимали о детях-сиротах, знали о последствиях жизни в детдоме и поэтому не давили. Постепенно я познакомилась с новыми людьми, запомнила каждого в лицо, и стресс от прихода в новую для меня среду прошел. Я адаптировалась. Чем свободнее я чувствовала себя в коллективе, тем больше у меня появлялось новых идей. Постепенно, помимо шариков, стала делать шкатулки в технике декупаж. Потом придумала маленькие мягкие игрушки, символы Нового года. Еще предложила мастер-классы для самих сотрудников – и для пользы дела, и для моральной разгрузки людей. Работать в фонде сложно, каждый день перед глазами детское горе, и специалисты быстро выгорают от этого, устают. Им обязательно нужна перезагрузка.

Я до сих пор работаю в «Арифметике добра» и давно чувствую себя там как дома. К творческой работе после окончания вуза добавилась педагогическая – я стала приезжать на работу по выходным, чтобы заниматься с детьми, подопечными фонда. А еще я очень рада тому, что у «Арифметики» есть программа «Наставничество». Я сама в ней участвую – уже прошла обучение на наставника, в планах – Школа приемных родителей. Тренинги очень помогают понять саму себя – все, что происходило в детском доме со мной и происходит сейчас с другими детьми.

Даже тем ребятам, которые жили в семье и попали в детский дом уже подростками, нужна серьезная помощь. На них плохо влияет жизнь в неестественных условиях, в отрыве от самых близких людей. Они начинают пить, употреблять наркотики, убегать и бродяжничать. Спасти в такой ситуации может только сознательный, зрелый человек, которому «не все равно». Я своими глазами видела, как меняются дети, когда у них появляются близкие люди. Хотя бы наставники. Еще лучше – приемные родители. Многих это вытянуло буквально со дна. Как и меня. Не будь Эсланды Борисовны, я бы пропала.

Самыми трудными стали первые пять лет моей самостоятельной жизни. Я продолжала бояться взрослых, на улице не могла ни к кому подойти, для меня немыслимо было даже просто спросить дорогу. В любой ситуации, когда требовалось обратиться к незнакомому человеку, сердце колотилось как бешеное. Я едва ли не падала в обморок. Для меня до сих пор каждое новое знакомство – это гигантский стресс.

У меня, к сожалению, есть перед глазами примеры выпускников, которые так и не смогли адаптироваться к жизни за стенами учреждения. Они постепенно прекратили все контакты с людьми, не учатся, не работают, получают пособия. Есть те, кто вообще не выходит из дома. Ни во двор, ни за продуктами в магазин – им слишком страшно. Живут в затворничестве, в депрессии и на грани нервного срыва. Я их прекрасно понимаю. Для меня многие годы вся связь с внешним миром была только через Эсланду Борисовну.

Она стала для меня тем самым родным человеком, который нужен каждому ребенку, чтобы разорвать наконец психологическую пуповину. Выйти из небытия. Стать частью реального, а не выдуманного мира.

Глава 32

Поиск

Ответ от матери на письмо, которое я отправила ей после девятого класса, так и не пришел. Я долго ждала, переживала и задавала себе вопросы. Письмо не дошло? Мама не поняла, что я больше всего на свете хочу ее увидеть? Или я не нужна… Последняя догадка – о том, что она прочла письмо, но не захотела ответить, – ранила слишком сильно. Я даже думать об этом не могла: если так, лучше бы меня убило бутылкой.

Еще учась в школе, я начала искать маму через социальную сеть «Одноклассники». Мы жили в ЛТО, там был интернет-клуб: можно заходить, оплачивать доступ и сидеть в Интернете целый час. Стоило это семь гривен. Я уже знала к тому времени фамилию, имя, отчество, год рождения мамы и по этим данным быстро ее нашла. Увидела, как она выглядит сейчас – все-таки немного похожа на меня, – посмотрела на ее детей. Их оказалось четверо. Долго собиралась с духом, чтобы написать ей сообщение в Сети. Отправила. Ждала ответа, безумно переживала. Но она и теперь молчала. Я написала еще раз. И еще. Я написала много писем, но она не ответила ни на одно. Тишина была сродни ударам ножа. Очень больно. Постепенно, через ее профиль, я вышла и на других родственников – их у мамы в друзьях оказалось огромное количество. Я смотрела, с кем она общается чаще всего, просматривала их профили и стала чем-то вроде привидения в своей кровной семье – читала публикации родных, наблюдала за ними, разглядывала фотографии, но никак не проявляла себя.

После выхода из детского дома я решила во что бы то ни стало получить информацию о родных. Мы с Эсландой Борисовной пошли в социальный отдел и попросили выдать мои личные данные – все, какие есть. В первую очередь мне нужны были адреса. Но, господи, что тут началось! На меня накричали и выгнали в соседний кабинет. Эсланду Борисовну заперли в отделе, приперли к стене и стали воспитывать: «Это же ребенок! Вы понимаете, что вы творите?! Для нее будет слишком сильный удар!» Меня всегда поражало, что в детском доме каждый сотрудник, каждый делопроизводитель разбирается в детской психологии лучше, чем психолог. Все взрослые прекрасно «знали», что нужно нам – детям! Хотя не понимали в этом абсолютно ничего. И, несмотря на то что всегда фатально ошибались, продолжали гнуть свою линию.

Да, я знаю, что в стране есть тайна усыновления. И усыновленные не имеют права на информацию о себе, не могут ее получить из-за этого странного закона. Но при чем тут я?! При чем тут сироты, которых никто и никогда не усыновлял?!

Почему мы, срастаясь с мыслями о матерях, не имеем права знать о своем происхождении, о своих родителях? Это важно! Для меня это важнее всего на свете – было и остается сейчас. Я не могу жить, не понимая, кто я, откуда взялась и почему именно со мной все это произошло.

– Зачем тебе это нужно?! – орали на меня специалисты. – Это никому не нужно! Они тебя забыли. Они тебя бросили! Ты что, не понимаешь?

Да откуда им было знать?! Все меня бросили или не все?! Может, не все родственники знали о моем существовании! Но сотрудники обрабатывали Эсланду Борисовну и меня. Стыдили нас. Гнали прочь и не хотели давать никакой информации. И это при том, что мне уже исполнилось восемнадцать лет! При том что не было закона, который запретил бы мне знать правду о самой себе. Мы держались и настаивали на своем. Просто просили данные и никуда не уходили из кабинетов, по которым нас развели. Устав от нас, сотрудницы выдали наконец адрес бабушки – правда, индекс не написали из вредности, но его легко можно было найти в Интернете – и заодно, в довесок, шлепнули на стол мои фотографии из дома ребенка. Я увидела их, и на меня волной нахлынул ужас: словно я снова оказалась там, в этом аду. Сначала не хотела брать снимки, но потом поняла, что не надо отказываться – это тоже моя история и единственная возможность запомнить, какой я была в детстве.

Адресом бабушки я тут же воспользовалась – села и написала письмо. Только отправить не успела: словно по волшебству, вечером того же дня на меня через «Одноклассников» вышла двоюродная сестра. Ее зовут Айгуль. Наверное, она обратила внимание на то, что я заходила к ней в профиль. Айгуль написала: «Привет! У моей мамы девичья фамилия тоже была Испергенова. Может, мы родственники?» Я ответила: «Может быть», – и написала, что я старшая дочь ее родной тети, только выросла в детском доме. Конечно, она не поверила. Потребовала факты. И я ей рассказала свою историю. Что я родилась 10 декабря 1992-го. Что мою маму зовут так и так. Что она оставила меня в родильном доме и написала бумажку «заберу ребенка в течение 3 месяцев», а потом бесследно пропала. Айгуль оказалась потрясена! Тетя была для нее примером прекрасной матери, обожала своих четверых детей, души в них не чаяла, сложно поверить в то, что она так поступила со мной, своим первым ребенком. Я стала кидать ей другие факты. Что мама окончила Тимирязевскую академию. Что у нее день рождения такого-то числа. Что сама она из Челябинской области и сейчас там живет. Что у мамы есть две старшие сестры. Я даже написала адрес бабушки, который мне выдали в соцотделе. Только тогда Айгуль поверила мне и спросила, может ли она рассказать все это своей маме – моей тете. Я разрешила. И через некоторое время двоюродная сестра написала мне снова: сказала, что ее мама приглашает меня к ним в гости. Мы с Эсландой Борисовной стали собираться в Челябинск – я очень хотела увидеть свою семью, жила мыслями об этой встрече, но боялась ехать одна.

И вот мы купили билеты. До отъезда оставались считаные дни. В тот вечер я сидела дома, смотрела «Звездочки на Земле» – первый фильм, который заставил меня плакать, до этого не плакала ни над одним. Чужие истории не вызывали у меня жалости или глубоких переживаний. Боли хватало своей. Но в этом фильме был такой момент, когда родители оставляют своего сына, главного героя, в интернате. А сами уезжают. И вот на этой сцене я почувствовала невыносимую боль. У меня внутри все взорвалось, соединилось воедино с чувствами этого мальчика. Сижу я рыдаю, и в этот самый момент от Айгуль приходит длинное письмо через «Одноклассники»: «Здравствуй, Сания. Я была сегодня в гостях у своей тети, твоей мамы. У меня получилось вызвать ее на личный разговор. Она сказала, что она не твоя мать. Тебя родила другая женщина, а тетя просто дала ей свой паспорт, потому что та была без документов и ее не брали в роддом. Она ее толком не запомнила. Прости. Я думаю, тетя говорит правду. Но зато она знает твоего отца и давно ищет его сама…» Там были еще слова, очень много текста, но я не могла дочитать. Уже после слов «ОНА НЕ ТВОЯ МАТЬ» у меня началась истерика, все поплыло перед глазами. В ответ я смогла отправить Айгуль только многоточие. Девятнадцать лет жизни… Непрерывные мысли и мечты о маме. А в итоге – она НЕ МОЯ?!

В ответ на многоточие Айгуль написала: «Ты плачешь?» Я ответила вопросом на вопрос: «А как ты думаешь?» И больше ни на что не было сил. Я отключилась от Сети. Легла на диван – не могла ни стоять, ни сидеть: у меня подкашивались ноги, и все тело дрожало как в лихорадке – и рыдала взахлеб. Я перестала понимать, что творится в моей голове. В один миг разрушилось все, на что я опиралась многие годы. Все, что не давало мне сойти с ума в детском доме, – любовь к маме, моя бесконечная преданность ей одной. И надежда на встречу.

Я не помню, сколько прошло часов, но открылась дверь и в квартиру вошла Полина, моя одногруппница по колледжу. В тот год она жила у меня, потому что ей не досталось общежития и не было денег снимать квартиру.

– Что случилось?!

Она испуганно склонилась надо мной. Что-то говорила. Но я не понимала ее слов, они доносились до меня, словно сквозь вату, и ничего вразумительного ответить ей не могла.

– Я из капусты?! – прорыдала я ей в лицо.

Полина отшатнулась.

– Скажи, я из капусты??? – закричала я так, что стекла на окнах задрожали.

Я не понимала, как так можно было со мной поступить! Бросить тогда. И снова предать сейчас. Почему так?! За что?! Ведь я мечтала только о ней и отталкивала всех остальных.

Сумасшедшая привязанность к матери, которую я никогда в жизни не видела, спасла меня от падения в бездну и в то же время сыграла со мной злую шутку – выбила почву из-под ног. Не дала ни к кому другому приблизиться.

Полина продолжала задавать мне вопросы, но я не слышала их. Я даже не видела ее – все как в тумане. Мне было тошно от ее присутствия. Чего она хочет от меня? Что она, «домашняя», может понять в моей беде? Я встала и в чем была ушла из квартиры. Всю ночь ходила по улицам, рыдала и не могла остановиться. Это оказалось слишком больно. Так больно, что даже я, человек, познавший в жизни немало травм и обид, не могла этого вынести. Я не понимала, за что они так со мной. Я думала, думала, думала. И шла, шла, шла – просто для того, чтобы не сойти с ума. В какой-то момент меня опять начало трясти, как в лихорадке, я каким-то чудом догадалась, что мне нужно выпить воды. Помню, зашла в круглосуточный магазин и увидела себя в зрачках продавщицы, которые расширились от ужаса. Опухшая, с синим носом и красными глазами, неузнаваемым лицом, блуждающими глазами. Продавщица спряталась от меня за прилавок и пропищала оттуда:

– Чего вам?

– Воды, – прохрипела я.

– Держите!

Она поставила бутылку и тут же попятилась, словно я была больной и заразной.

Так я и ходила с этой бутылкой всю ночь по улицам. Пришла домой только утром, взяла свои кисточки-краски, долила в бутылку воды и пошла рисовать. Хорошо, в колледже шла практика – занятий в тот день я бы не выдержала. Приехала на пленэр, села на свое место и весь день сидела, не шевелясь, погруженная в свои мысли. Меня словно подбросили в воздух, лишив почвы под ногами, и я болталась теперь между небом и землей. Как так вышло, что я оказалась из ниоткуда? Как ребенок родился, если не было ни матери, ни отца. Я просто не понимала этой истории, она не укладывалась у меня в голове. Сидела и, не обращая ни на кого внимания, мысленно говорила с мамой. У меня в голове толкались, наскакивая один на другой, бесконечные вопросы.

«Скажи, какая другая женщина, если записали меня на тебя? Если ты не возражала против этого в суде и много лет платила алименты? Для чего это, если ты не моя мать? Что здесь пошло не так? Кто тогда дал мне имя, если не ты? Чего ради я ношу твою фамилию? И почему ты не запомнила эту женщину, не можешь ничего о ней рассказать?! Ты доверила ей свой паспорт и свое имя, ты должна была знать, кто она! Не может такого быть! Я не верю тебе, не верююююю!!!»

Я все это крутила, крутила в своей голове, и у меня ничего не сходилось. И только потом – как вспышка – внутри прозвучали слова Алии Имировны, которые она сказала давным-давно: о том, что скорее всего мама отказалась от меня, потому что в казахской традиции принести в дом внебрачного ребенка – позор для всей семьи.

Мою маму бы прокляли и никогда не простили. Она стала бы изгоем, не смогла никогда больше выйти замуж и родить еще детей. Возможно, в этом причина? И она до сих пор боится своего позора, боится, что ее проклянут? И постепенно, через эти объяснения, я пришла к мысли, что не могу ее осудить. Может, обстоятельства были куда сильнее ее – девочки-студентки. Ей никто не помог, никто не поддержал. А может, она и вправду не врет? Я ведь не знаю! Мы не сдавали анализы ДНК, чтобы на сто процентов убедиться, где правда, где ложь. Только если мы обе пройдем обследование, все, наконец, проявится. А пока…

То лето было самым тяжелым в моей жизни. Я потеряла мать, так и не успев обрести ее. Эсланды Борисовны тоже не было рядом, она опять находилась в очередном лагере в Крыму вместе с детьми. Только через два дня я обнаружила в себе силы ей позвонить. Уже выплакала к тому времени все слезы, и по чуть-чуть, понемногу меня стало отпускать.

– Алло?

Голос близкого человека прозвучал для меня как спасение. Я почувствовала, что больше не одна со своей бедой. От этого стало легче.

– Эсланда Борисовна, – говорю ей вместо приветствия, – вы там сидите?

– Сижу, – отвечает она.

И я представила, как она сидит прямо на траве: мы в том лагере всегда ходили звонить на гору, там лучше ловила связь.

– Моя мать – это не моя мать.

Я произнесла эти слова, и меня снова начали душить слезы.

– Что?! Что ты говоришь?

– Моя мать – это не моя мать.

– Как же так?

– Ну, вот так.

И я рассказала ей всю историю. Все, что написала мне Айгуль. Эсланда Борисовна долго ничего не могла ответить. Молчала в трубку. Даже для нее, взрослой женщины и психолога, это оказалось чересчур. У нас с ней в тот день даже не получился разговор: мы обе были подавлены, и я слышала сквозь огромное расстояние, что и ее тоже душат самые неприятные чувства.

– Приезжайте, – только сказала я, – будем вместе думать, что делать.

Мы не поехали в Челябинск, сдали билеты. Я написала Айгуль, что не могу: слишком больно, так, словно меня режут изнутри на части. Я не смогу встретиться со своей тетей, с ее мамой, не смогу спокойно смотреть на родню. Буду все время плакать. Хочу, чтобы у меня внутри все как-то затихло. Чтобы рана хотя бы чуть-чуть затянулась. Она написала мне, что все понимает и они готовы ждать.

Глава 33

Родственники

Ждать им пришлось долго, целый год. Только через двенадцать месяцев у меня появилось достаточно сил, чтобы вернуться к мыслям о поездке в Челябинск. Именно в тот год мать написала мне единственное письмо, в котором повторила все, что рассказала Айгуль, только подробностей стало больше. Она – теперь уже сама – рассказала, что меня родила совершенно другая женщина. Что она эту женщину не помнит, не знает, но та точно была студенткой той же Тимирязевской академии. Рассказала, будто она пришла в общежитие, а та женщина стоит, и у нее уже начались роды. Мать сунула ей свой паспорт, когда приехала «Скорая». И поэтому меня зарегистрировали на ее имя. «Я не твоя мать, – писала она, – но не стала оспаривать то судебное дело про алименты. Потому что ты ни в чем не виновата. В чем ты виновата? Ты же ребенок. И я решила, что чем смогу, тем тебя и поддержу».

Я написала ответ. Теперь уже обращалась к ней на «вы», не могла по-другому. «Здравствуйте, – писала я, – у меня появилась к вам куча вопросов. Я бы хотела их задать, потому что не знаю, у кого еще искать ответы. Пожалуйста, напишите мне, как получилось, что вы дали той женщине паспорт? Как ее хотя бы звали? Как она выглядела? Как звали моего отца? Вы сказали Айгуль, что знали его. Пожалуйста, напишите его имя-фамилию и дату рождения. Еще мне очень важно знать, откуда взялось мое имя, кто меня так назвал? Пожалуйста, напишите мне все. Или встретьтесь со мной – я скоро приеду в Челябинск и буду несколько дней в доме Айгуль, с ее семьей».

И после этого мать снова пропала, зато информация снова стала приходить через Айгуль. Она писала мне, что, когда они оставались вдвоем, ее тетя рассказывала, как звали моего отца, сколько ему было лет. Еще она говорила, что он был высокий, статный, красивый, умел очаровывать девушек и у него их всегда было много. Он хорошо одевался и очень любил общественные мероприятия. А кроме прочего, писал картины – и у него это прекрасно получалось. Хотя и учился на агронома, а не на художника.

Я была потрясена! Значит, у него тоже был талант? И мне это передалось по наследству? У Эсланды Борисовны оказался выход на программу «Жди меня», и я попросила ее помочь, написать туда письмо. Она написала все, что только могла: «Вот что известно про Артыкова Рината Умбетовича: учился он в Тимирязевской академии. Очень начитанный, умный, на тот момент работал заместителем директора студенческого городка. Он из Южного Казахстана. Учился в Российском государственном аграрном университете – МСХА имени К. А. Тимирязева. Его дочь Сания, которая разыскивает его, ходила туда и спрашивала про отца, но в базе выпускников его не оказалось. В 2012-м ему было примерно 43 года».

Наше письмо целых четыре года провисело у них на сайте. Его обнаружил друг семьи моего дяди, старшего брата отца, когда зашел в «Жди меня» в надежде найти информацию о Ринате. Оказывается, даже самые близкие родственники не знали, где он! Он исчез много лет назад. И они тоже искали его через эту программу. Но вместо информации о Ринате друг семьи нашел письмо обо мне. Помню, он написал мне в «Одноклассниках», представился и попросил разрешения рассказать обо мне своим друзьям – дяде и тете по отцу. Некоторое время спустя через социальные сети на меня вышла двоюродная сестра Динара. Мы с ней оказались ровесницами и стали общаться. От нее я и узнала о родственниках отца. Оказалось, что и здесь у меня огромная семья: дяди, тети, братья, сестры. С мамой Динары мы потом встретились. Она показала мне фото отца, и там даже ДНК делать не надо – я на него очень похожа. Тетя рассказала, что мой отец был хорошим талантливым человеком. Жаль только, со старшим братом – ее мужем – он поссорился. Когда отец вернулся из армии, он хотел бросить учебу. После службы сильно изменился, и у него появились другие планы. Но старший брат заставил его вернуться в академию и доучиться, настоял на своем. У казахов слово старших – закон, и отец против собственной воли послушался. Закончил учебу. Сдал экзамены. А после выпуска пришел к старшему брату и отдал ему свой диплом со словами: «Держи, это тебе, а я пошел»! И был таков.

С тех пор прошло двадцать пять лет, и никто не знал, куда он подевался. Не знали даже, жив или мертв. Первое время еще звонил изредка старшей сестре, говорил, что с ним все в порядке. Потом стало известно, что он поменял себе имя – вместо Рината стал Маратом. И после этого окончательно пропал. А в июле 2017 года мне написала через «Фейсбук» незнакомая женщина: «Здравствуйте! Случайно прочитала на сайте «Жди меня» вашу историю. Я знала Артыкова по учебе в Тимирязевке…» Мы стали переписываться и договорились о встрече. Эта женщина показала мне еще одну сторону медали – рассказала, что отец мой был эгоистом, что его ничего не интересовало. Он встречался с ней в девяносто втором – девяносто третьем годах, делал ей предложение, но при этом постоянно задавал странный вопрос: «Как ты относишься к изменам?» А она тогда не понимала, к чему он это говорит. И только сейчас, при моем появлении, сообразила, в чем было дело – он собирался жениться на ней, и в это же время другая женщина забеременела от него.

Позже я нашла отца через сайт ГИБДД – на него оказались зарегистрированы две машины. Даже смогла получить его домашний адрес, съездила туда. Помню, как меня колотило перед дверью, помню, как трясущейся рукой нажимала на звонок. Но вышел совершенно другой мужчина и сказал, что человек с такими именем и фамилией уже больше шести лет по этому адресу не живет. След отца потерялся…

А мать? Я все еще надеялась на встречу с ней. Летом после третьего, выпускного курса в колледже я снова купила билет в Челябинск и собралась в дорогу. На этот раз уже без Эсланды Борисовны. Мне был двадцать один год, я стала немного смелее и не хотела больше никого впутывать в свои дела. Я тогда много думала о том, кем я прихожусь в итоге этим людям, зачем еду, что меня ждет и как ко мне отнесутся. Вопросов было больше, чем ответов, да и волнений тоже хватало. А вот всепоглощающий страх перед встречей пропал. Я понимала, что самое ужасное уже пережила – женщина, которую я считала своей матерью, в реальности ею не была. Или просто не хотела ею быть. Внутри меня за минувший год перегорели самые тяжелые чувства, я прошла через все круги ада и смирилась с тем, что есть.

Билет на поезд я по неопытности купила без постельного белья, а ехать предстояло двое суток. Наличных денег с собой, как назло, не оказалось, только банковская карта. В итоге всем купе наскребали мне на белье – было стыдно, конечно, но ничего не поделать. Пришлось принять помощь. А на вокзале меня встретила Айгуль, я ее сразу узнала по фотографиям в социальных сетях. Сначала мы поехали к ней в квартиру, сидели там, рассматривали альбомы с фотографиями родственников. Болтали о том о сем. Она много рассказывала о «маме, которая по документам», о ее судьбе и ее детях – где учатся, чем занимаются. Я слушала с интересом, но без особого трепета: у меня больше не было ощущения, что это моя семья. И хотя мне хотелось узнать, как росла женщина, давшая мне свою фамилию, как проходило ее детство, я чувствовала себя просто гостем, которому рассказывают историю семьи. Так мы и договорились с Айгуль – когда поедем в поселок к родственникам, она станет представлять меня как свою подругу, приехавшую погостить из Москвы.

На следующий день мы отправились в дом к ее родителям – они единственные из всех знали, кто я на самом деле и зачем приехала, но тоже не афишировали правды. У них в доме, когда мы вошли, заканчивался какой-то семейный праздник, и со мной все начали знакомиться. «Здравствуйте! Я – Сания». – «Добрый день, Сания». От лиц и имен у меня все перепуталось в голове. Только постепенно, с помощью Айгуль, я начала разбираться, кто есть кто в этой большой семье. Там были три тети, у каждой четверо детей. Некоторые из них уже взрослые, в браке и воспитывают собственных дочек и сыновей, моих предполагаемых племянников и племянниц. Это была огромная семья – счастливая и дружная. Я бы хотела такую. Мне понравился дом матери Айгуль – небольшой, но светлый и наполненный воздухом. Никакой лишней мебели и ненужных вещей. Можно свободно дышать и свободно двигаться. Когда-нибудь я и себе построю такой же дом, только обязательно со стеклянной стеной в большой мастерской для работы.

А еще я встретилась в поселке со своей вероятной бабушкой. Она, кстати, оказалась матерью только моей мамы, а три старшие сестры были родными лишь по отцу, поскольку родились от другой жены. Я не очень вникала, как так вышло – там все чересчур запутано. Но отметила про себя, что не такие уж строгие у казахов нравы, если можно иметь детей от разных жен. Только мне, похоже, не повезло, если именно моя мать испугалась позора. Мама Айгуль попросили меня представиться бабушке под другим именем, назваться Александрой. Саней. Может быть, по этой причине, а может, по какой-то другой, но я очень сильно волновалась перед этой встречей. Представилась, и мне стало стыдно смотреть бабушке в глаза – не люблю врать. А тут еще она решила заговорить со мой по-казахски, а я ни слова не знаю и окончательно смутилась. Сидела, красная от стыда, пила чай и слушала, о чем говорят другие. Потом мы посмотрели фотографии, которые были расставлены у нее в шкафах, и ушли. Только на улице я выдохнула с облегчением. Бабушке было уже за восемьдесят, и она могла не перенести удара, если бы узнала о настоящей цели моего приезда. Даже само имя Сания выдало бы меня с головой – бабушка сразу бы обо всем догадалась, она очень умная. Конечно, родственники не хотели под конец жизни преподнести ей такой «сюрприз». А я прекрасно понимала, что такое невыносимая боль, и никому не хотела ее причинять.

Внешнего сходства с бабушкой я не нашла. Впрочем, и с матерью тоже. Может, и правда не она меня родила? Хотя, с другой стороны, на меня похожи все ее дети и особенно младшая дочка – мы с ней одно лицо. Я до сих пор теряюсь в сомнениях.

Три дня я провела в доме мамы Айгуль. И все это время мы звонили матери, чтобы договориться о встрече. Первый раз позвонили еще из Челябинска. Потом, уже в поселке, сделали еще несколько попыток. Айгуль набирала номер со своего телефона, а в ответ раздавались только длинные гудки. Каждый раз у меня потели ладони и сердце бешено колотилось о ребра. Я очень хотела встречи. И в то же время ее боялась. С каждым гудком тревога во мне нарастала, я словно проваливалась в подростковый возраст и переживала почти то же самое, что и много лет назад, когда стояла рядом с Али-ей Имировной и в нечеловеческом напряжении ждала первого «Алло». Только на этот раз я точно знала, что мать не возьмет трубку. Этого невозможно объяснить: я просто была уверена в глубине души – «она не ответит».

Мне тогда было, да и сейчас есть, что ей сказать. Есть о чем расспросить. Я ждала нашей встречи всю жизнь и жду ее до сих пор. В моем ожидании – страх и волнение одновременно. Только с возрастом к этим чувствам добавилось еще и смирение. Я научилась принимать ситуацию такой, какая она есть. Но при этом знаю точно – всему свое время. Оно придет. Пока я не могу ничего изменить, но главная в моей жизни встреча обязательно состоится. Иначе просто не может быть.

Несмотря на то что цель осталась недостижимой, все равно из Челябинска я уезжала в хорошем расположении духа. Мне понравилась жизнь моей предполагаемой родни. Я всегда хотела именно такую семью: большую, дружную, и чтобы все заботились друг о друге. Друг друга берегли. Я увидела дом своей мечты и поняла, как строить его, когда придет время. Там будет так же много простора, воздуха и света. Единственное, что меня немного смутило, – это странное, вне всякой логики, уважение к старшим в семье. Айгуль старше меня всего на пять лет, но она упорно требовала, чтобы я называла ее на «вы». Мне это было непонятно. А еще меня потрясли некоторые внутренние суеверия, предрассудки этих людей. Я наблюдала за их проявлениями в повседневной жизни и размышляла о своей жизни.

Я думала, что стала жертвой самого страшного предубеждения, что ребенок может быть для своей матери позором. Общество, в котором сильны такие установки, своим осуждением слепо погружает в ад ни в чем не повинное существо.

С той единственной поездки к родне прошло уже шесть лет. Общение у нас стало поверхностным – я не лезу в их жизнь, они не замечают мою. С Айгуль мы переписываемся примерно раз в полгода, а матери я больше не пытаюсь ни писать, ни звонить. Зато внутренне готовлюсь к тому моменту, когда в один прекрасный день я к ней приду. Уже нашла кафе, в котором она работает вместе с сыном. Это их собственный бизнес. И вот однажды я войду в это кафе и просто поздороваюсь с ней, а потом скажу: «Спасибо!»

Пусть я не знаю всей правды, и, конечно, не мне ее судить. Я просто благодарна ей за то, что живу. За то, что она меня родила. Пусть испугалась позора, пусть скрывалась четырнадцать лет, но ведь потом не стала отмахиваться – платила большие алименты и рассказала мне об отце. Я живу мыслями о встрече с ней. И даже если она действительно не моя мать, все равно спасибо. Уверенность «моя мама хорошая», за которую я цеплялась в детском доме, очень мне помогла. Я благодарна за возможность гордиться своими родителями. Другие дети – те, которые верили, что их матери плохие и намеренно бросили их, – кончили плохо. У них не было привязанности к взрослому, которая могла бы их удержать, – ни реальной, ни выдуманной. А я сочинила для себя целый мир, в котором была моя мать, ее образ, глаза, лицо. Я видела ее как живую, и она дарила мне надежду на счастливое будущее. Но эта же выдуманная любовь стала для меня и бедой – я никому не позволила приблизиться к себе, не дала себя удочерить.

Если бы я раньше узнала правду и поняла, что мама никогда меня не заберет, я бы еще в детстве могла открыться для новой семьи.

После той поездки мне стало намного легче, я согласилась поставить в истории своего рождения многоточие. И, главное, в сердце освободилось место, которое раньше занимала одна только мать. Я не перестала любить ее, нет. Просто смогла, наконец, принять невероятную для себя мысль: в жизни человека могут быть другие любимые люди, не только женщина, которая родила. Я поняла это и сняла заржавевший замок со своих чувств. Пусть слишком поздно – меня уже нельзя было удочерить, – но все равно хорошо, что это случилось.

Я – Сания – гордость, а не позор. Я достойна любви.

Глава 34

Пробуждение

После той поездки в Челябинск, уже осенью, я как-то зашла в детский дом навестить Эсланду Борисовну.

– Ой, только не уходи, подожди меня, ладно? – Ее неожиданно вызвал к себе директор. – Я скоро приду. Мне надо с одним человеком тебя познакомить!

– Хорошо, – говорю, – подожду.

Я просидела около часа, а ее все не было и не было. Поскольку меня ждали дела по учебе, я ушла. Это как раз был период активного поиска работы, еще до того момента, как меня взяли в фонд «Арифметика добра». А вечером мне пишет в «ВКонтаке» какая-то женщина: «Здравствуй! Меня зовут Анджела. Мне о тебе рассказала Эсланда Борисовна, я с ней сегодня встречалась. Я знаю, что тебя зовут Санией, но в детском доме ты Соня. Как удобно, чтобы я к тебе обращалась?» – «Оооой, – думаю, – еще одна! Эсланда Борисовна опять какую-то очередную тетку прислала». Понимаю, что она хотела как лучше, искала возможности мне помочь, устроить на работу, но каждый новый человек вызывал во мне самые сложные чувства.

После детского дома было трудно ломать себя, заставлять идти на общение.

И все-таки я собралась с духом, ответила: «Здравствуйте. Мне удобно Сания». Она пишет дальше: «Эсланда Борисовна сказала, что ты ищешь работу, и я удивилась. Обычно дети после детского дома работать не хотят. Встают на биржи и получают пособия». Я ей отвечаю: «Нет, я очень хочу работать по своей специальности».

Мы стали дальше обмениваться сообщениями, и я узнала, что не первая, кому Анджела предлагает свою помощь, – она уже общается с несколькими выпускниками детских домов. И, столкнувшись с сиротами, стала многое узнавать о нашей реальности. Поняла, что помочь можно только лично – каждому ребенку нужен свой собственный взрослый.

Она стала выяснять, почему меня никуда не берут дизайнером. Я рассказала, что не хватает знаний некоторых программ, которые мы не изучали в колледже, и по ним нужны дополнительные курсы. Только бесплатные найти не получается, а за деньги я пока позволить себе не могу – и так плачу за учебу в институте. Анджела выяснила все детали и через несколько дней оплатила мне нужные курсы! Я до сих пор благодарна ей за это и никогда не устану говорить «спасибо». Как раз с этих курсов и началось наше общение, мы стали видеться.

Оказалось, что Анджела ровно на двадцать лет старше меня, то есть она ровесница моей мамы. А еще у нее есть сын, он практически моего возраста, чуть-чуть помладше. И, может быть, по этим причинам, а может, по каким-то другим, но мы очень быстро нашли общий язык. Она страшно удивилась, что я читаю книги. Другие выпускники детских домов успели снять с нее розовые очки, она уже знала, что ребята предпочитают более опасные развлечения. Что никто из них не стремится работать. Что большинство учатся – точнее, числятся в учебных заведениях – только ради того, чтобы получать сиротскую стипендию. А те, которые не удерживаются и там, встают на биржу труда ради пособий. Для Анджелы я стала первым исключением из правил. По мне, конечно, тоже было заметно, что я выросла не в семье и у меня серьезные нарушения привязанности. Но Анджелу поражало то, что я не похожа на других сирот. Не увлекаюсь ни сигаретами, ни алкоголем, ни наркотиками, ни сексом – ничего этого вообще в моей жизни нет. Зато я хочу чего-то добиться.

Мы с ней много общались в «ВКонтакте», виделись тоже часто: гуляли, разговаривали. И вот однажды, наверное, через полгода после нашего знакомства, мы шли по улице, и она вдруг взяла меня за руку! Легко и просто, как будто так надо. Для меня это было словно удар током – от волнения я покрылась холодным потом, а внутри стало твориться что-то невероятное. Во мне проснулось неожиданное и новое ощущение. Я раньше ходила за ручку только с детьми – когда нас строили парами в детском доме или доме ребенка. И то всегда страшно стеснялась этого, потому что у меня моментально потели руки. А взрослые не брали меня за руку никогда! Если воспитательница вела к врачу или еще куда-то, то она хватала за запястье – словно сковывала наручником. И так тащила, куда ей надо. Да и это было редкостью, обычно к нам, сиротам, не прикасались.

И вот я иду с Анджелой за руку, ладонь горит, мысли скачут: «Забрать или оставить?» Если вытащу ладонь, вдруг она обидится? Но и так тоже плохо, нельзя – пальцы уже все мокрые, скользкие. Мы идем, продолжаем разговаривать, а я спотыкаюсь на каждом слове и пылаю огнем. Первое в жизни нежное прикосновение взрослого человека! Не шлепок, не толчок, не медицинская процедура. Господи, как это так?!

С того момента каждый раз, когда мы оказывались с Анджелой рядом, во мне будто включалась центрифуга, которая выворачивала все внутри наизнанку. Я называла это ощущение «стиральной машинкой». Душа начинала трепетать и бурлить, крутиться и выходить из берегов. Я не знала, что это такое. Приятное и одновременно тревожное чувство. И, конечно, мне снова хотелось спрятаться от него, закрыться. Я думала: «Ну вот, еще и это! Что мне теперь делать? Как быть? Я боюсь». А Анджела как ни в чем не бывало снова и снова брала меня за руку – при каждой встрече. И раз за разом я ощущала в себе что-то новое, удивительное. Приятный вихрь врывался в меня с ее прикосновением.

Кажется, мои чувства именно в тот период проснулись. Первые робкие эмоции от общения с другим человеком. Я ощущала себя в них инопланетянином.

Анджела еще и подливала масла в огонь – говорила со мной на странные темы.

– Вот у тебя есть Эсланда Борисовна, – рассуждала она, – значит, ты принадлежишь ей.

– Нет, – возмущалась и спорила я, – я никому не принадлежу! Эсланда Борисовна – просто мой лучший друг.

И это действительно было так. Она никогда не вставала по отношению ко мне на позицию матери. Да и куда бы она могла уместиться?! У меня и сердце, и душа были заняты собственной мамой.

– Понимаешь, ребенок всегда чей-то, – не унималась она, – сын или дочь.

– Нет, – не соглашалась я, – я этого не понимаю!

Я многого не понимала тогда и тем более не могла объяснить другому человеку, что со мной происходит. А для нее было нормально вести себя со мной как с дочерью. Конечно, я уже выросла, но энергия матери исходила от этой женщины мощным потоком. Она стала для меня наставником, старшим другом, а главное – воплощением материнской любви. Новая роль дочки, которую не задумываясь дала мне Анджела, выбивала у меня почву из-под ног. Мне нужно было справляться с незнакомыми чувствами. И это оказалось непросто, приходилось сворачивать горы внутри себя, чтобы учиться принимать любовь. А Анджела, как я узнала много лет спустя, даже не догадывалась, сколько всего я испытывала с ней рядом. Она любила меня как дочь и не подозревала, что внесла такую сумятицу в мою жизнь. Для нее наши отношения были естественными. Для меня они стали прорывом.

Благодаря тому, что Эсланда Борисовна подготовила почву, благодаря тому, что я потеряла идола в лице собственной матери, отношения «мать и дитя», наконец, стали возможны. Во мне завязывался сумасшедший коктейль эмоций! Начала появляться ревность. Я научилась скучать. Меня тянуло к этой женщине, как к матери. И я понимала, что не смогу рассказать Эсланде Борисовне всего, что ощущаю, когда общаюсь с Анджелой. Не смогу поделиться тем, что творится у меня внутри. Анджела, сама того не подозревая, настойчиво ломала внутреннюю стену, которую я долго строила вокруг себя, чтобы оказаться в безопасности. Чтобы меня не могли ранить другие люди. Особенно – взрослые. Тем более – женщины. Мне казалось, она идет напролом, как танк! Хотя – теперь я уже понимаю это – она вела себя как обычный человек, которому я небезразлична. Только мое тело, моя душа, никогда не знавшие материнской любви, ощущали ее поведение как взлом. Мне было тяжело принять такую открытость. Тяжело говорить на откровенные темы. Невозможно обсуждать и называть свои чувства. Как я могла все это делать, если у меня никогда не было по-настоящему близких отношений?

Мне кажется, одна только Эсланда Борисовна в тот момент все видела и все понимала. Просто, как обычно, не лезла ко мне в душу. Она ждала, когда я созрею и сама ей все расскажу. Так и вышло. Правда, о тех чувствах, которые испытала благодаря знакомству с Анджелой, я смогла рассказать только через четыре года.

И еще на примере отношений с Анджелой я усвоила, что с людьми надо все проговаривать очень четко. Если не делаешь этого, не объясняешься, жди проблем. Раньше я молчала, мне казалось, что взрослые на то и взрослые – они сами должны все знать. Меня научил этому опыт жизни в системе. А оказалось, нет! Они не могли понять, что со мной происходит, ведь они были другими, жили в другом мире, у них был другой опыт. Они никогда не находились в шкуре ребенка-сироты.

Однажды зимой, в каникулы, я спросила Анджелу: «У вас есть планы на меня на время праздников?» Обычно мы заранее все оговаривали, когда и куда идем, чтобы обеим было удобно. Тем более в те дни я подрабатывала на елках, делала детям аквагрим. Анджела ответила: «Нет». – «Точно нет?» – помню, специально переспросила я. «Нет», – подтвердила она. Ну, нет так нет. И шестого января я поехала к Эсланде Борисовне. Там и выяснилось, что вся семья собирается навестить бабушку и меня они берут с собой. После семейного праздника все остались с ночевкой. На следующий день, седьмого января, я приезжаю в Москву, и Анджела устраивает мне скандал. Оказывается, у нее были планы на меня! Оказывается, я должна была это по умолчанию понимать! Но я-то откуда знаю, что есть какая-то там традиция собираться самым близким людям перед Рождеством и что-то там вместе делать? У меня же этого не было никогда! Какой еще Сочельник? Я в жизни о нем не слышала! В ответ на ее претензии я в тот раз страшно завелась. «Если вы мне будете рассказывать, – кричала на нее, – то я буду знать! Нет у меня этих знаний! Я никогда не жила в семье! И про семейные ваши традиции я ничего не знаю!» В общем, у нас случился страшный конфликт. Поначалу она обиделась, но потом с улыбкой сказала: «Ты, оказывается, и кричать умеешь?» После этого мы стали все друг другу рассказывать, заранее говорить, есть какие-то планы или нет. Но разные мелкие недомолвки возникали довольно часто.

Я же не знала ничего об отношениях, о том, как принято между людьми! Анджела стала для меня первым тренажером. Первой репетицией чувств.

– Почему ты ведешь себя как кошка? – возмущалась она.

– Как это? – Я не понимала, что она хочет сказать.

– Ты все время пытаешься улизнуть, – старалась объяснить Анджела, но получалось не очень, – я тебя держу, а ты ускользаешь. Раз – и тебя уже нет.

– А как я должна себя вести? – Я не улавливала, чего она от меня хочет. – Я такая всегда.

– Но так же нельзя! – расстраивалась она. – Ты ррраз – и ускользнула, ррраз – и ускользнула. Зацепиться не за что!

– Я по-другому не умею, – я терялась от таких разговоров, – я не понимаю, о чем вы говорите.

Она, конечно, не изучала психологию детей с нарушением привязанности. Не заостряла внимания на том, что меня никто не ласкал в детстве, не обнимал, не брал на ручки, не сажал на колени. Что самый чувствительный сенситивный период, ранее детство, прошел мимо – без тактильного контакта, душевной близости и тепла. Мне тяжело давались самые простые прикосновения, я трудно встраивалась в социуме – это были самые прямые последствия того, что младенчество я провела одна, без любви и заботы. Анджела тоже не училась в Школе приемных родителей, поэтому ей трудно было понять, что между нами происходит. Что со мной невозможно так же, как с остальными людьми: у меня внутри сбиты настройки.

Я и сама все это смогла понять, только когда прошла школу наставников, стала ходить на семинары для приемных родителей в «Арифметике добра» и читать книги, которые рекомендовали психологи. Благодаря новым знаниям я уже лучше понимала саму себя – анализировала собственные реакции, а там все как в учебнике.

Стало ясно, что мне нужно специально учиться принимать внимание и заботу. Знать, что, если кто-то добр ко мне, это не значит, что я должна платить ему в ответ чем-то материальным. Наверное, раньше в глубине души я считала, что не заслуживаю внимания. А теперь благодаря Анджеле постепенно привыкала к мысли, что меня можно любить просто так. Только за то, что я есть на этом свете. Это было очень важное открытие и незаменимая психологическая связь со взрослым человеком, которая готовила меня к будущим отношениям с мужем и собственными детьми. Ведь когда-то они у меня должны были появиться!

Анджела стала первым человеком, с кем я все это осознала и кого к себе подпустила. Почему именно она? Наверное, просто все так удачно совпало.

Я отпустила мать. Перестала цепляться за ее выдуманный образ. А Анджела оказалась рядом в нужный момент. Место, которое занимал в моей душе образ матери, освободилось. Постепенно, шаг за шагом, я стала открываться для личной жизни. Анджела научила меня любить. Сейчас я думаю, что, наверное, это главное в нашей жизни – уметь любить.

Глава 35

День

Мужчин я остерегалась очень долго – можно сказать, бегала от них, как заяц: не понимала, как с ними быть и что с ними делать. Никакого опыта общения не имелось. Единственным положительным примером мужа и отца стал для меня супруг Эсланды Борисовны: я старалась наблюдать за отношениями в их семье, но долго не знала, куда и как эти новые знания применить. Решила, что нужно сначала подготовиться хотя бы в теории. И в очередной приезд к Эсланде Борисовне стала выспрашивать у нее про интимную жизнь. Страшно стеснялась, не знала, как говорить, но понимала, что уже пора, мне скоро двадцать пять лет. Все равно же этого не миновать. И вот я улучила момент, когда мы с ней остались одни, и попросила:

– Расскажите, пожалуйста, а как этим всем занимаются?

Эсланда Борисовна ничуть не смутилась, наоборот, мне показалось, обрадовалась, что я наконец дозрела до этого вопроса. И стала мне все чуть ли не в красках рассказывать. Я сидела красная как рак, но запоминала. Мотала на ус.

При этом – несмотря на мою неопытность – нельзя сказать, что мужчины меня обделяли вниманием. Были поклонники. С одним из них, казахом, мы познакомились в Интернете. Но я сразу решила, что не стану его близко подпускать, пока не познакомлю с Эсландой Борисовной. Она его, к счастью, сразу забраковала. И мне он тоже не нравился. Наглый какой-то. Однажды пришел ко мне в гости с чемоданом – спасибо Эсланде Борисовне, она его в два счета выставила. У меня потом уже возникло подозрение, что он не случайно меня нашел – общался с кем-то из сирот, тоже выпускников нашего детского дома, снимал у них квартиру. И решил, наверное, найти себе «легкую добычу». Он и после того происшествия с чемоданом не отстал: делал предложение, звал замуж. «Я тебя увезу в Казахстан, – говорил, – будем жить счастливо, родим много детей». А я слушала и думала: «Вот только-только вырвалась на свободу, научилась улыбаться, стала привольно дышать, а меня опять хотят запереть? Детей я, конечно, люблю, но не готова вот с этим вот ехать в Казахстан».

А потом все случилось само собой. Еще во время учебы в вузе я стала искать себе подработку по специальности. Она была нужна мне для практики. И вот одна одногруппница, которая уже работала в питомнике растений, предложила и мне устроиться туда же. Пока мы обсуждали это, она вдруг встрепенулась и говорит:

– Слушай! У нас в питомнике есть Ваня. Тебе обязательно надо с ним познакомиться!

– Зачем? – удивилась я.

– Вам обязательно нужно пообщаться с Ваней! – отрезала она. – Вот увидишь!

Я еще ничего не успела понять, а она уже развернула бурную деятельность. Прожужжала этому Ване обо мне все уши. И за неделю до того, как выходить в питомник на работу, мне в «ВКонтакте» пишет Ваня:

«Привет, Сания! Я – Ваня. Но ты, наверное, обо мне все уже знаешь».

Слово за слово, мы стали переписываться. Обменивались названиями книг, обсуждали прочитанное. Выяснилось, что я прочитала гораздо больше, чем он, – то, что у него было в списке на ближайшее будущее, я уже сто лет назад прочла. И потом, как я ему ни напишу: «Что ты делаешь?» – он отвечал: «Читаю». Наверстывал, наверное. На почве книг мы с ним и продолжали общение.

И вот вечером седьмого марта мне звонит новый начальник и говорит: «Завтра тебе на работу. Тебя встретит Ваня». Мы с Ваней договорились, что поедем из Москвы в питомник вместе, на электричке. Условились встретиться в третьем вагоне, в определенное время. В общем, я села в нужный вагон, сделала несколько шагов по салону и тут увидела Ваню – сразу его узнала. И хотя не видела до этого ни одной его фотографии, сразу же поняла: «Это он!» А следом моментально проскочило несколько мыслей: «Настоящий мужик. Умный. Порядочный. Не предаст». Просто я каким-то седьмым чувством поняла, что он внутренне похож на мужа Эс-ланды Борисовны. Я же часто бывала у них в гостях, видела, как родители и дети общаются между собой, как муж относится к жене.

Наблюдения за их отношениями стали для меня главной школой семейной жизни. Постепенно в голове сложился образ семьи и, главное, мужа, будущего отца моих детей. Сильный и надежный мужчина, который будет защищать и беречь. Это для меня было самым важным.

Я села напротив Вани. Он, конечно, тоже меня узнал.

– Привет!

А дальше мы ехали и молчали. У меня был ступор, я ни слова не могла произнести. И Ваня, наверное, тоже стеснялся. Сидим оба такие скромные, тихие. Так мы и прибыли на работу. А там началоооось, он побежал в одну сторону, я – в другую.

Первое время я его не видела вообще. Меня закрутила работа – в апреле стали привозить растения, готовились к сезону. Все это нужно было промаркировать, расставить, выдержать инспекцию начальников. Одному не нравилось, как дерево стоит. Приходилось все переставлять заново. Другому – как подписано. Заново писала. Зато для меня как для будущего ландшафтного дизайнера это была отличная практика – я за пару месяцев выучила весь огромный ассортимент. А с Ваней мы пересекались лишь изредка в обеденные перерывы.

– Как дела? – спрашивал он.

– Все хорошо, – отвечала я.

– Ты не промокла?

– Нет, все в порядке.

Это единственное, что мы друг другу говорили. В питомнике была очень высокая влажность, растения постоянно поливали, ноги в воде, вот он и беспокоился. В общем, первый месяц мы практически не виделись и не общались, а потом снова стали списываться в «ВКонтакте». Мне было безумно интересно общаться с ним.

Перед стартом сезона продаж всем новичкам назначили наставников – опытных менеджеров. Меня определили к одногруппнице, но я по собственной инициативе увязалась за Ваней, потому что он лучше всех рассказывал и больше всех знал. До моего прихода он работал там уже целый год, был менеджером по продажам. И у него оказались самые высокие результаты – лучше всех разбирается в растениях и умеет общаться с клиентами. Тем более образование профильное, ботаническое: Ваня учился в Донецке, и потом, когда там началась война, родители отправили его в Москву. В итоге я тоже научилась продавать растения – шла следом за Ваней со своими клиентами и, как он, пристраивала все подряд, даже то, что им было не нужно. В итоге у нас двоих оказались самые высокие продажи.

Но к июню я вымоталась окончательно. Каждый день три часа в дороге только ради того, чтобы переставлять горшки и через пару часов выяснить, что они не так стоят и нужно расставлять их снова? Мне это надоело. Ничего нового я больше не узнавала, все уже выучила за три месяца. Еще и весна выдалась холодной – в мае шел снег. В общем, я решила уволиться. Тем более еще с зимы у меня были планы поехать в июне в Крым – меня пригласила к себе на дачу Диана. Мы запланировали с ней большой творческий процесс: она хотела начать работу над книгой, а я собиралась писать на стене ее дома картину. В питомнике заранее об этом предупредила – еще когда устраивалась на работу. Но дождаться этого отпуска я уже не могла: пришла к шефине и предупредила, что увольняюсь. Конечно, она не хотела меня отпускать: я им делала кассу, работала в полную силу. И меня начали уговаривать: «Сания, видно, что ты уже выросла. Давай повысим тебе зарплату и переведем на другую должность». Но я уже насмотрелась, как у них там карьера устроена: главным ландшафтным дизайнером была девушка без профильного образования, которая раньше работала медсестрой. При этом она точно так же, как и мы, переставляла горшки. Я отказалась. И тогда шефиня велела отработать по трудовому законодательству две недели. Это при том, что сама она увольняла ненужных сотрудников в один день. Я вышла из ее кабинета и расплакалась. Мне стало обидно, что придется еще четырнадцать дней мучиться, попусту тратить время. Сижу плачу, и тут подходит Ваня.

– Сания, что случилось?!

– Я не буду тебе рассказывать, – говорю, – иди куда шел.

Но он решил, что должен помочь. Привязался со своими расспросами.

– Ничего, – говорю, – не случилось! Уволиться хочу. Сегодняшним днем.

– Пойдем к шефу, – потащил он меня, – сейчас все решим!

Но поскольку бизнес был семейным, услышали мы только одно: «Я уважаю мнение своей жены и поддерживаю ее решение». Ваня вышел разочарованный. «Я, – говорит, – хотел как лучше». Ну да. «А получилось как всегда», – подумала я, хотя и не стала произносить этого вслух.

В итоге я отработала неделю. Ушла в отпуск, о котором заранее договаривалась, и поехала в Крым. Потом еще на неделю отправилась в лагерь с детьми. Приезжаю после этого в питомник, а мне уже выдают расчет. Я с огромным удовольствием сдала свою форменную футболку и попрощалась с Ваней. Он, конечно, расстроился, думал, я на работе весь день с ним проведу. Поговорим. Но мне хотелось как можно скорее уехать домой.

Ваня приехал в Москву в свой первый же выходной – пригласил меня на прогулку на ВДНХ. Романтики было хоть отбавляй – мы с ним в итоге заблудились. У меня с ориентацией в пространстве беда, и Ваня Москву не знает совсем. Но ничего, вышли потом к метро. И так, в его выходные, гуляли потом очень долго. Ни за руки не держались, ничего. Просто ходили и разговаривали. У меня не было влюбленности, не выросли крылья за спиной. Мною руководил здравый смысл: «Нормальный мужик, надо брать. Лучше я не найду». Это именно так звучало в моей голове. Обычный расчет, чистая логика. И я ходила на свидания, как на работу: «Надо. Человек ждет». А вот Ваня влюбился по уши. Он признавался мне в этом и каждый раз с нетерпением ждал встречи. Но вел себя очень деликатно: не торопил, ждал, когда я сама буду готова к развитию событий. А я очень стеснительная, мне понадобилось немало времени, чтобы к нему привыкнуть. Меня разговорить – не то что взять за руку – было практически невозможно. Он, бедный, не мог дождаться ни одного ответа, кроме короткого «да» или обрывочного «нет». Но нужно отдать Ване должное – терпение у него оказалось ангельское.

И вот однажды – так вышло – я пригласила его к себе домой. Мы в тот день гуляли допоздна, возвращаться в питомник – Ваня жил при нем в общежитии для сотрудников – уже не было смысла. И я предложила переночевать у меня. Он вошел, огляделся и с порога спрашивает:

– Сания, а где у тебя второй диван?

– Какой второй диван? – рассмеялась я: таким нелепым мне показался его вопрос.

– Ну, тот, на котором я буду спать.

– Разложим этот, – говорю, а сама давлюсь от смеха, – он огромный. И по разным концам будем спать.

– Ну ладно. – Он тогда на все соглашался, лишь бы быть рядом.

В ту ночь мы так и легли – по разные стороны дивана. Ваня попытался как-то это исправить.

– Сания, – прошептал он, – ты чего так далеко?

– Ты вообще хотел спать на другом диване, – отрезала я, – так что молчи!

Он не обиделся. Мы посмеялись вместе, и все на этом закончилось. Не знаю уж, как он уснул в ту ночь, но никаких резких движений Ваня не делал, относился ко мне с большим уважением. А наутро у нас этот «второй диван» стал любимой шуткой и остается ею до сих пор.

Прошел год с момента нашей первой встречи. Мы постоянно общались в Сети, часто виделись и гуляли по Москве, но дальше этого дело не шло. И вот после очередной прогулки, когда мы прощались в метро, Ваня попытался меня поцеловать. А я в последний момент увернулась. Он неловко клюнул меня в щеку и несолоно хлебавши поехал своей дорогой.

Я видела, что он очень расстроен этим неудавшимся поцелуем, ходит как в воду опущенный. И на следующем свидании решила рассказать ему все как есть.

– Вань, я целоваться не умею.

– Как не умеешь?! – Он аж присел.

– Ну, вот так. Просто я не могла тебе в этом признаться в метро.

– Господи, Сания! – Он так по-детски обрадовался, что я рассмеялась. – А я хожу ломаю голову, что не так: «Не нравлюсь ей?», «Слишком быстрый?» Хотя куда там! Не думай ни о чем и ничего не бойся. Когда сама захочешь и будешь готова, я всему научу.

Я ему благодарна за то, что он ждал столько, сколько мне было нужно. Ни на чем не настаивал и действовал очень осторожно.

Кстати, именно тактильный контакт оказался для меня самым сложным. Я долго привыкала к каждому мимолетному касанию, входила в отношения, словно в холодную воду. Продвигалась вперед маленькими, едва заметными шажками. После жизни без матери, без семьи трудно было научиться объятиям, поцелуям, прикосновениям – все это казалось слишком сложной наукой. Приходилось ломать себя, менять настройки внутри и преодолевать застоявшиеся страхи.

Но постепенно, день за днем, я влюблялась в Ваню. Теперь уже с нетерпением ждала наших встреч, хотела видеть его как можно чаще. Мы стали гулять за ручку, он научил меня целоваться. Рядом с Ваней мне всегда было спокойно, из этого состояния и выросла очень теплая и крепкая любовь.

Я много думала о собственной способности любить. Не сомневаюсь – она появилась благодаря Анджеле. Не встреть я ее, не узнай, что такое материнская любовь, пусть даже во взрослом возрасте, думаю, я бы не смогла полюбить мужчину. Это оказалось тяжелой работой – испытывать чувства и разбираться в них.

Я уяснила, что любовь бывает разной: к Анджеле она одна, к Эсланде Борисовне другая, а к Ване – третья. Любви в женщине от природы заложено много, она может ею бесконечно делиться. Но тут, на мой взгляд, тоже нужно быть очень аккуратной. Не все готовы ее принимать. Например, не умеют любить и принимать любовь сироты. Да, я выдержала все испытания и перешагнула в другую галактику, а кто-то не смог пройти этот путь. Конечно, я не скрывала от Вани, кто я и откуда. Рассказала как есть. Объяснила, как сказывается на жизни ребенка нарушение привязанности, рассказала о своем, особом, восприятии мира. А еще заранее предупредила, что нужно будет обязательно познакомиться с Эсландой Борисовной, потому что я сближаюсь только с теми людьми, которые у нее проходят проверку. Он на все согласился. Тогда я пошла еще дальше – сказала, что, кроме своих детей, у нас обязательно будут дети приемные.

Спасти всех мы, конечно, не сможем, но изменить судьбу одного брошенного ребенка каждой нормальной семье по силам. Усыновить, забрать из ада детского дома могли бы многие. И если каждый так сделает, детских домов не останется. Не будет исковерканных детских судеб.

Ваня согласился со мной и в этом. Теперь мы вместе собираемся пойти в Школу приемных родителей. Кстати, проверку Эсландой Борисовной Ваня прошел. И спустя некоторое время мы поженились. Предложение будущий муж делал мне как положено, вот только кольца с бриллиантом, к счастью, не подарил. Мы с ним заранее договорились, что вместо этого на совместные деньги купим кухню в мою квартиру. Ту, о которой я долго мечтала. Так и сделали. Радости моей не было предела! Никакого пышного торжества мы, конечно, не устроили – только поход в загс, обмен обручальными кольцами, прогулка и ужин на теплоходе для двоих.

Что такое настоящая любовь? Как ее описать? Я не знаю. Но вот сейчас рассказываю о Ване и плачу от чувств, которые меня переполняют. Нам с ним всегда хорошо вместе, что бы мы ни делали. Я люблю слушать Ваню, а он обожает рассказывать. Скучаю по нему, когда он уезжает на работу. Хожу по квартире, из которой он только что вышел, и вдыхаю его запах. Мы постоянно переписываемся, когда не рядом, и мне до сих пор с ним интересно. Теперь я знаю, какое это невероятное счастье встретить человека, умеющего дарить и принимать любовь.

Я нечасто признаюсь Ване в любви, зато многое говорю ему своими делами. Обожаю что-нибудь подарить безо всякого повода – просто потому, что нашлась вдруг интересная вещь, и я знаю, что Ване будет приятно получить от меня этот знак внимания. Иногда приношу ему забавную открытку, гигантскую шоколадку, брелок в виде объекта военной техники или что-то еще – я уже знаю, что ему нравится. Такие мелочи наполняют энергией: приятно видеть радость в глазах любимого человека. И Ваня тоже неплохо меня изучил, старается угодить. Я знаю, что и его вдохновляют мои глаза в моменты абсолютного счастья.

Ваня по-прежнему очень осторожен со мной, боится обидеть и говорит, что я – «хрустальный шарик». Это правда. Всегда закрываюсь, когда назревает конфликт, даже если он ко мне никакого отношения не имеет. Не переношу криков, громких голосов, ругани. Сбегаю, и все. Ваня прекрасно об этом знает, поэтому у нас почти не бывает ссор. Мы стараемся все обсудить, обо всем договориться заранее, чтобы потом не было разногласий. А ещё Ваня жалуется иногда, что ему сложно обо мне заботиться, потому что я чересчур самостоятельная. Я отвечаю: «Жизнь такая была. Ничего не поделаешь». Хотя сама теперь прекрасно понимаю, что любовь невозможна без заботы: когда испытываешь к человеку сильные чувства, она только в радость. Мне приятно постирать для Вани одежду, приготовить что-нибудь вкусненькое, принести чаю, укутать, когда холодно, проверить, надел ли шапку и перчатки зимой, – он в отличие от меня все время мерзнет.

Благодаря Эсланде Борисовне я освоила модель счастливой семьи и смогла создать собственные отношения.

Я считаю, очень важно, чтобы ребенок рос в полноценной семье и наблюдал за тем, как общаются между собой его родители.

У меня перед глазами немало примеров взрослых сирот, которые все свое детство провели в системе. В результате они не умеют поддерживать отношения, для них это слишком сложно. Им легче встать и уйти при первых же трудностях, чем начать решать проблему. Они живут одним днем, не задумываются о будущем, не ценят людей. Только семья и пример родителей, которые вместе проходят через многие трудности и не бегут из-за них друг от друга, могли бы помочь.

Кстати, после свадьбы Ваня все порывается называть Эсланду Борисовну тещей, но я это пресекаю. Мне и само слово не нравится, и в принципе у нас не тот порядок отношений.

– У тебя нет тещи, – говорю я ему, – успокойся.

Пока эта глава моей – а теперь уже нашей с Ваней – жизни так и остается недописанной. Но она не мешает мне быть счастливой, и я благодарна всем людям, которые приняли, поддержали меня и сделали это счастье возможным. Спасибо им!

\* \* \*

У меня ушло много времени на то, чтобы решиться заговорить о своей жизни. И ответить самой себе на вопрос: для чего нужна эта книга? Уж точно не для осуждения! У меня нет желания обидеть кого-то или задеть. Она для того, чтобы взрослые поняли чувства ребенка. Чтобы услышали наконец: нельзя оставлять детей без семьи. Мы не позор. Не обуза. Не тяжелое бремя. Ребенок должен быть принят взрослыми. Он должен быть кем-то защищен и любим – только так из него вырастет человек!

\* \* \*